

БОЛЬШИЕ $\frac{1}{2}$ КНИГИ

◀ РОБЕРТСОН ДЭВИС ▶
✦ ПЯТЫЙ ✦
ПЕРСОНАЖ
МАНТИКОРА
♦
МИР
♦
ЧУДЕС

18+



Иностранная литература. Большие книги

Робертсон Дэвис

**Пятый персонаж.
Мантикора. Мир чудес**

«Азбука-Аттикус»

1970, 1972, 1975

УДК 821.111
ББК 84(7Кан)-44

Дэвис Р.

Пятый персонаж. Мантикора. Мир чудес / Р. Дэвис — «Азбука-Аттикус», 1970, 1972, 1975 — (Иностранная литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-17241-8

Робертсон Дэвис – крупнейший канадский писатель, мастер сюжетных хитросплетений и загадок, один из лучших рассказчиков англоязычной литературы. Он попадал в шорт-лист Букера, под конец жизни чуть было не получил Нобелевскую премию, но, даже навеки оставшись в числе кандидатов, завоевал статус мирового классика. Его «Пятый персонаж» сочли началом «канадского прорыва» в мировой литературе; сам Джон Фаулз охарактеризовал этот роман как «одну из тех редчайших книг, которой бы не повредило, будь она подлиннее». Последовавшая за «Пятым персонажем» «Мантикора» была удостоена главной канадской литературной награды – Премии генерал-губернатора. «Мир чудес» – завершающий роман «Дептфордской трилогии» – представляет собой автобиографию мага и волшебника Магнуса Айзенгрима, историю его подъема из бездны унижения к вершинам всемирной славы. Итак, под одной обложкой – вся «Дептфордская трилогия». Это хроника нескольких жизней, имеющая фоном детективный сюжет, это книга о дружбе-вражде знакомых с детства людей, о тайне, завязавшей их судьбы в тугой узел; Первый станет миллионером и политиком, второй – всемирно известным фокусником, третий – историком и агиографом. Одному из них суждено погибнуть при загадочных обстоятельствах, двум другим – разгадывать загадку. Книга содержит нецензурную брань

УДК 821.111
ББК 84(7Кан)-44

ISBN 978-5-389-17241-8

© Дэвис Р., 1970, 1972, 1975
© Азбука-Аттикус, 1970, 1972, 1975

Содержание

Пятый персонаж	8
I	9
1	9
2	11
3	13
4	15
5	19
6	21
7	23
8	26
9	29
10	31
11	34
12	37
13	40
14	43
II	46
1	46
2	49
3	52
4	55
5	57
6	59
7	63
8	69
III	72
1	72
2	77
3	78
4	81
5	82
6	84
7	89
8	91
9	93
IV	98
1	98
2	104
3	107
4	116
V	124
1	124
2	128
Конец ознакомительного фрагмента.	133

Робертсон Дэвис
Пятый персонаж
Мантикора
Мир чудес

Robertson Davies
The Deptford Trilogy:
FIFTH BUSINESS
Copyright © 1970 by Robertson Davies
THE MANTICORE
Copyright © 1972 by Robertson Davies
WORLD OF WONDERS
Copyright © 1975 by Robertson Davies

This edition published by arrangement with Curtis Brown Ltd. and Synopsis Literary Agency
All rights reserved

БОЛЬШИЕ
И
КНИГИ

Серия «Иностранная литература. Большие книги»

Перевод с английского Михаила Пчелинцева («Пятый персонаж»), Григория Крылова («Мантикора», «Мир чудес»)

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Иллюстрация на обложке Ольги Закис

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

© М. А. Пчелинцев (наследники), перевод, примечания, 2001

© Г. А. Крылов, перевод, примечания, 2001, 2003

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2019

Издательство Иностранка®

Робертсон Дэвис – один из величайших писателей современности.
Малькольм Брэдбери

«Пятый персонаж» одна из тех редчайших книг, которой бы не повредило, будь она подлиннее.
Джон Фаулз

Волшебная загадка, неумолимо динамичный сюжет – в лучших традициях «Любовницы французского лейтенанта». *New York Times* «Пятый персонаж» написан человеком добрым и умным, у которого я немало нашел, чему поучиться.
Сол Беллоу

В «Мантикоре» автор искусно подводит нас к мысли, что если мы не совладаем с объективностью жизни, то так и останемся в центре исполинской галлюцинации.
Уильям Кеннеди (New York Times)

В «Мир чудес» заложено гораздо больше – да, именно чудес, чем может показаться, если обращать внимание лишь на прихотливые зигзаги сюжетной линии. Из всех романов Дэвиса – а каждый из них настоящий праздник – именно этот может похвастать наибольшей плотностью, богатством фактуры, глубиной подтекста, точностью психологических наблюдений.
Newsweek

Психологизм для Дэвиса – это всё. Он использует все известные миру архетипы, дабы сделать своих героев объемнее. Фольклорный подтекст необъятен – от праисточников гетевского «Фауста» до французского аллегорического «Романа о Лисе» XII XIII веков.

Причем эта смысловая насыщенность легко воспринимается благодаря лаконичности и точности языка, которым «Мир чудес» написан.
Книжное обозрение

Пятый персонаж

В терминологии оперных и драматических коллективов, организованных в старом стиле, роли, отличные от четырех главных – Героя, Героини, Наперсницы и Злодея – и тем не менее существенные для Прояснения и Развязки, назывались Пятый персонаж; об актере, исполнявшем эти роли, нередко говорили как о Пятом персонаже.

Т. Оверскоу. Датские театры



I

Миссис Демпстер

1

Миссис Демпстер навсегда вошла в мою жизнь 27 декабря 1908 года в 5:58 пополудни, мне было тогда десять лет и семь месяцев.

Моя полная уверенность относительно даты и времени основывается на том, что в этот день мы с моим заклятым другом, закадычным врагом Перси Бойдом Стонтоном катались на санках – и перессорились по той причине, что новенькие, шикарные санки, подаренные ему на Рождество, скользили хуже моих старых. Как правило, в наших краях не бывает слишком много снега, однако на то Рождество его почти хватало, чтобы прикрыть самые высокие сухие травинки на лугах; в таком глубоком снегу санки Перси с их высокими полозьями и дурацким рулевым управлением вели себя крайне неуклюже и все время застревали, в то время как мои, низенькие и немудреные, скользили как по маслу.

Та прогулка была для Перси сплошным унижением, а когда Перси считал себя униженным, он сразу давал волю своему мстительному характеру. У него были богатые родители и шикарная одежда, его кожаные перчатки были куплены в городском магазине, куда там моим шерстяным, маминой вязки; в таких условиях ну никак не могло стать, чтобы его пижонские санки бегали медленнее моих задрипанных; когда же эта кошмарная несправедливость стала окончательно очевидной, Перси начал злобствовать. Он пренебрежительно отзывался о моих санках, издевался над моими вязаными перчатками, а под конец даже заявил, что его отец лучше моего отца. Вообще-то, за такие слова полагается по физиономии, но тогда завязалась бы драка, которая могла бы закончиться ничьей или даже моим поражением, поэтому я сказал: прекрасно, тогда я пошел домой, а он может кататься тут сколько душе угодно. Это я ловко придумал, потому что приближалось время ужина, а у нас дома было заведено, что никто и никогда не опаздывал к завтраку, обеду и ужину, никакие извиняющие обстоятельства в расчет не принимались. Так что я одновременно выполнял домашний закон и оставлял Перси в печальном одиночестве.

Всю дорогу в поселок он следовал за мной, выкрикивая мне в спину все новые и новые оскорбления. Я не иду, кричал он, а ковыляю как старая кляча, моя вязаная шапка – ну чистый дурацкий колпак, моя задница непомерно велика, и чего это я ей так вихляю, и прочее в подобном роде; Перси не страдал избытком воображения. Я не отвечал, зная, что это злит его больше, чем любые встречные оскорбления, и что каждый раз, когда Перси что-нибудь выкрикивает, он теряет лицо.

Наш поселок был настолько мал, что о таких роскошествах, как окраины, не могло быть и речи, вы входили в него сразу. Я демонстративно взглянул на свои новенькие – рождественский подарок – часы ценою в доллар (Перси не разрешалось носить часы, слишком уж они у него были хорошие и дорогие), увидел, что уже без трех минут шесть, только-только успеть заскочить домой, шумно, с плеском вымыть руки (родители почему-то считали этот плеск признаком тщательности), а ровно в шесть плюхнуться на свое место за семейным столом и склонить голову для молитвы. Перси к этому времени окончательно взбесился; было ясно, что ужин для него совсем испорчен, а пожалуй, и весь предстоящий вечер. Того, что произошло дальше, я никак не мог предвидеть.

Чуть впереди, в ту же, что и я, сторону шли, держась за руки, баптистский священник нашего поселка с супругой. Преподобный Амос Демпстер в обычной своей манере чуть нависал над женой, словно пытаясь защитить ее от каких-то бед. Я давно уже привык к этому зре-

лицу, они всегда выходили на прогулку примерно в такое время – когда стемнеет, а люди сядут ужинать, – потому что миссис Демпстер ждала ребенка, а в нашем поселке не было принято, чтобы беременная женщина непринужденно показывалась на улице – во всяком случае, если она обладала каким-то статусом и хотела его сберечь, а уж супруга баптистского священника, конечно же, обладала статусом. Перси тем временем швырялся в меня снежками, а я успешно от них уворачивался, ведь мальчишка, даже не глядя, чувствует, когда в него летит снежок, к тому же я знал Перси как облупленного. Я был уверен, что перед тем, как я скроюсь в доме, он попытается вклеить мне между лопаток последний, оскорбительный снежок. В момент предугаданного мной броска я проворно шагнул в сторону, так что Демпстеры оказались между мной и Перси, – не отбежал, а только шагнул, – и снежок стукнул миссис Демпстер прямо по затылку. Она вскрикнула и соскользнула на землю, отчаянно цепляясь за своего мужа; мистер Демпстер успел бы ее подхватить, не обернись он сразу же назад, чтобы посмотреть, в чем там дело, кто там кидается снежками.

Я хотел было метнуться домой, но замер в замешательстве, услышав крик миссис Демпстер. Прежде мне ни разу не доводилось слышать, чтобы взрослые кричали от боли, поэтому звук ужасно резанул по ушам. Падая, она разразилась рыданиями; секунду спустя миссис Демпстер лежала ничком, а мистер Демпстер стоял на коленях, придерживая ее за плечи и бормоча какие-то нежности, что окончательно привело меня в смущение. Мне не доводилось еще слышать, как женатые люди – да хоть какие люди – выражают свою любовь столь беззастенчивым образом. Я понимал, что являюсь свидетелем «сцены», одного из тех серьезных нарушений благопристойности, против которых раз за разом настойчиво предупреждали меня родители. Я стоял разинув рот, и через какое-то время мистер Демпстер меня заметил.

– Данни, – сказал он (я даже не подозревал, что он знает, как меня звать), – одолжи, пожалуйста, мне санки, чтобы отвезти жену домой.

Я был полон вины и раскаяния, ведь снежок-то предназначался мне, однако мистер Демпстер вроде об этом не задумывался. Он положил жену на мои санки (ее хрупкое, как у девочки-подростка, телосложение делало эту задачу совсем необременительной), затем я потащил санки к их дому, а Демпстер шел рядом, придерживая плакавшую, как ребенок, жену, для чего был вынужден неловко изогнуться, и стараясь приободрить ее ласковыми словами.

Демпстеры жили совсем рядом, за ближайшим углом, но, пока мы туда добрались, пока мистер Демпстер занес жену в дом, оставив меня снаружи, на моих часах было уже несколько минут седьмого, так что теперь можно было и не спешить: на ужин я все равно опоздал. Однако я бросился со всех ног домой (лишь на мгновение задержавшись рядом с местом происшествия), помыл руки, сел за стол и объяснил причину своего опоздания, бесстрашно глядя в суровые, недоверчивые глаза матери. Я самую малость искажил описываемые события, сильно, но в разумных пределах налегая на свою роль доброго самаритянина. Я воздержался от каких-либо комментариев и догадок относительно происхождения злосчастного снежка и почувствовал большое облегчение, когда мать не стала вдаваться в выяснение этого вопроса. А вот состояние миссис Демпстер ее волновало, и очень. Когда ужин закончился и посуда была вымыта, мать сказала отцу, что забежит на минутку к Демпстерам, посмотрит, не нужна ли им помощь.

Решение моей матери могло показаться несколько неожиданным, потому что мы, конечно же, принадлежали к пресвитерианской церкви, миссис же Демпстер была женой баптистского священника. Нет, в нашем поселке не было вражды между различными конфессиями, но как-то уж повелось, что каждая из них сама занималась своими делами, обращаясь к помощи со стороны исключительно в случаях крайней необходимости. Однако моя мать была на свой скромный манер специалисткой в делах, связанных с беременностью и родами. Доктор Маккосланд отпустил ей однажды высочайший комплимент, сказав, что «миссис Рамзи думает тем местом, каким надо», и мать охотно ставила это самое место на службу практически любого, в том нуждавшегося. Кроме того, в ней жила тщательно скрываемая нежность к

бедной глупенькой миссис Демпстер, такой молоденькой, всего двадцать один год, и абсолютно неприспособленной, чтобы быть женой священника.

Пока мать ходила к Демпстерам, я читал ежегодное рождественское приложение к «Газете для мальчиков», отец читал что-то трудное, для взрослых, напечатанное маленькими буквами, а мой старший брат Вилли читал «Путешествие на „Кашалоте“»; все мы сидели вокруг печки, положив ноги на никелированное ограждение, – так продолжалось до половины девятого, когда отец отправил нас с братом наверх спать. Я всегда плохо засыпал, вот и в тот раз тоже долго ворочался в постели. Мать вернулась вскоре после того, как часы внизу пробили половину десятого. Железный дымоход той самой печки в гостиной, снизу вверх пересекавший коридор второго этажа, был прекрасным звукопроводом. Я прокрался в коридор (Вилли давно уже видел десятый сон), приблизил ухо к дымоходу, насколько позволял жар, и услышал голос матери:

– Я прихватчу тут кое-что и сразу назад. Может случиться, что задержусь на всю ночь. Достань из сундука все пеленки, какие там есть, а потом сбегай к Рукле, пусть даст большой пакет ваты – самой лучшей, – и сразу отнеси к Демпстерам. Доктор говорит, если нет большого, можно два маленьких.

– Ты что, хочешь сказать, что уже начинается?

– Да. Очень рано. А ты потом ложись, меня не жди.

Но отец, конечно же, не лег, ждал до четырех утра, когда она вернулась, чтобы вскоре опять уйти к Демпстерам. В голосе матери (я опять подслушивал их разговор) звучали решительность и непонятное мне беспокойство. Всю эту бессонную ночь я мучился ощущением какой-то беспричинной вины.

Вот так ранним утром 28 декабря 1908 года появился на свет Пол Демпстер, человек, о котором вы не могли не слышать (правда, под совсем другим именем).

2

Дорогой директор! Я намеренно начинаю этот рассказ с рождения Пола Демпстера, ведь именно в этом событии следует искать корни всего, что впоследствии произошло. Хорошо, скажете Вы, но только с чего это он вдруг разоткровенничался? Наше профессиональное сотрудничество насчитывает много лет, и все это время я проявлял крайнюю сдержанность в том, что касается моих личных дел, – так что же подвигло меня на этот рассказ?

Все объясняется тем, что меня глубоко оскорбила дурацкая заметка, появившаяся в «Хронике колледжа», в летнем выпуске 1969 года. Этот опус возмутил меня не только своей безграмотностью (хотя, как мне кажется, ежеквартальный орган одного из лучших в Канаде учебных заведений мог бы поосторожнее относиться к своим публикациям), но и тем, что я представлен читателю этаким типичным старым учителем, уползающим на пенсию, – слезы умиления на глазах и капля на кончике носа. Да что там рассказывать, вот эта чушь во всей ее неприглядности:

Прощай, Пробка

В этом июне центральным событием конца учебного года стал обед в честь Данстана («Пробки») Рамзи, уходящего на пенсию после сорока пяти лет работы в нашем колледже, из которых двадцать два последних он был у нас заместителем директора и старшим преподавателем истории. На обеде присутствовали свыше ста шестидесяти восьми наших Парней, в том числе несколько парламентариев и два члена правительства, а наша даровитая кормилица миссис Пирс буквально превзошла самое себя, устроив для такого

случая воистину великолепное пиршество. Пробка был в великолепной форме, несмотря на свои годы, а также инфаркт, сваливший беднягу при известии о смерти его давнего друга, покойного Боя Стонтона, кавалера [ОБС и ОБИ](#), знакомого всем нам как [Наш Бой](#) и председатель правления колледжа. Долгие годы бывший наставником и другом бесчисленных мальчишек, многие из которых занимают теперь видные и значительные посты, он говорил об этом времени в четкой, уверенной манере, могущей вызвать зависть и у многих молодых ораторов.

Жизненный путь Пробки может служить как примером, так и предостережением для молодых преподавателей. По его собственным словам, он пришел в наш колледж в 1924 году, намереваясь пробыть тут не более двух-трех лет, – и задержался на сорок пять. Все это время он учил истории, как он ее понимает, бесчисленных мальчишек, многие из которых перешли позднее к более научному изучению этой дисциплины в университетах Канады, США и Великобритании. В качестве почетных гостей на обеде присутствовали заведующие кафедрами истории четырех канадских университетов, бывшие питомцы Пробки; один из них, доктор Э. С. Уоррен из Торонтского университета, отдал щедрую дань уважения Пробке, восхваляя его неустанный энтузиазм и шутивно упоминая его вылазки в сумеречную пограничную зону между историей и мифом.

Не без тонкого намека на последний момент был выбран подарок, преподнесенный Пробке по завершении обеда, – великолепный магнитофон, при посредстве которого, как мы надеемся, он сможет ознакомить нас хотя бы с частью своих воспоминаний о давней и – несомненно – менее суматошной эре в истории колледжа. Дополнительным приложением стали пленка с записью великолепной речи директора, в которой он отдал дань уважения Пробке, а также вторая, где хор колледжа исполняет самый, как нам кажется, дорогой сердцу Пробки гимн – особо уместный для данного случая! – [«За всех святых, вкушающих покой»](#). «Прощай, Пробка, удачи тебе и счастья! – говорит колледж. – Ты хорошо послужил колледжу, в соответствии с идеалами своего времени и поколения! [Хорошо, верный и добрый служитель!](#)»

Вот, дорогой директор, что сочинил и опубликовал этот невероятный олух Лорн Пакер, магистр искусств и соискатель степени доктора философии. Есть ли нужда детально анализировать причины моего возмущения? Я ничуть не сомневаюсь, что карикатурный образ, нарисованный Пакером, полностью соответствует его обо мне представлениям. Старый маразматик, сорок пять лет кряду вдалбливавший ученикам свои поверхностные, на уровне «Занимательной истории войн и сражений», представления о предмете, а в придачу – свихнувшийся на мифах (знать бы только, какое значение вкладывает этот недоучка в слово «миф»).

Я ничуть не в обиде, что он ни полсловом не упомянул мой Крест Виктории – все уже сказано-пересказано в те времена, когда считалось, что подобные награды повышают престиж учителя и школы. Впрочем, вряд ли стоит забывать десять написанных мною книг, из которых одна издана на шести языках суммарным тиражом около восьмисот тысяч экземпляров, другая же оказала весьма значительное воздействие на ту самую научную дисциплину, мифическую историю, которую Пакер делает предметом своего сомнительного остроумия. Полностью проигнорирован и тот факт, что я – единственный протестант, печатающийся в *«Analecta Bollandiana»*, и остаюсь таковым уже тридцать шесть лет, притом что сам Ипполит Делэ печатно высказывал высокое мнение о моих работах. Но что мне кажется наиболее возмутительным, так это высокомерный, пренебрежительный тон данного сочинения – словно вся моя жизнь ограничена четырьмя стенами класса, словно я так никогда и не стал полноценным человеком, никогда не

страдал и не ликовал, не знал ни любви, ни ненависти, не был, короче говоря, ничем иным, кроме того небольшого, что доступно пониманию этого осла Пакера, чье крайне поверхностное знакомство со мной насчитывает всего четыре года. Пакер, вытalkingивающий меня в забвение при посредстве евангельской цитаты, грубейшая неуместность которой просто не доходит до сознания этого невежды! Пакер и его научный подход к истории! Боже милостивый! Пакер, не способный ни понять, ни представить, что судьба и мой собственный характер отвели на мою долю пусть и не блистательную, однако жизненно важную роль Пятого персонажа. Пакер, который вообще не понимает, что такое Пятый персонаж, не понимает и не поймет, а даже и встретив исполнителя этой роли в своей убогой жизненной драме – не узнает.

Так вот, прилив сил, ощущаемый мной в этом горном приюте – в доме, хранящем истины, лежащие за многими иллюзиями, – побуждает меня объяснить, кто я такой на самом деле, и именно Вам, директор, потому что Вы стоите на вершине этого странного школьного мира, в котором я, как выясняется, выступал в столь жалком, унылом обличье. Только как же это трудно!

Взгляните на то, что я написал в начале этого мемуара. Сумел ли я хоть отчасти передать ту необыкновенную ночь, когда родился Пол Демпстер? Я вполне уверен, что бегло набросанный портрет Перси Бойда Стонтон соответствует оригиналу, но вот как насчет меня самого? Я всегда посмеивался над автобиографиями и мемуарами, с первых страниц которых на нас глядит сметливый, очаровательный малыш, не по годам одаренный и проницательный, причем автор густо приправляет все это слащавой наивностью, словно говоря читателю: «Ну не чудо ли я был? И ведь все равно – ребенок, стопроцентный ребенок». Да помнят ли эти писатели себя детьми? Есть ли у них хоть какое-то представление, что такое ребенок?

Мое понимание детей покоится на твердой основе сорокапятилетней преподавательской работы. Мальчик – это мужчина в миниатюре; он может блистать замечательными добродетелями, проявлять черты, кажущиеся очаровательными из-за их детскости, оставаясь в то же время интриганом, эгоистом, предателем, иудой, мошенником и негодяем – одним словом, мужчиной. О эти автобиографии, сочинители которых рядятся под Дэвида Копперфилда и Гека Финна! Лживые, [лживые, как клятвы шлюх!](#)

Смогу ли я правдиво описать свое детство? Не позволить, чтобы это омерзительное самолюбование, столь часто проявляющееся в наших представлениях о собственной молодости, ложью проползло в мой рассказ? Попробую, а там уж как выйдет. Для начала я должен дать Вам некоторое представление о поселке, где родились и Перси Бойд Стонтон, и Пол Демпстер, и я.

3

За последние годы кино и телевидение набили всем оскомину своими исследованиями провинциальной жизни, так что перспектива знакомства с очередным экзерсисом на эту тему может вызвать у Вас вполне оправданный ужас. Стремясь к максимальной краткости, я не буду громоздить подробность на подробность, а только подчеркну наиболее (как мне кажется) важные моменты.

Когда-то бытовало представление, что в маленьких селениях живут по преимуществу милые, забавные недотепы, не испорченные бездушным своекорыстием больших городов, хотя и проявляющие порой завидную хватку в своих местных делах. Позднее возникла мода показывать такие городки погрязшими в пороках, особенно в сексуальных пороках, подобных тем, каковые Крафт-Эбинг с превеликим удивлением обнаружил в своей Вене: за кружевными занавесками и на сеновалах бушевали инцест, содомия, скотоложество, садизм и мазохизм, в то время как на улицах все было чинно-благородно. Наш поселок никогда не представлялся мне чем-то подобным. Его жизнь была гораздо разнообразнее, чем могло показаться стороннему

наблюдателю, приехавшему из большого города; наряду с изрядной долей пороков, безумств и невежества в нем можно было найти и добродетели, и гордость, и даже благородство.

Он назывался Дептфорд и стоял на берегу Темзы, милях в пятнадцати к востоку от Питтстауна, центра нашего графства и вообще ближайшего крупного города. По официальной статистике, наше население составляло около пятисот человек, вместе же с близлежащими фермами в округе набиралось до восьмисот душ. У нас имелось пять церквей: англиканская, бедная, однако обладавшая, как считалось, неким загадочным социальным превосходством; пресвитерианская, состоятельная и считавшаяся (в первую очередь своими прихожанами) интеллектуальной; методистская, неплатежеспособная и горячая; баптистская, неплатежеспособная и благостная; католическая, загадочная для большинства из нас, но очевиднейшим образом платежеспособная, ибо она часто и, как казалось, безо всякой к тому необходимости обновляла краску на стенах. У нас имелся один адвокат, он же мировой судья, и один банкир со своим частным банком – в то время такие вещи еще существовали. У нас имелись два врача: доктор Маккосланд, считавшийся очень толковым, и доктор Стонтон, отец Перси, тоже очень толковый, но не по прямой своей специальности, а в сфере недвижимости – он держал уйму закладных и был владельцем нескольких ферм. Абсолютно безрукий дантист принимал своих пациентов в кабинете, грязном, как помойка; все знали, что жена держит этого бедолагу впроголодь. Наш ветеринар пил по-черному, однако умел взять себя в руки – не было случая, чтобы он не пришел на вызов. У нас имелся консервный заводик, лихорадочно грохотавший, когда было что консервировать, а также лесопилка и несколько лавок.

Самым влиятельным семейством нашего поселка были Ательстаны, разбогатевшие в начале XIX века на торговле лесом; им принадлежал единственный в Дептфорде трехэтажный дом, который стоял сам по себе, без соседей, у дороги к кладбищу; дома у нас были все больше деревянные, некоторые из них на сваях – своенравная Темза могла взять да и устроить наводнение. Одна представительница этого семейства жила напротив нас – несчастная полумертвая старушка, имевшая обыкновение периодически удирать из-под надзора своей сиделки-экономки, выбегать на середину улицы, бросаться на землю, вздымая облако пыли, как курица, купающаяся «всухую», и кричать истошным голосом: «На помощь, христиане!» Чтобы успокоить ее, требовались усилия экономки и минимум еще одного человека; довольно часто роль помощника доставалась моей матери, мое же участие не слишком приветствовалось, потому что леди питала ко мне неприязнь, – похоже, я напоминал какого-то неверного друга из ее далекого прошлого. Но сумасшествие вызывало у меня острое любопытство, я мечтал с ней поговорить, а потому при каждом ее побеге непременно бросался на помощь.

Наша семья занимала в поселке довольно заметное положение, благодаря тому что отцу принадлежала местная еженедельная газета «Дептфордское знамя». Газета не была особо прибыльным предприятием, однако вкупе с типографией, принимавшей мелкие заказы, она позволяла нам удовлетворять наши скромные нужды. Как я узнал позднее, годовые доходы отца не превышали пяти тысяч долларов. Он совмещал обязанности издателя, редактора и главного механика, да и печатал тоже сам с помощью меланхолического юнца по имени Джампер Сол и девицы по имени Нелл Буллок. Это была хорошая маленькая газетка, одни ее уважали, а другие терпеть не могли, как то и положено порядочному местному изданию; редакционный комментарий (отец сочинял его прямо на наборной машине) внимательно прочитывался всеми нашими согражданами. Мы являлись до какой-то степени литературными лидерами общины, а потому вполне естественно, что отец был одним из двух членов библиотечного совета (вторым был мировой судья).

За все про все, наша семья наглядно являла один из положительных образчиков дептфордской жизни, мы понимали это и были высокого о себе мнения. В какой-то мере самонадеянность нашей семьи объяснялось ее шотландскими корнями; шотландский дух живуч, моя мать была шотландкой, под стать своим бабушкам и дедушкам, когда те садились в Инвер-

несе на корабль; отец же вообще родился в [Дамфрисе](#) и пересек океан во вполне сознательном возрасте. До двадцати пяти лет, а может и дольше, я свято верил, что шотландцы – соль земли; в нашем доме никогда не обсуждали этого положения, оно просто считалось самоочевидной истиной. Большую часть населения Дептфорда составляли выходцы из Южной Англии, поэтому нас ничуть не удивляло, что они постоянно обращались к нам, к Рамзи, за советами и рекомендациями, высоко ценя наше мнение буквально по любому вопросу.

Например, чистота. Моя мать была очень чистоплотна – *предельно* чистоплотна. Наша уборная задавала санитарный тон всему поселку. Дептфорд брал воду из колодцев; для всяких хозяйственных нужд ее согревали в баке (гордо называемом «цистерна»), установленном на краю кухонной плиты. При каждом доме имелась уборная, где-то – запущенная развалюха, где-то – аккуратное, не без претензий на изящество строение; можете не сомневаться, что наша уборная была одной из лучших. Теперь, когда «удобства во дворе» стали большой редкостью, над ними принято подсмеиваться, однако в этих кабинках не было ровным счетом ничего смешного; чтобы содержать их в приличном виде, требовалась уйма стараний.

Наряду с этим храмом гигиены мы имели в доме «химическую уборную» – на случай, если кто-нибудь заболеет, – однако это чудо прогресса было таким капризным и вонючим, что только увеличивало страдания больного, а потому использовалось крайне редко.

Вот, пожалуй, и все, что требуется рассказать о Дептфорде на настоящий момент; дополнительная информация будет вкрапляться в мой рассказ по мере необходимости. Мы были серьезными людьми, нам вполне хватало нашей общины, мы ничуть не ощущали себя ущербными в сравнении с жителями больших городов. Зато к полутора сотням жителей поселка Боулз-Корнерз, располагавшегося в четырех милях от нашего, мы относились с насмешливым состраданием. Ну как можно жить в таком захолустье?

4

Первые шесть месяцев жизни Пола Демпстера стали, пожалуй, самым приятным и захватывающим периодом в жизни моей матери и, вне всяких сомнений, самым несчастным в моей. 1908 год давал недоношенным детям гораздо меньше шансов на выживание, чем наше время, однако Пол оказался первой проблемой подобного рода в родовспомогательной практике моей матери, и она приступила к этой проблеме со всей своей решительностью и сноровкой. Подчеркиваю: она не была акушеркой, да и вообще не получила никакой медицинской подготовки, – просто одаренная здравым смыслом и сердечной добротой женщина, которой нравилось нянчиться с роженицами и младенцами, нравилась своеобразная власть сиделки над пациентом, нравилась таинственность, все еще окутывавшая в те времена некоторые специфические женские функции. Эти шесть месяцев она проводила у Демпстеров значительную часть каждого дня, а зачастую и ночи; другие женщины тоже помогали от случая к случаю, но моя мать была настоящей – и общепризнанной – верховной жрицей. Доктор Маккосланд искренне признал, что без нее он бы точно не смог вытащить маленького Пола на твердую почву этого мира.

Я узнавал все гинекологические и акушерские подробности по мере того, как они достигали ушей отца, – с той разницей, что отец слушал рассказы матери в гостиной, удобно устроившись у печки, я же в одной ночной рубашке стоял босиком, остро ощущая свою вину, а иногда и тошноту – ведь многое из того, что я подслушивал, казалось мне совершенно ужасным.

По оценке доктора Маккосланда, Пол появился на свет дней на семьдесят раньше положенного срока. Неожиданный удар по голове вызвал у миссис Демпстер серию истерических припадков, моя мать появилась на сцене, когда мистер Демпстер неумело пытался успокоить взхлеб рыдавшую жену. Вскоре стало очевидно, что одними слезами дело не обойдется; послали за доктором Маккосландом, но тот был где-то по вызову и пришел всего за четверть часа до родов. Из-за своей малости ребенок вышел быстро – гораздо быстрее, чем то обычно

бывает с первенцами, – и выглядел настолько жалко, что и доктор, и моя мать пришли в ужас (в чем они признались друг другу месяц спустя). Весьма характерно для места и времени описываемых событий, что никому и в голову не пришло взвесить новорожденного, зато преподобный Амаса Демпстер сразу же его окрестил (после недолгого препирательства с доктором Маккосландом). Это никоим образом не согласовывалось с правилами его веры; надо думать, он был не в себе и руководствовался порывом, позабыв все, чему учили в семинарии. Мать рассказывала, что сперва Демпстер хотел окунуть младенца в купель, но потом, столкнувшись с категорическим запретом доктора Маккосланда, удовлетворился обрызгиванием. Пока продолжался обряд, моя мать держала ребенка – названного Полом потому, что это имя первым пришло обезумевшему отцу на ум, – как можно ближе к печке, завернув его предварительно в самое толстое полотенце, какое нашлось в хозяйстве. Но можно догадаться, что в Поле было около трех фунтов, потому что именно столько весил он через десять недель, практически не прибавив за все это время, насколько можно было судить на глаз. Моя мать не имела склонности взхлеб распространяться о жутких и неприглядных вещах, однако в ее голосе, рассказывавшем отцу об уродливости Пола, звучало что-то близкое к восторгу. Он был красный (ну конечно же, младенцы все красные) и весь сморщенный, словно крошечный старичок, для полноты радости его голова, спина и значительная часть лица поросли длинными жидкими волосами. Особенно потрясли мою мать пропорции – Пол словно весь состоял из головы и живота, а его конечности казались крошечными червячками. Ногтей у него почти не было ни на руках, ни на ногах. Его плач был похож на писк больного котенка. И все же он был жив, так что нужно было что-то с ним делать, и поскорее.

Доктор Маккосланд за всю свою практику ни разу не сталкивался с таким ужасающе недоношенным ребенком, однако он читал о подобных случаях и примерно знал, что нужно делать. Пока моя мать держала Пола в безопасной близости от печки, доктор и совершенно потрясенный отец принялись мастерить гнездо с условиями, максимально похожими на те, к которым привык младенец. После нескольких переделок получилось некое сооружение из ваты и бутылок с горячей водой – вначале к ним добавляли еще и несколько нагретых кирпичей, – прикрытое навесом, под который направлялся пар из чайника; за чайником требовалось внимательно присматривать, чтобы он не выкипел досуха и тем более не обварил ребенка. Доктор не знал, что делать с кормлением, но в конце концов они с моей матерью придумали устройство из стеклянного баллончика авторучки и клочка ваты, посредством которого они закачивали в Пола разведенное подслащенное молоко, Пол же немощно, но исправно выкачивал его обратно. Лишь через двое суток он начал удерживать в себе хоть сколько-нибудь заметную часть пищи, однако тем временем его рвотные спазмы стали чуть-чуть энергичнее; именно тогда моя мать сказала себе, что этот ребенок – настоящий борец, и твердо решила его перебороть.

Первое время после родов доктор и моя мать занимались исключительно младенцем, оставив миссис Демпстер на попечение мужа, который делал для нее все, что мог, то есть стоял на коленях рядом с ее кроватью и громко молился. Несчастный Амаса Демпстер был предельно серьезным человеком, к тому же ни воспитание, ни обучение не привили ему ни крупицы такта; он просил Господа, чтобы Он, буде Он возжелает забрать душу Мэри Демпстер в мир горний, сделал это милосердно и безболезненно. Он напоминал Господу, что маленький Пол уже окрещен, а потому душа ребенка находится в полной безопасности и с радостью отправится на небеса в компании души материнской. Демпстер развивал эти темы со всем доступным ему красноречием, так что в конце концов доктор Маккосланд был вынужден призвать его к порядку такими словами, какие использует молчаливый, по обыкновению, пресвитерианин, призывая к порядку эмоционального баптиста. Выражение «призвать к порядку» принадлежит моей матери, бывшей целиком и полностью на стороне доктора; истинная шотландка, она неизменно получала удовольствие, слушая, как кого-нибудь распекают (если за

дело) и вразумляют. «Так себя вести над постелью этой девочки, когда она из последних сил борется за свою жизнь!» – сказала она отцу, и я легко себе представляю резкое встряхивание головой, сопровождавшее эту негодующую тираду.

Теперь я даже и не знаю, действительно ли миссис Демпстер боролась за свою жизнь; последующие события показали, что она была далеко не такой слабенькой, как всем нам казалось. Но в те времена было принято считать, что любая роженица находится на грани смерти, и пусть я знаю много доводов против этого положения, оно вполне могло быть близким к истине на тогдашней стадии развития медицины. И уж во всяком случае несчастному Демпстеру должно было казаться, что его жена умирает. Он наблюдал весь процесс родов от начала до конца, он видел своего страшного, уродливого ребенка, его подгоняли и распекали за нерасторопность врач и добрейшая соседка. Священник? Сейчас это был просто перепуганный деревенский парень, так что я ничуть не виню преподобного Демпстера за то, что он совсем потерял голову. Есть люди, которым словно на роду написано вечно терпеть невзгоды и оставаться на обочине жизни; Демпстер явно относился к этой категории, хотя не приходится сомневаться, что, стоя на коленях у постели жены, он считал свою роль в разыгрывающейся драме ничуть не меньшей, чем любая другая. Это – одна из жестоких особенностей жизненного театра, все мы считаем себя звездами, напрочь отказываясь понять и признать свою истинную сущность второстепенных персонажей, а то и статистов.

Можете себе представить, во что превратилось за эти месяцы наше домашнее хозяйство. Мой отец не роптал и не жаловался, он преданно любил свою жену, считал ее замечательной женщиной и никак не мог сделать что-нибудь такое, что помешало бы ей проявить свою замечательность во всей полноте. Ради того, чтобы малютка Пол вовремя получил из авторучки с ваткой положенную дозу, мы питались всухомятку; когда же настал великий день и младенец отпрыгнул не все, в него закачанное, отец, как мне кажется, ликовал даже больше матери.

Шли недели, сморщенная кожа Пола стала не такой багровой и прозрачной, широко посаженные глаза открылись и начали блуждать по комнате, невидящие, но уже точно не слепые, он начал сучить ножками, как нормальный младенец. Сумеет ли он оправиться окончательно? Доктор Маккосланд не делал никаких прогнозов, он был воплощением шотландской осмотрительности. Однако моя мать уже приняла боевое решение, что Пол должен иметь свой шанс.

Именно в эти недели мне довелось пережить внутренние терзания, кажущиеся теперь, с расстояния в шесть десятилетий, экстраординарными. Конечно же, у меня и потом бывали трудные времена, я не раз и не два страдал, как только способен страдать человек зрелый, и отнюдь не склонен к сентиментальным преувеличениям страданий ребенка. Но даже сейчас я с трудом решаюсь воскрешать воспоминания о тех ночах, когда я боялся уснуть и без устали молил Бога, чтобы Он простил мне мое чудовищное преступление.

Верьте не верьте, но я ничуть не сомневался, что жалкое, немощное состояние, в котором родился Пол Демпстер, а также бесконечные хлопоты, доставляемые им всем окружающим, лежат на моей совести. Не будь я таким ушлым и проворным, не увернись я в тот самый момент, когда Перси Бойд Стонтон кидал в меня сзади этот снежок, миссис Демпстер дошла бы до дому без всяких неприятностей. А Перси, неужели я не считал его виноватым? Конечно считал. Но тут имелась некоторая психологическая трудность. В нашу первую после того несчастного вечера встречу мы приближались друг к другу настороженно, как то бывает у мальчиков, находящихся в ссоре; чувствовалось, что он расположен поговорить. Слово за слово, я исподволь перевел беседу на рождение Пола и был поражен, услышав небрежно брошенную фразу:

- Да, мой папа говорит, что доктор Маккосланд сидит там не вылезая.
- Этот ребенок родился слишком рано, – сказал я с более чем очевидным намеком.
- Прежде, что ли? – невольно спросил он, глядя мне в глаза.
- И ты знаешь почему, – не отставал я.

– Нет, не знаю.

– Знаешь, еще как знаешь. Это же ты кинул этот снежок.

– Я кинул снежок в тебя, – сказал он, – и очень хорошо тебе залепил.

Перси лгал, это чувствовалось по откровенной наглости его тона.

– Ты хочешь сказать, что ты так считаешь? – спросил я.

– Ну конечно же, я так считаю, – сказал он. – Да и тебе бы лучше так считать, если не хочешь нажать уйму неприятностей.

Мы смотрели друг другу в глаза, и я понимал, что он боится, а еще я понимал, что он готов драться, лгать, готов на все, что угодно, лишь бы не признаваться в том, что известно мне. И я не понимал, что я могу с этим поделать.

Так что я остался один на один со своей виной, и она меня терзала. Я был пресвитерианским ребенком и предостаточно знал об адских муках. Среди отцовских книг был Данте с иллюстрациями Доре, по тому времени подобные книги встречались в провинции сплошь и рядом; думаю, никто из нас толком не осознавал, что Данте был католиком. Когда-то я смотрел на эти картинки с зябким удовольствием, теперь же выяснялось, что они прямо относятся ко мне, показывают, что ждет за пределами этой земной жизни таких мальчиков, как я. Я был проклят навеки. В наше время подобные фразы кажутся людям пустыми, ничего не значащими, но для меня они были полны глубокого и зловещего смысла. При всей своей увлеченности делами Демпстеров, мать заметила, что я малость побледнел и осунулся, и начала регулярно пичкать меня рыбьим жиром. Я не испытывал особых телесных страданий, зато душевных страданий было хоть отбавляй, по причине, прямо связанной с моим возрастом. Мне было почти одиннадцать лет, и я отношусь, надо думать, к скороспелой породе, во всяком случае у меня уже начали проявляться первые признаки половой зрелости.

О, сколь здоровы духом теперешние дети! Или это только так считается? Не знаю, не знаю. Во всяком случае в те времена общепринятое отношение ко всему связанному с полом было таким, что уже одного этого хватало с лихвой, чтобы превратить в ад жизнь подростка вроде меня, то есть серьезно и с глубоким недоверием относившегося ко всему действительно приятному в жизни. Мало того, что я каждодневно слышал всякие похабные, шепотком передаваемые истории от мальчишек-сверстников, мало того, что я терзался растущими подозрениями, что и мои родители некоторым образом причастны к этому свинству, к сексу, занимавшему все большее и большее место в моих мыслях, – теперь я оказался прямо ответственным за событие, имевшее неоспоримо сексуальную природу, – за рождение ребенка. И какой это был ребенок! Из безумной путаницы моих мыслей выкристаллизовалась странная уверенность, что я более ответствен за рождение Пола Демпстера, чем его родители, и что, если этот факт когда-нибудь выйдет на свет, меня неизбежно постигнут некие страшные кары. В частности, от меня откажется мать. Эта мысль была невыносима, но я не мог выкинуть ее из головы.

Мои страдания ничуть не уменьшились, когда месяца через четыре после рождения Пола я услышал по дымоходу (не такому уже горячему, потому что наступала весна) следующий разговор:

– Я почти уверена, что маленький Пол выкарабкается. Доктор говорит, что будет задержка в развитии, но мало-помалу все придет в норму.

– Вот уж для тебя радость. Это же твоя заслуга по большей части.

– Нет, что ты! Я просто делала что могла. Но доктор говорит, что нужно, чтобы за Полом кто-то присматривал. На мать надежды мало.

– Она что, так и не пришла в себя?

– Куда там. Эта бедняжка испытала страшное потрясение. А Амаса Демпстер никак не возьмет в голову, что есть время говорить о Боге и есть время полагаться на Бога и молчать себе в тряпочку. К счастью, она вроде и не понимает того, что он там плетет.

– Ты хочешь сказать, она лишилась рассудка?

– Бедняжка осталась такой же милой, спокойной и приветливой, какой была прежде, но она словно не здесь, а в каком-то другом мире. Этот снежок сделал с ней что-то ужасное. И кто бы это мог его кинуть?

– Демпстер не рассмотрел. Скорее всего, никто этого так и не узнает.

– Я иногда задумываюсь, а не может ли быть, что Данстэбл знает больше, чем нам рассказывает?

– О нет, он же знает, как все это серьезно. Если бы он знал хоть что-нибудь, он бы обязательно нам сказал.

– Кто бы это ни был, его руку направлял Сатана.

Да, и Сатана подменил ему цель. Миссис Демпстер лишилась рассудка! Я на цыпочках прокрался к своей кровати. Мне хотелось умереть, умереть этой же ночью, но в то же время я панически боялся смерти.

5

Да если бы только смерть! Прямым в ад, на адские муки, но ты хотя бы понимаешь свое положение. Жить, тая в себе невыносимую вину, гораздо труднее. Чем дальше уходил в прошлое снежок, от которого миссис Демпстер потеряла рассудок, тем невозможнее было мне обвинить Перси Бойда Стонтонна, что это он его кинул. Его бесстыдный отказ признать свою вину усугублял мое жалкое положение, добавляя к ответственности за содеянное ответственность за умолчание. Однако с течением времени стало выясняться, что миссис Демпстер утратила рассудок далеко не в той степени, как я сперва боялся.

Моя мать с ее непогрешимым здравым смыслом проникла в корень ситуации, сказав, что миссис Демпстер осталась практически такой же, как была прежде, – ну разве что еще больше такой. Год назад, когда Амаза Демпстер привез свою миниатюрную супругу в поселок, наши кумушки дружно согласились, что ничто и никогда не сделает из этой особы настоящую священникову жену.

Как я уже говорил, в нашем поселке присутствовало очень многое из того, чем может похвастаться человечество, – многое, но не все. Одной из вещей, отсутствие которых особенно бросалось в глаза, являлось эстетическое чувство. Предки-первопоселенцы оставили нам в наследство слишком много грубой практичности, чтобы в ее атмосфере могло возникнуть поощрительное отношение к чему-либо подобному, и качества, ценимые в более цивилизованном и утонченном обществе, мы награждали пренебрежительными словами. Миссис Демпстер не была хорошенькой – мы понимали, что такое «хорошенькая», и сдержанно признавали это качество приятным, пусть и бесполезным, – а вот кротость выражения и нежный цвет ее лица были для нас крайне необычны. Моя мать (у нее было резко очерченное лицо и коротко стриженные, чтобы поменьше с ними возиться, волосы) сказала однажды, что у миссис Демпстер лицо как миска с простоквашей. Вдобавок она была совсем миниатюрная, даже одежда, положенная священниковой жене, не могла замаскировать ее хрупкую, как у девочки, фигуру и легкую поступь. Беременность сказала на миссис Демпстер неожиданным образом – она буквально сияла, что никак не соответствовало серьезности ее состояния; ну разве это прилично, чтобы беременная женщина все время улыбалась? И уж во всяком случае, она могла бы построже относиться к этим волнистым локонам, то и дело выбивавшимся из строгой, как то и положено, прически. Она была мила и приветлива, но разве смог бы этот тихий, нежный голос укрощать споры на собраниях женского комитета по сбору пожертвований на церковь? И почему она смеется непонятно над чем? Никто не видит ничего смешного, а она смеется.

Амаза Демпстер, казавшийся прежде вполне уравновешенным (для священника) человеком, совсем сдурел со своей женой. Он буквально не сводил с нее глаз, а еще не раз видели, как он таскает воду из колодца, хотя по заведенному порядку женщин освобождали от этой

работы только на последнем месяце беременности. А посмотреть, как преподобный Амаса на нее смотрит, так можно было задуматься, в своем ли он уме. Как будто он все еще женихается, вместо того чтобы заняться своим Божьим делом и честно отрабатывать пятьсот пятьдесят долларов в год. Это столько баптисты платили своему священнику, плюс к тому скудное количество дров и десятипроцентная скидка на все покупаемое в принадлежавшей баптисту лавке – ну и еще в нескольких лавках, где, как это говорится, «уважали рясу». Подавая пример прихожанам, он возвращал церкви ровно одну десятую часть своего дохода (это считалось само собой разумеющимся). Широко выражалась надежда, что мистер Демпстер все-таки не превратит свою жену из дурочки в полную дуру.

В нашем поселке резкие слова далеко не всегда сопровождались резкими действиями. Моя мать, которую никто не обвинил бы в чрезмерной мягкости хоть по отношению к семье, хоть к миру, вообще прямо из себя выворачивалась, чтобы помочь миссис Демпстер – я не говорю «подружиться с ней», потому что дружба между двумя настолько различными женщинами лежала за пределами возможного. Мать пыталась «ввести ее в курс дела», и чем бы ни было это загадочное женское дело, в его состав, несомненно, входила уйма всяких вкусных вещей, приготовленных моей матерью, которые она так, между прочим, оставляла юной супруге священника после своих визитов, а также практическая демонстрация полезных устройств вроде растяжки для ковра или сушилки для кружевных занавесок и не менее полезного искусства протирать оконные стекла газетой.

Но почему мать будущей миссис Демпстер не подготовила свою дочь к этим аспектам замужней жизни? Как вскоре выяснилось, девушку взрастила и воспитала богатая тетя, державшая в доме служанку, ну а как, скажите на милость, можно выгнать священникову жену из такого хлипкого материала? Когда отец начинал поддразнивать мать насчет количества пищи, перетасканной ею к Демпстерам, та обижалась и говорила: «Ну неужели я позволю им умереть с голоду, пока эта девочка входит в курс дела?» Девочка как-то не очень спешила, но у матери и на это был ответ: «В таком состоянии она и не может быть проворной».

Ну а теперь и вообще не было похоже, что миссис Демпстер когда-нибудь научится управляться с домашним хозяйством. Выздоровление после родов оказалось затяжным, а тем временем за домом приглядывал муж с помощью соседок, а также одной вдовы из своих прихожан, чью работу он если и мог оплачивать, то крайне скудно. К весне миссис Демпстер полностью восстановила силы, однако не было заметно, что она хотела бы взяться за работу. Она кое-как прибирала дом, изредка что-то неумело готовила и весело, как ребенок, смеялась над своими промахами. Миссис Демпстер буквально тряслась над своим Полом; когда же багровый, как кусок сырого мяса, уродец превратился в мелковатого, но вполне нормального младенца, она радовалась ему, как маленькая девочка новой кукле. Кормление грудью (баллончик от авто-ручки ушел в прошлое) проходило вполне успешно, в чем соглашались и моя мать, и остальные соседки, – за исключением одного момента: у миссис Демпстер напрочь отсутствовала скромная серьезность, приличествующая кормящей матери, ей нравился этот процесс. Находились свидетельницы того, как она сидит с ребенком у груди, вывалив все наружу, хотя тут же рядом находится ее муж, а чем-нибудь прикрыться, так на это ей ума не хватает. Я тоже наблюдал подобные сцены и, конечно же, таранился жадными глазами подростка, но она вроде ничего не замечала. В поселке росло убеждение, что миссис Демпстер малость тронулась.

В таких обстоятельствах оставалось одно – оказывать Демпстерам посильную помощь, стараясь, чтобы это не выглядело как одобрение или поощрение тенденций, идущих вразрез с принятыми порядками. Меня посылали к Демпстерам колоть и складывать дрова, убирать снег, косить траву, полоть огород и вообще делать все, что потребуется, два-три раза в неделю, а по необходимости и в воскресенье. Кроме того, я должен был приглядывать за ребенком (мама все еще боялась, что в неумелых руках миссис Демпстер он поперхнется до смерти или вывалится из колыбели, да мало ли что может случиться). Я быстро понял, что все эти страхи совершенно

напрасны, однако продолжал выполнять материнские инструкции, все время терся где-нибудь неподалеку от миссис Демпстер и смешил ее своим беспокойством о маленьком Поле. Она никак не думала, что с ребенком, оставленным на ее попечение, может приключиться какая-нибудь беда; теперь я понимаю, что так оно и было и что вся моя сверхбдительность должна была казаться настырной и неуклюжей.

Уход за ребенком – это одно дело, а бесчисленные обязанности священнической жены – совсем другое, и тут миссис Демпстер не выказывала ровно никаких способностей. К тому времени, как Полу исполнился год, его отец воспринимался всем поселком как «несчастный преподаватель Демпстер», тащащий на своем горбу ненормальную жену и слабого, болезненного ребенка; все поражались, как это он умудряется сводить концы с концами. Человеку, зарабатывающему пятьсот пятьдесят долларов в год, нужна очень бережливая жена, миссис же Демпстер с легкостью отдавала все, что угодно, кому угодно. Примером может быть скандальный случай, когда она вознаградила соседку, принесшую ей несколько буханок хлеба, декоративной вазой; ваза принадлежала не Демпстерам, а приходу, поэтому все церковные дамы восстали против такой бездумной щедрости и потребовали, чтобы Амос Демпстер послал свою супругу в соседский дом с просьбой отдать вазу обратно, а если она скажет, что ей неудобно идти на попятную, – ничего, пусть потерпит небольшое неудобство. Но он не захотел подвергать свою жену унижению и взял эту неприятную обязанность на себя; все дружно согласилось, что такое проявление слабости может привести к самым печальным последствиям. Мать дала мне поручение посматривать, не появляются ли на крылечных столбиках Демпстеров пометки мелом, а если появятся – сразу же их стирать; такими пометками бродяги сообщают друг другу, что в этом доме хорошо подают, причем не только пищей, но и деньгами.

Еще через год наша поселковая общественность (женского по преимуществу пола) устала жалеть Демпстера и начала склоняться к мнению, что он такой же чокнутый, как и его жена. Подобно многим людям, подвергающимся остракизму, они стали проявлять еще более отчетливые признаки странности. Однако моя мать держалась непоколебимо, ее сострадание не было похоже на бабочку-однодневку. В результате Демпстеры попали, в некотором смысле, под опеку нашей семьи, а мне прибавилось работы. Мой брат Вилли почти ничего для них не делал. Он был на два года старше меня, учеба отнимала у него больше времени, ну а после школы он шел в типографию «Знамени» – помогать отцу и постигать азы профессии. Как и всегда, моя мать держала события под своим контролем, а отец, свято уверенный в ее непогрешимости, полностью одобрял все, что она делала.

6

Должность неофициального попечителя семьи Демпстеров доставляла мне уйму хлопот и нисколько не увеличивала мою популярность. Слава еще Богу, что я быстро рос и был достаточно сильным для своего возраста; немногие из ребят, с которыми я ходил в школу, решились бы сказать что-нибудь такое мне в лицо, зато у меня за спиной говорилось более чем достаточно, и я об этом знал. Одним из говоривших был Перси Бойд Стонтон.

Он занимал в нашем школьном мире особое место. Есть люди, сызмала способные окружить себя ореолом некой важности, исключительности. Перси был такого же роста, как я, только поплотнее – не то чтобы толстый, но пухлый. Он ходил в школу в лучшей, чем все мы, одежде, у него имелся интересный перочинный ножик с цепочкой, чтобы пристегивать к поясу, а его чернильницу можно было перевернуть, не разлив ни капли; по воскресеньям он щеголял в костюме с модным хлястиком на спине. Он ездил однажды в Торонто на выставку и вообще повидал значительно больше, чем мы, остальные.

Мы с Перси постоянно соперничали: на его стороне были импозантность и богатство, на моей – острый язык. Я был тощий и нескладный, постоянно донашивал одежду, из которой

вырос Вилли, но зато славился в школе своими язвительными замечаниями, «пенками», как мы их называли. Если меня доставали, я мог отмочить такую пенку, что ее повторяли потом годами – наша компания ценила убойные шутки и обладала долгой памятью.

И у меня была пенка, специально приберегаемая на случай серьезного столкновения с Перси. Однажды его мать неосторожно рассказала моей (я при этом присутствовал), что, когда Перси Бойд только-только начинал говорить, он произносил свое имя как Писи Бо-Бо и что с тех пор Писи Бо-Бо стало его ласковым прозвищем в семье. Я понимал, стоит мне хотя бы раз назвать Перси таким образом на школьном дворе, и его песенка спета, дело вполне могло дойти до самоубийства. Это понимание давало мне ощущение силы.

Я в нем очень нуждался. Что-то от странности и одиночества Демпстеров начинало передаваться и мне. Чрезмерное количество обязанностей почти не позволяло мне принимать участие в играх сверстников; бегая туда и сюда между двумя домами то с тем, то с этим, я неизбежно встречал кого-нибудь из своих друзей; когда я возвращался домой, миссис Демпстер выходила на крыльцо, махала рукой и безумолчно меня благодарила своим жутковатым (мне начинало так казаться) голосом. Я понимал, как смешно выглядит эта сцена со стороны и что смеяться будут именно надо мной, не над ней. Смеялись даже девочки, это было хуже всего; некоторые называли меня «нянькой» – только за глаза, но все равно я об этом знал.

Мое положение было крайне печальным. Я хотел иметь хорошие отношения со всеми знакомыми мне девочками; вероятно, я хотел, чтобы они мной восхищались, считали меня неподражаемым (не совсем понятно, в чем именно). Многие наши девочки избрали себе кумиром Перси, они посылали ему на День святого Валентина открытки без подписей, однако отправительницы легко узнавались по почерку. Ни одна девочка ни разу не прислала мне валентинку, разве что Элси Уэбб, известная у нас за свою неуклюжую, враскорячку походку, как Паучиха. Но я не хотел Паучиху, я хотел Леолу Крукшанк, к чьей нормальной походке прилагались роскошные вьющиеся волосы и дразнящая манера никогда не смотреть тебе прямо в глаза. Но мои чувства к Леоле вступали в жесткий конфликт с моими чувствами к миссис Демпстер. Леолу я хотел как трофей, для самоутверждения, тем временем миссис Демпстер начинала заполнять всю мою жизнь, и чем больше странностей обнаруживалось в ее поведении, чем больше наш поселок сострадал ей и отвергал ее, тем крепче я к ней привязывался.

Я считал себя влюбленным в Леолу – иначе говоря, если бы я застал ее в каком-нибудь темном углу, и если бы я был совершенно уверен, что никто никогда ничего не узнает, и если бы я набрался в нужный момент храбрости, я бы ее поцеловал. Но теперь, глядя через годы назад, я знаю, что в действительности я любил миссис Демпстер, только если обычно подросток, влюбленный во взрослую женщину, обожает ее издалека, вводит ее идеализированный образ в мир своих фантазий, мое общение с миссис Демпстер было куда более непосредственным – и болезненным. Я видел ее ежедневно, помогал ей по дому и нес на себе обязанность присматривать за ней, удерживать ее от неразумных поступков. Кроме того, меня привязывала к ней моя уверенность, что именно я ответствен за помрачение ее рассудка, за ее изломанный брак, за слабость и болезненность ребенка, бывшего главной радостью ее жизни. Я сделал ее тем, чем она была, а потому мог относиться к ней только одним из двух образов: либо любить, либо ненавидеть. Вот я и любил ее, что влекло за собой последствия, непомерно тяжелые для неопытного подростка. Любовь заставила меня вставать на защиту миссис Демпстер, и если кто-нибудь называл ее малахольной, мне приходилось отвечать, что это он сам малахольный и что я сверну ему голову, если услышу такое еще раз. К счастью, в первом столкновении подобного рода моим противником оказался Мило Паппл, а уж с ним-то я как-нибудь мог разобраться.

За Мило, сыном поселкового парикмахера Майрона Паппла, закрепилась твердая репутация шута. В местах не столь захолустных, как Дептфорд, мне случалось видеть парикмахеров с богатыми шевелюрами либо, наоборот, с элегантно выбритыми черепами. Наш же Майрон

не мог похвастаться подобной красотой. Это был толстый, грушевидный коротышка; и цветом лица, и растительностью на голове он сильно смахивал на борова честерской белой породы. Из прочих особенностей Майрона Паппла стоит упоминания только одна: каждое утро он запикивал себе в рот пять палочек жевательной резинки и выплевывал липкий ком только вечером, уже закрыв свое заведение. В процессе стрижки и бритья он развлекал своих клиентов непрерывным трепом, заодно обдавая их густым запахом мяты.

Мило был уменьшенной копией своего папаша и общепризнанным шутником. Его репертуар был невелик, но зато состоял из шуток, проверенных веками, если не тысячелетиями. Он умел управлять своей отрыжкой – и громко рыгал в самые неподходящие моменты; точно так же он умел в любой момент испортить воздух, да не просто, а с долгим, скулящим, жалобным звуком. Прюделав такое в классе, он оборачивался и яростно шептал: «Кто это сделал?» Мы валились на пол от хохота, а учительница возмущенно поджимала губы, всем своим видом показывая, что она слишком хороша для мира, где возможны подобные вещи, – да и что еще могла она сделать? Даже девочки – даже Леола Крукшанк – считали Мило заправским шутником.

Как-то раз ребята спросили меня, буду ли я после школы играть в мяч. Я сказал, что нет, что у меня много работы.

– Да уж конечно, – сказал Мило. – Данни пойдет в этот дурдом косить траву.

– В дурдом? – переспросили те, кто соображал помедленнее.

– Ага. К Демпстерам. Там сейчас самый натуральный дурдом.

Отступить было некуда.

– Мило, – ласково улыбнулся я, – в следующий раз, когда я услышу от тебя что-нибудь подобное, я подберу пробку побольше и заткну тебя снизу наглухо. На чем и кончатся твои шутки.

Произнося эту фразу, я угрожающе надвигался на Мило; он испуганно попятился, что автоматически делало меня победителем. В этот раз. Шутку насчет Мило и пробки хозяйственно сохранили наши коллекционеры колкостей, так что он и хотел бы забыть ее, но не мог. «Если заткнуть Мило снизу, все его шутки кончатся», – говорили эти бесстыдные собиратели объедков с пиршественных столов остроумия и покатывались со смеху. Отныне никто из ребят не решался произнести при мне слово «дурдом», хотя иногда я видел, что их так и подмывает, и ничуть не сомневался, что за моей спиной они его говорят. Это обостряло мое ощущение изоляции, ощущение, что меня вытеснили из нормального мира, где мне и полагалось бы находиться, в сумеречный и небезопасный мир Демпстеров.

7

С течением времени моя изоляция усугублялась. В тринадцать лет я должен был приступить к изучению печатного дела; мой отец работал очень аккуратно и споро, Вилли старался следовать его примеру. А вот от меня в типографии было больше вреда, чем пользы; я никак не мог выучить расположение окошек в наборной кассе, пытаюсь заключить набор, я мог его рассыпать, пачкал все вокруг краской, переводил без толку уйму бумаги – в общем, не годился ни на что, кроме вырезания пробельного материала и вычитывания гранок, а гранки отец все равно не доверял никому, кроме себя самого. Я так никогда и не овладел типографским искусством читать зеркально обращенный текст и даже не научился правильно складывать лист. Короче говоря, я путался у всех под ногами и страдал от сознания собственной никчемности; в конце концов отец сжалился и решил подыскать мне какую-нибудь другую, достаточно почетную работу. Давно уже предлагалось, чтобы наша поселковая библиотека работала не только в воскресенье, но и два-три вечера по будням, на случай если школьникам, которые посерьезнее, вдруг потребуются какие-нибудь книги, только вот библиотекаршей у нас была учитель-

ница, и ей совсем не улыбалось после дня, проведенного в школе, просиживать весь вечер в библиотеке. Отец разрешил ситуацию, назначив меня младшим библиотекарем – без всякого жалования, разумно полагая, что почет сам по себе является достаточным вознаграждением.

Это вполне меня устраивало. Три вечера в неделю я открывал нашу библиотеку (одна комнатка на верхнем этаже ратуши) и строил важный вид перед забредавшими ненароком школьниками. Однажды мне выпало головокружительное счастье найти что-то такое в энциклопедии для Леолы Крукшанк, которая должна была написать реферат про экватор и никак не могла уяснить, проходит он посередине глобуса или через верхушку. Но чаще всего посетителей не было или заявлялись такие, что возьмут нужную книгу и сразу уйдут, так что библиотека находилась в моем единоличном распоряжении.

Она не была особенно богатой, тысячи полторы книг, из них детских – от силы одна десятая часть. Ее годовой бюджет составлял двадцать пять долларов, значительную часть этой жалкой суммы съедала подписка на журналы, которые хотел читать мировой судья, он же председатель библиотечного совета. Поэтому новые книги поступали к нам либо когда кто-нибудь умирал, из наследства, либо от нашего местного аукционера; он передавал в библиотеку всю печатную продукцию, которую ему не удавалось продать, мы же оставляли себе все мало-мальски приличное, а остальное отсылали в Миссию [Гренфелла](#), из тех соображений, что дикарям все равно, что читать.

В результате среди наших книг имелись и довольно необычные, самые экзотичные из которых хранились за пределами библиотечной комнаты, в запертом шкафу. Там была, в частности, некая медицинская книга с устрашающими гравюрами; особенно мне запомнились изображения выпавшей матки и варикозного расширения семенных протоков, а также портрет мужчины с роскошной шевелюрой и усами, но без носа, сделавший меня убежденным противником сифилиса. Там же хранились и мои главные сокровища: «Секреты сценического фокуса», написанные Робером-Гуденом, «Современная магия» профессора Гофмана и «Позднейшая магия» того же автора, – все эти раритеты были отправлены в ссылку как неинтересные – неинтересные! – и стоило им попасть мне на глаза, я понял, что это подарок судьбы. Изучив эти книги, я стану великим фокусником, завоеую всеобщее восхищение (в частности, восхищение Леолы Крукшанк) и получу огромную власть. Я тут же спрятал их в надежное место – дабы не попали в недостойные руки, в том числе и в руки нашей библиотечарши, – и с головой окунулся в освоение магии.

Я все еще вспоминаю эти часы, когда я вникал в приемы, посредством которых французский фокусник поражал подданных Луи Наполеона, как эпоху невинных пасторальных наслаждений. И нет нужды, что книга была безнадежно старомодной, даже через пропасть, отделявшую меня от Робера-Гудена, я воспринимал его мир как реальный – во всем, что касалось изумительного искусства иллюзии. Когда оказывалось, что нужные для работы предметы напрочь неизвестны в Дептфорде, мне было абсолютно ясно, в чем тут дело. Просто Дептфорд – жалкая деревушка, а Париж – огромная, знаменитая столица, где каждый хоть чего-то стоящий человек безумно увлекается искусством сценического фокуса и страстно мечтает, чтобы его ловко надул элегантно, чуть зловещий, но в целом очаровательный маг. Мне казалось вполне естественным, что император направил Робера-Гудена в Алжир как дипломата с секретным заданием подорвать власть марабутов, продемонстрировав превосходство своего искусства над их магией. Читая о триумфе французского фокусника на яхте турецкого шаха, когда он положил усыпанные бриллиантами часы шаха в ступку, растолок их в хлам и выкинул обломки за борт, а затем забросил в море удочку, поймал рыбу, попросил шахского повара ее почистить, и как повар нашел в рыбьих кишках те самые часы, ничуть не поврежденные и аккуратно упакованные в шелковый мешочек, я проникся убеждением, что вот это и есть настоящая жизнь – жизнь, какой ей следует быть. Ясно как божий день, что фокусники – люди выдающиеся, вращающиеся в обществе других столь же выдающихся людей. Я буду одним из них.

Я пытался подражать шотландской практичности своих родителей, но она мне так и не привилась, я слишком мало задумывался о возможных трудностях. Я трезво признавал, что в Дептфорде вряд ли найдется настоящий стол фокусника – раззолоченный *guéridon* с хитроумным *servante* на дальней от зрителей стороне, чтобы складывать вещи, которые не должны быть видны, и *gibeciègre*, куда можно будет уронить монету или часы; у меня не было фрака, а даже и будь он, я сильно сомневался, что моя мама взялась бы пришивать к фалдам тайный *profonde*, необходимый для исчезновения предметов. Когда профессор Гофман приказывал отогнуть манжеты, я не расстраивался, хотя и знал, что никаких манжетов у меня нет и в помине. Нет так нет, придется посвятить себя иллюзиям, для которых все эти вещи не нужны. Как вскоре выяснилось, для таких иллюзий требовались специальные устройства; Гофман неизменно характеризовал их как простейшие, вполне доступные для самостоятельного изготовления. Однако для подростка, который столь же неизменно шнуровал свои ботинки сикось-накось и завязывал воскресный галстук таким образом, что тот сильно напоминал петлю на шее висельника, эти устройства представляли проблему неразрешимую, как выяснилось после нескольких попыток. Точно так же я не мог подступиться к фокусам, для которых требовались «химические субстанции, которые вам продадут в ближайшей аптеке», потому что в аптеке Рукле и слыхом не слыхивали ни об одной из этих «субстанций». Однако я и не подумал капитулировать. Если так, я добьюсь совершенства в жанре сценической магии, являющемся, по словам Робера-Гудена, самым высоким, самым классическим: я разовью у себя ловкость рук, стану несравненным престижиджигатором.

В своей обычной безалаберной манере я начал с яиц, а точнее – с одного яйца. Мне как-то и в голову не пришло, что для моих целей вполне пригодно яйцо глиняное, какими обманывают несусешек. Я утащил одно из яиц, лежавших у мамы на кухне, и тем же вечером, когда в библиотеке никого не было, начал тренироваться, извлекая его из своего рта, из локтя и из подколенной ямки, а также засовывая его в правое ухо, чтобы затем, немного покудахтав, извлечь из левого. Все шло настолько великолепно, что, когда неожиданно в библиотеку заскочил мировой судья, желавший взять последний номер «Скрибнера», меня так и подмывало изумить почтенного адвоката, вытащив яйцо из его бороды. Такой поступок был бы чистым безумием, и я вовремя сдержался, однако сама уже мысль, как бы все это выглядело, вызвала у меня такой приступ истерического хихиканья, что судья недоуменно вскинул глаза. Когда он ушел, я продолжил манипуляции с яйцом, ничуть уже не сомневаясь в своих возможностях, что привело к легко предсказуемому финалу. В тот момент, когда яйцо должно было очередной раз исчезнуть в моем брючном кармане, я проткнул его пальцем.

Ха-ха-ха. Забавная ребяческая незадача, такое случалось с каждым. Однако это яйцо послужило причиной жуткого скандала. Мать заметила пропажу – я и подумать не мог, что кто-то там считает яйца, – и верно угадала виновника. Я отпирался. Чуть позже она поймала меня на попытке застирать карман, ведь в доме без водопровода стирка не может быть интимным процессом. Получив в свое распоряжение неоспоримые улики, мама захотела узнать, зачем я взял яйцо. А теперь подумайте, как может тринадцатилетний мальчик объяснить шотландке, славящейся своей практичностью и житейским здравым смыслом, что он вознамерился стать лучшим в мире престижиджигатором? Я вызывающе молчал. Мать взорвалась. Она спросила, не думаю ли я, что она сделана из яиц. Как назло, мне пришла в голову очередная пенка, я не сдержался и сказал, что это уж ей самой лучше знать. Моя мать не отличалась особым чувством юмора. Она сказала, что, если я считаю себя таким взрослым, что меня и выпороть уже нельзя, она докажет мне, что я ошибаюсь, и вытащила из кухонного буфета хлыст, какими погоняют пони.

Пони тут совсем ни при чем. Во времена моего детства эти симпатичные маленькие хлыстики продавались на сельских ярмарках, их покупали дети для игры – чтобы хлестать по деревьям или просто так размахивать. За несколько лет до этого мать конфисковала этот конкрет-

ный хлыст у Вилли, с тех пор он хранился в буфете и применялся для воспитательных целей. Хлыст лежал без употребления уже года два, но теперь мать снова его вытащила, я нахально рассмеялся, и она обожгла меня по левому плечу.

– Не смей до меня дотрагиваться! – закричал я во весь голос; эта неслыханная дерзость окончательно привела ее в бешенство. Сторонний наблюдатель назвал бы последовавшую сцену совершенно дикой: мать гонялась за мной по кухне, стегала хлыстом и плакала, истерически взвизгивая; в конце концов я не выдержал и тоже заплакал. Она хлестала меня все сильнее и безостановочно кричала, что я ее совсем не уважаю, кричала про мою наглость, обвиняла меня в неподобающей эксцентричности и интеллектуальном высокомерии – мать излагала все это совсем другими словами, которые мне не хотелось бы здесь приводить, – когда же ее бешенство выдохлось, она убежала, всхлипывая и обливаясь слезами, наверх и громко, как из пушки, захлопнула за собой дверь спальни. Пойманный и наказанный преступник, я тенью проскользнул в дровяной сарай и тяжело задумался: как жить дальше? Стать бродягой, на манер оборванных, жутковатых типов, которые чуть не каждый день стучатся в нашу заднюю дверь с просьбой подать хоть что-нибудь? Повеситься? Впоследствии мне не раз случалось чувствовать себя глубоко несчастным – несчастным не на час, а по несколько месяцев кряду, – но я до сих пор могу ощутить полную безысходность отчаяния, охватившего меня тогда, если не пожалею себя и оживлю его в памяти.

Когда отец и Вилли пришли домой, ужина на столе не было, а мама так и сидела в спальне. Отец безоговорочно принял ее сторону, а Вилли пустился рассуждать, каким невыносимым стал я в последнее время и что хорошая порка еще самое малое, что я заслужил. В конце концов мать согласилась спуститься вниз, если я попрошу прощения. Я должен был встать на колени и повторять формулу, на ходу сочиненную отцом, – клятвенно обещать, что я всегда буду любить свою мать, которой я обязан бесценным даром жизни, а затем сказать, что я молю ее – а заодно и Господа – простить меня, полностью понимая, что недостоин такого милосердия.

Я поднялся с колен очищенный и просветленный и почти не ел за ужином, как то и подобает преступнику. Когда пришло время ложиться спать, мать подозвала меня, чмокнула в лоб и прошептала: «Я знаю, что мой дорогой, любимый мальчик никогда больше не доставит мне горестных минут».

Лежа в постели, я долго обдумывал ее слова. Как совместить это воплощение материнства с яростно визжащей фурией, которая гоняла меня хлыстом по кухне, била меня, пока до отвала не насытилась – чем? Отмщением? Или чем? Лет через двадцать после этих событий, когда я впервые читал Фрейда, мне показалось на минуту, что я знаю. Теперь я в этом далеко не уверен. Но тогда я осознал, что в этом странном мире, где скрытого больше, чем проявленного, нельзя доверять никому – даже матери.

8

Парадоксальным образом этот эпизод не убил во мне увлеченность магией, а еще больше укрепил. Мне было необходимо стать хозяином положения в некоей области, недоступной для моих родителей, особенно для матери. Конечно же, я был тогда далек от подобных рациональных формулировок, иногда я страстно хотел, чтобы мать меня любила, и ненавидел себя за то, что причиняю ей огорчения, но ничуть не реже приходило осознание, что ее любовь обходится мне непропорционально дорого, а ее представления о том, что такое «хороший сын», предельно примитивны. Короче говоря, я продолжал тайно осваивать ремесло мага.

Теперь настал черед карточных фокусов. С картами больших проблем не возникало – мои родители страстно увлекались юкером, так что в доме имелось несколько колод, и я всегда мог утащить на вечер самую старую из них – слишком истрепанную и засаленную, чтобы использовать ее в игре, но слишком целую, чтобы так вот взять да выбросить, – а потом, также поти-

хоньку, подсунуть ее на прежнее место, в дальний угол буфетного ящика. Ограниченный одной колодой, я не мог подступиться к фокусам, для которых требовались две одинаковые карты, однако мне удалось вполне прилично освоить кое-что из этих избитых трюков, где фокусник тщательно тасует колоду, а затем находит карту, предварительно задуманную зрителем; в моем репертуаре был даже самый настоящий перл с использованием тонкой шелковинки – я равнодушно стоял в стороне, а карта сама выпрыгивала из колоды.

Чтобы беспристрастно судить, насколько ловко получаются у меня эти трюки, нужна была аудитория, и я нашел ее в лице Пола Демпстера. Полу было четыре года, мне – четырнадцать, я брался иногда присмотреть за ним часок-другой, вел его в библиотеку и развлекал своими фокусами. Из Пола получилась вполне приличная аудитория – если его попросить сидеть тихо, он сидел тихо, охотно выбирал карту из колоды, и если я протягивал ему плотно сжатую колоду, из которой чуть-чуть высывалась одна карта, он непременно выбирал именно ее. Были у Пола и недостатки – он не умел ни читать, ни считать, а потому не мог в полной мере оценить творимое у него на глазах чудо, когда после долгого, тщательного перемешивания карт я торжественно предъявлял ему выбранную. Но я все равно понимал, что сумел облапошить Пола, и сам сообщал ему эту новость. Если разобраться, именно там, в этой крошечной библиотеке, впервые проявились мои педагогические способности, и так как мне очень нравилось читать лекции, я научил Пола гораздо большему, чем можно было бы предположить.

Вскоре Пол захотел тоже включиться в мою игру, и мне было совсем не просто объяснить ему, что я не играю, а знакомлю его со сложной, увлекательной наукой. Мне пришлось разработать систему поощрений; Пол любил всякие истории, поэтому после демонстрации фокусов я читал ему книгу.

Как наудачу, нам с ним нравилась одна и та же книга; этот симпатичный томик, найденный мною во все том же запертом шкафу, принадлежал перу Уильяма Кантона и назывался «Детская книга про святых». Начиналась она с разговора между маленькой девочкой и ее отцом, каковой разговор казался мне в то время эталоном элегантной прозы. Я до сих пор помню отдельные куски этого вступления, потому что многократно перечитывал их Полу – даже тогда, когда он и сам уже помнил все наизусть (пока ребенок не умеет читать, его память гораздо острее). Вот один из фрагментов, я уверен в его дословной точности, хотя с того времени, когда я читал эту книгу, прошло уже добрых полвека:

Иногда эти легенды приводили нас на опасную грань религиозных противоречий и непостижимых тайн, однако подобно кротким дикарям, подвешивающим над рекой с дерева на дерево цветочные гирлянды, дабы тем умиловить духов воды, У. В. (У. В. – это инициалы той самой девочки) умела навести над любой из наших пропастей мост из цветов. «Наш разум, – заявляла она, – есть ничто рядом с Божьим, и пусть у взрослых людей больше разума, чем у детей, все равно даже разум всех взрослых людей мира, собранный воедино, ничтожно мал в сравнении с разумом Господа. Для него все мы – не более чем малые дети, и не в наших силах постичь Его». Смысл легенды, поучающей нас, что, хотя Бог всегда откликается на наши молитвы, Он не всегда откликается так, как мы бы хотели, но другим, премного лучшим способом, представлялся ей прозрачным и очевидным. «Да, – говорила она, – ведь Он наш старший, любимый Отец». Все касающееся Господа мгновенно захватывало ее внимание, она нередко мечтала, чтобы Он пришел снова. «Тогда, – бедное, вконец запутавшееся создание, чьи затруднения даже трудно себе представить, – мы будем во всем уверены. Миссис Кэтрин рассказывает нам из книг, Он же рассказал бы нам из Его памяти. Теперь люди не будут

с Ним так жестоки. Королева Виктория не позволит Его распять, никому не позволит».

В библиотеке висел портрет королевы Виктории; взглянув на эту женщину, вы сразу понимали, что находиться под ее покровительством – огромная, редкостная удача.

Это продолжалось несколько месяцев, я использовал Пола в качестве пробной аудитории и расплачивался с ним рассказами про святую Доротею, святого Франциска, а также давал ему посмотреть симпатичные иллюстрации, исполненные Хитом Робинсоном.

После карт я взялся за монеты, и это оказалось несравненно труднее. Начать с того, что у меня имелось очень мало монет, и когда в книге говорилось: «Возьмите шесть монет по полкроны и спрячьте их в ладони», – я мог не читать дальше, потому что у меня не было ни монет по полкроны, ни чего-нибудь хоть отдаленно на них похожего. У меня была одна симпатичная кругляшка – латунная медаль, присланная отцу в рекламных целях фирмой, производившей лино типы, и совершенно ему не нужная; медаль была размером с серебряный доллар, и я начал тренироваться на ней. Но, Господи, до чего же неуклюжими оказались мои руки!

Сейчас и не припомнить, сколько долгих недель пытался я отработать трюк, именуемый «Паук». Для исполнения этого элемента, входящего во многие фокусы, вы зажимаете монету между указательным пальцем и мизинцем, а затем вращаете ее, пропуская два средних пальца то перед ней, то за; действуя таким образом, вы можете продемонстрировать зрителям обе стороны ладони, не обнаруживая присутствия монеты. Но вы попробуйте, попробуйте это сделать! Попробуйте крутить монету в красных корявых шотландских пальцах, задубевших от прополки и сгребания снега, и я посмотрю, что у вас получится! Ясное дело, Полу потребовалось узнать, чем это я там занимаюсь, и я ему рассказал, очередной раз продемонстрировав свои педагогические способности.

– Это что, вот так надо? – спросил он и тут же, с первой попытки, безукоризненно выполнил трюк.

Я был ошеломлен, однако постарался проглотить обиду и унижение.

– Да, примерно так, – кивнул я; мне потребовалось несколько дней, чтобы осознать, что с этого момента я стал наставником Пола. Для его пальцев не было ничего невозможного. Тасуя колоду, Пол никогда не ронял карты (в отличие от меня), с латунной же медалью он творил настоящие чудеса. Он не мог полностью спрятать медаль в своих маленьких ладошках, однако было видно, что медаль эта проделывает нечто крайне интересное; он мог заставить ее ходить по тыльной стороне своей руки, передавая латунный диск от пальцев к пальцам с ловкостью, заставлявшей меня разинуть рот.

Завидовать Полу не имело смысла, просто у него были руки, а у меня их не было; иногда мне очень хотелось зашибить его, просто чтобы избавить мир от этого скороспелого клеща, однако я не мог не признать про себя его превосходство. Самое потрясающее обстоятельство заключалось в том, что он относился ко мне с почтением, как к своему учителю, ведь я умел читать и говорил ему, что нужно делать; своя же собственная способность проделывать все эти манипуляции не производила на него никакого впечатления. Он светился благодарностью, я же был в таком возрасте, когда благодарность и восхищение – даже со стороны такого существа, как Пол, – очень греют сердце.

Если выражение «такое существо, как Пол» показалось вам жестоким, позвольте мне объясниться поподробнее. Странновато он выглядел, этот человечек, – непропорционально большая голова на хрупком тельце. Одежки все больше с чужого плеча, подарки сердобольных прихожанок преподобного Демпстера, а так как миссис Демпстер была совершенной неумехой, выглядели они страшненько: незашитые дырки, обтрепанные края, оторванные пуговицы. Курчавые темно-рыжие волосы Пола свисали до самых плеч, потому что миссис Демпстер всеми силами отодвигала тот ужасный день, когда ее сыну придется идти к Майрону Папплу на скальпирование. По контрасту с бледной как бумага кожей маленького личика его большие, широко

посаженные глаза казались почти черными. Эта бледность очень тревожила мою мать, поэтому она время от времени брала Пола на свое попечение и начинала гнать у него глистов – теперешние дети как-то обходятся без этого унижения. Пол не пользовался среди наших сограждан особой любовью, свою неприязнь к его матери (такая неприязнь регулярно сопутствует всем необычным, хронически невезучим людям) они бессознательно переносили и на ни в чем не повинного сына.

9

Моя же неприязнь была безраздельно отдана его отцу. Кое-кто из его паствы поговаривал, что от преподобного Амасы Демпстера веет какой-то жутью, уж очень он ушел во все это божественное. У нас в семье тоже молились, но только как? Почтительное выражение благодарности Господу перед завтраком, обедом и ужином – вот и все, а что еще надо? Демпстер же мог брякнуться на колени в любое время, в любом месте, и молился он с жаром почти непристойным. Если мне случалось оказаться поблизости (рядовая ситуация, ведь я бывал у Демпстеров чуть не каждый день), он подзывал меня взмахом руки, тыкал пальцем в пол рядом с собой, и я вставал на колени и стоял, пока он не закончит молитву, а это могло быть и десять минут, и пятнадцать. Иногда он упоминал и меня, я был «пришлец в их доме», и я знал, что он докладывает Богу, как славно я потрудился с косой или с колуном, но потом добавлялась такая маленькая шпилька, он просил Бога очистить мои уста от словес суетных, то бишь от вполне невинных шуток, которыми я пытался хоть чуть-чуть развеселить его жену. А под конец он неизменно просил у Господа сил, чтобы нести свой тяжкий крест, и я понимал, что он имеет в виду миссис Демпстер, и она тоже понимала.

Кроме этих концовок, ей не в чем было его упрекнуть. Амаса относился к жене с бесконечным терпением и, насколько позволял его душевный склад, с любовью. Только если до рождения Пола он любил ее как свет своей души, то теперь вроде как из принципа. Не думаю, что он сознательно намекал Господу: мол, обрати внимание, как кротко и безропотно переношу я все свои невзгоды, – однако его молитвы производили на меня именно такое впечатление. Бедняга не мог похвастаться ни особым умом, ни красноречием, а потому нередко выказывал свои чувства в словах значительно яснее, чем ему хотелось бы.

А чувствовать он умел, тут уж не возникало никаких сомнений. Думаю, именно это завоевало ему признание среди баптистов, которые ставят чувство очень высоко – значительно выше, чем наши пресвитериане, изначально боявшиеся чувства и попытавшиеся заменить его интеллектом. Я испытал на себе всю силу этого чувства в тот ужасный день, когда Демпстер сказал мне:

– Данни, проводи меня в церковь. Я хочу с тобой поговорить.

В полной растерянности, что бы все это значило, я поплелся следом за ним в баптистскую церковь; когда мы оказались в его крошечном кабинете, располагавшемся рядом с крестильной купелью, он опустился на колени, попросил Господа помочь ему быть справедливым, но не чрезмерно суровым, а затем взялся за меня.

Я привнес порчу и разложение в невинный мир детства. Я соблазнял одного из малых сих. Я стал – неумышленно, как он надеется, – орудием, посредством которого враг рода человеческого замарал своей мерзопакостной слизью чистую детскую душу.

Я, конечно же, перепугался. К западу от нашего поселка был старый, заросший деревьями щебеночный карьер, я знал, что некоторые ребята и девочки изредка навдываются туда, чтобы пообщаться. Говорили даже, что одна из девочек, Мейбл Хейингтон, переходила все границы много раз и с разными мальчиками. Но я-то не принадлежал к этой компании: с одной стороны, боялся, а вдруг застукают, с другой же – отдадим должное мне, малолетнему, – я был достаточно разборчив, чтобы не интересоваться этой прыщавой потаскушкой Хейингтон, да и

вообще не испытывал особой склонности к этим потным, неопрятным развлечениям, предпочитая молча обожать Леолу Крукшанк. Однако, когда затрагивается половой вопрос, ни один мальчик не может считать себя совершенно безгрешным; скрываемые от всех фантазии, не говоря уж о полуосознанных действиях, уличают его в собственных глазах. Я решил, что кто-то назвал мое имя, чтобы прикрыть себя или кого-нибудь еще.

Я ошибся. По завершении жуткого в своей таинственности вступления выяснилось, что преподобный Демпстер ставит мне в вину соvrащение Пола игральными картами; я не только вложил ему в руки эти «сатанинские картинки» (выражение Демпстера), но и – что много хуже – обучил невинного ребенка мошенническим приемам, какими пользуются поездные шулеры, а заодно и обманным трюкам с монетами. Этим самым утром на столе лежали три цента сдачи, оставленные булочником, так Пол взял их и заставил исчезнуть! Конечно же, он их вернул – разложение не успело еще окончательно укорениться, – а после порки и долгих молитв рассказал, как и чему я его учил, в том числе и про карты.

Но худшее приберегалось на закуску. Папизм! Я рассказывал Полу про святых, и если мне еще не известно, что почитание святых является одним из самых омерзительных суеверий Вавилонской Блудницы, он переговорит с пресвитерианским священником, преподобным Эндрю Боуьером, пусть доведет это до моего ума. Не в силах отличить истину от лжи, Пол взахлеб нарасказывал святотатственную белиберду про кого-то там, кто всю свою жизнь провел в молитвах на столбе высотой в сорок футов; и про святого Франциска, который видел живого Христа на Кресте, и про святую Марию Ангелов, и многое еще в подобном роде, отчего у него (у Демпстера) кровь застывала в жилах. Ну и как же мы с этим поступим? Приму я более чем заслуженную мною порку от него или ему придется рассказать все это моим родителям, чтобы те сами исполнили свой христианский и родительский долг?

В это время мне было уже пятнадцать лет, и я решил ни в коем случае не принимать порки от него, ну а если родители начнут меня бить, я убегу из дому и стану бродягой. Одним словом, я сказал: ладно, рассказывайте родителям.

Это заметно смутило Демпстера, за свою достаточно долгую службу священником он успел усвоить, что жаловаться родителям на их детей – дело довольно неблагодарное. Я набрался наглости и сказал, что, может, он лучше осуществит свою первоначальную угрозу и переговорит с мистером Боуьером? Это был весьма убедительный довод, потому что наш священник был слеплен не из такого теста, чтобы принимать советы от людей вроде Амазы Демпстера; нет сомнений, что потом он покажет мне, где раки зимуют, но предварительно съест чрезмерно увлекшегося баптистского священника с пуговицами и без соли. Бедняга Демпстер! Видя, что битва проиграна, он взял небольшой реванш, отправив меня в изгнание. Моей ноги не будет в их доме, сказал он мне; мне запрещалось разговаривать с кем бы то ни было из его семьи, а что касается Пола, к нему я не должен был приближаться и на пушечный выстрел. В заключение он сказал, что будет за меня молиться.

Я покинул церковь в состоянии ума, весьма странном для дептфордского мальчишки – и вполне заурядном в действительности, как показал мой позднейший жизненный опыт. Мне казалось, что я не сделал ровно ничего плохого, разве что свалил дурака, запамятавав, какой дурной репутацией пользуются карты у баптистов. А что до историй из книжки про святых, это же были просто волшебные сказки на манер «Тысячи и одной ночи»; когда преподобный Эндрю Боуьер призывал нас, своих прихожан, изготoвиться к грядущему Брачному Пиру Агнца, у меня зачастую мелькала мысль, что Библия и «Тысяча и одна ночь» имеют много общего – и совсем не в каком-нибудь глумливом смысле. Меня крайне уязвило, что Демпстер уравнивал искусство фокуса с грязным ремеслом мошенников и карточных шулеров, в то время как мне оно казалось волшебным миром чудес, благородным, никому не приносящим вреда расширением пределов обыденной жизни. Блестящий, пленительный Париж моих смутных видений, Робер-Гуден, вызывающий восторг светского общества своими чудесами, –

и все это смешал с грязью жалкий дептфордский священник, совершенно невежественный в подобных вопросах и ревниво ненавидящий все не сопоставимое с его жизнью, жизнью на пять с половиной сотен в год. Я стремился к лучшей жизни – и пал жертвой морального насилия, не смог ничего противопоставить убежденности Демпстера, что он прав, а ведь эта убежденность, дававшая ему власть надо мной, была чисто эмоциональной, не имела под собой никаких разумных оснований. Это было мое первое знакомство с эмоциональной силой общепринятой нравственности.

Вне себя от обиды, я пожелал Амасе Демпстеру плохого. Я знал, что так нельзя делать. Мои родители придерживались мнения, что все суеверия – чушь, плод невежества, однако делали из этого правила несколько исключений. В частности, они говорили, что опасно желать кому-нибудь плохого, такое пожелание обязательно обернется против тебя самого. И все же я пожелал Амасе Демпстеру плохого, я попросил кого-то – некоего Бога, который выслушает и поймет меня, – чтобы Демпстер горько пожалел, что разговаривал со мной подобным образом.

Он ничего не сказал моим родителям, да и мистеру Боуьеру вроде бы тоже. Я считал это молчание признаком слабости, как оно, возможно, и было. Теперь я старался не приближаться к Демпстеру, но регулярно видел его издали; раз от раза он все больше походил на человека, сломленного жизненными невзгодами. Он не согнулся, но сильно исхудал и стал окончательно похож на ненормального. Пола я видел только однажды; заметив меня, он с ревом бросился домой, мне было его очень жалко. А вот миссис Демпстер я встречал очень часто, она приобрела страсть к прогулкам и визитам и часами бродила от дома к дому – «таскалась», как выражались многие женщины, – навязывая хозяйкам пучки вялого ревеня, или подгнивший салат, или еще какую продукцию своего огорода (без моих рук огород Демпстеров пришел в полное запустение и ничего в нем толком не росло). Однако миссис Демпстер все время хотела кому-нибудь что-нибудь подарить и очень обижалась, когда соседки отвергали эти подношения. С ее лица не исчезало приветливое, но до ужаса не дептфордское выражение; она бродила бесцельно, куда глаза глядят, и порою умудрялась посетить какой-нибудь дом трижды за одно утро – к вящей досаде хозяйки, занятой на кухне, или стиркой, или еще чем.

Я помню, как вела себя в подобных случаях моя мать. Никудышная актриса, она все-таки умудрялась изобразить, как она рада неожиданному подарку и непременно навязывала дарительнице что-нибудь взамен, по преимуществу что-нибудь большое и нескорпортящееся. Она всегда помнила, что приносила миссис Демпстер в прошлый раз, и рассыпалась в благодарностях, говоря, как удачно это пригодилось, хотя обычно все тут же отправлялось на помойку.

– Эта бедняжка так любит делать подарки, – говорила она отцу, – и было бы просто нечестно ее обижать. Очень жаль, что люди, которым действительно есть что отдать, не берут с нее пример.

Я избегал непосредственных встреч с миссис Демпстер, потому что она каждый раз говорила: «Данстэбл Рамзи, да ты ведь уже почти взрослый мужчина. Почему ты к нам не заходишь? Пол по тебе скучает, он все время так говорит».

Она то ли забыла, то ли никогда и не знала, что Амоса Демпстер отказал мне от дома. Каждый раз, когда мне встречалась миссис Демпстер, я ощущал угрызения совести и неясную тревогу за нее. Ее мужа я не жалел ни вот столько.

10

Блуждания миссис Демпстер закончились 24 октября 1913 года, в пятницу. Было уже почти десять вечера, мы с отцом читали, расположившись у печки, мать шила (что-то детское для благотворительного базара в пользу миссионеров), а Вилли был на репетиции молодежного оркестра, организованного одним местным энтузиастом; Вилли играл на корнете и обхаживал первую флейту, некую Аду Блейк. Неожиданно постучали в дверь; отец пошел открывать и

после недолгого, не слышного нам разговора попросил поздних визитеров зайти и подождать, пока он натянет сапоги. Визитеров было трое: Джим Уоррен, наш поселковый полицейский на полставки, а также Джордж и Гарнет Харперы, известные любители грубых розыгрышей, только сегодня они выглядели на редкость серьезно.

– Исчезла Мэри Демпстер, – объяснил нам отец. – Джим организует поиски.

– Ага, – сказал полицейский, – после ужина ее не видели. Преподобный пришел домой в девять, а ее нет. В городе уже все осмотрели, теперь пойдем проверим карьер. Если и там нет, будем искать в реке.

– Ты тоже сходи с отцом, – сказала мне мать. – А я пойду к Демпстерам, присмотрю за Полом, ну и чтоб все было готово, когда вы приведете ее домой.

В этих фразах было много подтекста. Во-первых, мать признавала меня взрослым мужчиной, которому можно доверить серьезное дело. И второе – значит, она знала, что я волнуюсь за Демпстеров не меньше ее самой. Интересно, что за все эти месяцы никто меня не спросил, почему я перестал им помогать; скорее всего, родители знали, что Амос Демпстер отказал мне от дома, и списали это на счет его идиотской, все возрастающей гордыни, этакое демонстративного «сам справлюсь». Но если миссис Демпстер пропала в ночи, все дневные соображения шли побоку. Опыт первопоселенцев не был еще забыт, и наши сограждане умели отличать серьезную ситуацию от всяких пустяков.

Я сломя голову бросился за фонариком, отец недавно купил машину – весьма экстравагантный поступок для тогдашнего Дептфорда, – и фонарик постоянно хранился в инструментальном ящике, прикрепленном к подножке, на случай если ночь застигнет нас со спущенной шиной.

Мы сразу же направились к карьере, где уже собралась большая группа мужчин, человек десять-двенадцать. Я был удивлен, увидев среди них мистера Махаффи, мирового судью. Так как мистер Махаффи и полицейский были единственными нашими стражами правопорядка, их совместное присутствие свидетельствовало о крайней тревожности ситуации.

Щебеночный карьер граничил с поселком, не позволяя ему расширяться на запад, что вызывало в поселковом совете регулярные всплески негодования. Однако железнодорожная компания, которой принадлежал карьер, держалась за него как за источник щебенки, необходимой для ремонта дорожного полотна; добытую здесь щебенку грузили на платформы и развозили по линии и в одну, и в другую сторону. Не знаю уж точно, насколько большим был этот карьер, большой – и все, а предубеждение делало его еще больше. Добыча велась нерегулярно, бывали перерывы по несколько лет кряду; карьер близко примыкал к реке, просачивающаяся вода скапливалась на его дне большими лужами, его склоны заросли колючим кустарником, сумахом, козьей ивой и манитобским кленом, а также золотарником и прочими ни на что не годными сорняками.

Мамаши ненавидели карьер, потому что маленькие дети регулярно подворачивали там ноги, или рвали одежду о кусты, или еще что, а большие дети регулярно шастали туда на свидания с Мейбл Хейингтон и ей подобными. А главное, это место служило прибежищем для бродяг, путешествовавших на сцепках товарных поездов. Среди них встречались и здоровенные молодые парни, и ветхие старики (возможно, они только казались стариками), все они щеголяли в ободранных шинелях или пальто, подпоясанных ремнем или веревкой, и в ни на что уже не похожих шапках, от них за версту разило грязными ногами, потом, мочой и экскрементами, – этот богатый аромат мог бы свалить с ног и козла. Они неумеренно употребляли кулинарные ароматизирующие экстракты, аптечные настойки и притирания – в общем, любые жидкости с высоким содержанием спирта. Они приходили к задней двери и просили что-нибудь поесть. На их лицах стояло оцепенелое, ошеломленное выражение, характерное для людей, потребляющих слишком много свежего воздуха и слишком мало пищи. Как правило, им давали поесть. Как правило, их боялись, считая людьми, способными на все.

Моя постоянная манера находить мистические обстоятельства, определяющие, как мне кажется, течение наших вроде бы заурядных жизней, вызывает у кого-то одобрение, у кого-то насмешку. Одну из причин, сформировавших у меня такой склад ума, следует искать в нашем карьере, в его неоспоримом сходстве с протестантским адом. Я был, вероятно, самым завороженным слушателем на проповеди преподобного Эндрю Боуёра, когда он рассказывал о Геенне, жуткой бесплодной долине за стенами Иерусалима, где прозябали отверженные; мерцающие огоньки их костров, увиденные с городских стен, легко могли породить идею вечного адского пламени. Преподобный Боуёр любил ошарашить свою аудиторию, потому, наверное, он и сказал, что наш щебеночный карьер во многом похож на Геенну. Мои родители считали, что это уж он слишком загнул, но я не видел никаких причин, почему бы преисподняя не имела на земле вроде как филиалов, вполне видимых и осязаемых (в дальнейшей своей жизни я встречал такие филиалы не раз и не два).

Под руководством Джима Уоррена и мистера Махаффи было решено, что все мы, числом пятнадцать, спустимся в карьер, растянемся цепочкой с интервалами по двадцать-тридцать футов и прочедем это поганое место из конца в конец. Наткнувшийся на что-либо подозрительное оповестит остальных о своей находке криком. В процессе поисков мы производили уйму шума и треска; скорее всего, наши мужчины сознательно или бессознательно хотели, чтобы бродяги знали, что мы идем, и вовремя убрались с пути, перспектива застать врасплох скопище бродяг – такие временные поселения были известны в поселке под устрашающим названием «джунгли» – вряд ли кому улыбалась. Мы видели только два огонька в дальнем конце карьера, но это совсем не значило, что где-нибудь в темноте не таятся бродяги, не захотевшие по той или иной причине развести костер.

Пробираясь по дну карьера, я знал, что тридцатью футами левее идет мой отец, а правее – здоровенный парень по имени Эд Хейни, но все равно чувствовал себя неуютно и одиноко, тем более что луна была совсем на ущербе и едва-едва светила. Я боялся, сам не зная, чего я боюсь, а это худший из видов страха. Когда мы прошли уже с четверть мили, впереди показалась небольшая купа ракиты. Я собирался ее обогнуть, но затем услышал, что в зарослях что-то шевелится, и – нет, не закричал, но издал какой-то сдавленный звук. В то же мгновение рядом со мной оказался отец; он пошарил по кустам тусклым лучом фонарика, и вдруг мы увидели мужчину (явного бродягу) и женщину в процессе совокупления. Бродяга откатился в сторону и в ужасе уставился на нас; женщина – это была миссис Демпстер – осталась на месте.

Хейни громко крикнул, и тут же вокруг собралась вся наша поисковая партия; Джим Уоррен направил на бродягу револьвер и приказал ему поднять руки вверх. После того как он безуспешно повторил эти слова два или три раза, прозвучал голос миссис Демпстер.

– Говорите с ним погромче, – сказала она. – Он очень плохо слышит.

Мы не знали, куда девать глаза, – миссис Демпстер одергивала свои юбки, однако продолжала лежать все в той же позе. Тут рядом со мной оказался преподобный Амос Демпстер; до этого я его не замечал, хотя он наверняка участвовал в поисках. Демпстер нагнулся, протянул своей жене руку и помог ей подняться, во всем его поведении чувствовалось величайшее достоинство и та же любовь, то же стремление защитить, которое я видел в ту ночь, когда родился Пол. И все же он спросил, не смог не спросить:

– Мэри, почему ты это сделала?

Она серьезно взглянула ему в глаза и дала ответ, ставший в Демпфорде знаменитым:

– Он такой вежливый, Амоса. И ему этого очень хотелось.

Демпстер взял ее под руку и направился домой, словно они возвращались с самой обычной прогулки. По указанию мистера Махаффи Джим Уоррен повел бродягу в камеру, все остальные молча разошлись.

11

Рано утром в субботу Демпстер сообщил мистеру Махаффи, что не станет предъявлять никаких обвинений и не придет на суд, буде таковой все-таки состоится; после совещания с моим отцом и другими разумными людьми мировой судья приказал Джиму Уоррену вывести бродягу за пределы поселка и сказать, чтобы впредь и духа его здесь не было.

Все понимали, что настоящий суд состоится в воскресенье. Всю субботу поселок гудел, как встревоженный улей, а во время воскресной утренней службы каждый, кто не был баптистом, думал об одном: как там сейчас у них? Преподобный Эндрю Боулер помолился за «всех, страдающих душой, а особенно за членов известной всем нам семьи, пребывающих сейчас в тяжелейших мучениях»; нечто подобное было сказано и в англиканской церкви, и в методистской. И только у католиков патер Риган категорически заявил с кафедры, что наш щебеночный карьер представляет собой не только позор, но и прямую опасность и что железнодорожная компания должна бы давно привести его в порядок, а лучше – закрыть. Но мы-то прекрасно понимали, что это не по сути дела. Миссис Демпстер дала свое согласие, вот в чем была суть. И если она была не совсем в себе – как сильно должна свихнуться женщина, чтобы дело дошло до такого? Несколько искателей истины остановили доктора Маккосланда на выходе из церкви, и он сказал им, что такой характер поведения указывает на дегенерацию мозга, скорее всего прогрессирующую.

Вскоре мы узнали, как обстоят дела у баптистов. Утром Демпстер занял свое место за кафедрой и после недолгой беззвучной молитвы сообщил своим прихожанам, что некие серьезные, требующие много времени и внимания заботы побуждают его сложить с себя обязанности священника. Затем он попросил всех присутствующих молиться за него и удалился в свою каморку. Один из влиятельных прихожан, пекарь, взял службу в свои руки и превратил ее в собрание. Несколько мужчин, в том числе и пекарь, хотели попросить священника, чтобы тот немного повременил, однако большинство было против, особенно женщины. Собственно говоря, женщины молчали, они успели высказаться до церкви, а их мужья достаточно высоко ценили семейный мир. В конце концов пекарь и еще двое мужчин были откомандированы к священнику с сообщением, что его отставка принята. Демпстер покинул церковь, имея в активе сумасшедшую, опозоренную жену, слабого здоровьем ребенка, шесть долларов наличными – и ровно никаких перспектив. Некоторые из прихожан, может, и хотели бы ему помочь, но страшились гнева своих благоверных.

В нашем доме разгорелась жуткая ссора – тем более жуткая, что это был первый на моей памяти случай, когда родители выказывали свои разногласия в моем или Вилли присутствии; в разговорах, которые я подслушивал при посредстве печной трубы, они не всегда соглашались друг с другом, но никогда не доходили до ссоры. Отец обвинял мать в недостатке милосердия и слышал в ответ, что, имея на своих руках двоих сыновей, она просто *обязана* защищать нормы приличия и добропорядочности. Вскоре суть ссоры отошла несколько в сторону, и родители перешли на личности. Мать сказала, что она никогда бы не поверила, что ее муж способен с пеной на губах защищать разврат и распущенность, на что отец ответил, что он даже не подозревал в ней этой жестокости (поговорил бы со мной, я бы ему кое-что рассказал). За воскресным обедом битва продолжилась и достигла такого накала, что в конце концов Вилли, абсолютно не склонный к демонстрациям, швырнув салфетку на пол, воскликнул: «Ох господи!» – и выскочил из-за стола. Я не решился последовать его примеру и оцепенело наблюдал устрашающее развитие событий.

Стоит ли говорить, что победа досталась матери. Если бы отец не капитулировал, ему пришлось бы жить (возможно, до конца своих дней) бок о бок с негодующей женской добродетелью. Но я не думаю, чтобы мать когда-нибудь полностью оставила подозрение, что его

моральные устои не настолько прочны, как ей когда-то казалось. Прегрешение миссис Демпстер относилось к такой области, где граница между добром и злом означена абсолютно четко, без всяких оттенков и полутонов. А уж названная ею причина...

Это обстоятельство костью застряло в горле каждой добропорядочной дептфордской женщины: изнасиловать могут кого угодно, но ведь миссис Демпстер не была изнасилована, нет, она уступила, потому что мужчина ее захотел. Эта тема не подходила для свободного обсуждения даже в обществе самых близких людей, однако и без слов было ясно: только начини женщины уступать по причинам такого рода, браку, да и обществу в целом, придет быстрый конец. А тот, кто высказывается в пользу миссис Демпстер, не иначе как стоит за свободную любовь. Ну и, конечно же, он понимает половые сношения как удовольствие, что ставит его на одну доску с распущенными типами вроде Сеса Ательстана.

Сесил Ательстан – с детства известный поселку как Сес – был паршивой овцой нашего правящего семейства. Жирный, толстобрюхий пьяница, он просиживал все погожие дни на стуле у входа в бар гостиницы «Дом Текумзе», перебираясь внутрь бара, когда погода портилась. Раз в месяц он получал свой чек и тут же на день-другой уезжал за границу, в Детройт, где, если верить его словам, он был любимцем и душой общества во всех публичных домах. Грязный сквернослов и ничтожество, Сес обладал, однако, достаточно богатым и разнообразным жизненным опытом, что в сочетании с природным остроумием позволяло ему держать в благоговении небольшую группку местных бездельников, а его шутки, иногда и вправду забавные, широко повторялись даже людьми, относившимися к нему с неодобрением.

Ответ миссис Демпстер был для человека, подобного Сесу, просто подарком. «Эй, – кричал он через улицу кому-нибудь из своих приятелей, – как у тебя сегодня в смысле вежливости? Лично я чувствую себя сегодня таким охрененно вежливым, что готов хоть сию секунду чесать в Детройт – или поближе, к этой, сам знаешь кому!» А если по другой стороне улицы шла какая-нибудь уважаемая женщина, он вполне мог пропеть, негромко, но все же разборчиво: «Мне хо-чет-ся! Эй, Гора, мне так хо-чет-ся!» Станным образом поведение этого шута горохового еще ярче оттеняло чудовищность слов, сказанных миссис Демпстер, ничуть не снижая в глазах поселка образ самого Сеса Ательстана – возможно, потому, что снижать было некуда. Двое-трое ребят паскудно выпрашивали, что же такое видел я в шебеночном карьере, и чтобы со всеми анатомическими подробностями. Ну эти-то у меня быстро заткнулись, а что я мог поделаться с Сесом? Именно Сес со своей компанией да Харперы-сыновья (уж эти-то могли бы быть поумнее) организовали кошачий концерт, когда Демпстеры переезжали. Амаза Демпстер освободил баптистский парсонаж почти сразу после отставки, во вторник; домик, куда он перевез свою семью, стоял на ведущей к школе дороге. Вся мебель в парсонаже принадлежала приходу, так что Демпстерам и перевозить-то было почти нечего, однако некие сострадательные люди собрали для их нового жилища кое-какую мебель, стараясь по мере возможностей не афишировать свое участие в этой затее. (Я знаю, что отец тоже дал сколько-то денег, и тоже исподтишка.)

Хулиганы вычернили себе лица сажей и ровно в полночь подошли к дому Демпстеров. Добрые полчаса они лупили в кастрюли и дудели в рожки; кто-то бросил на крышу зажженный веник, но, по счастью, ночь была сырая, и ничего такого не случилось. Голос Сеса разносился чуть не на весь поселок: «Выходи, Мэри! Нам очень хочется!» Я был бы рад написать, что хозяин дома вышел на порог и встретил их лицом к лицу, но он не вышел.

Я никогда не видел, чтобы человек так сильно изменился за такое короткое время. Демпстер и прежде отличался поразительной худобой, но тогда в его глазах сверкал огонь; за какие-то две недели он превратился в огородное пугало. Работа у него была; Джордж Олкотт, хозяин лесопилки, предложил ему место табельщика и счетовода с окладом двенадцать долларов в неделю, что было совсем неплохо для такой должности, так что Демпстеры стали даже чуть побогаче, чем прежде, ведь теперь не нужно было обязательно вносить церковную десятину.

Нет, не нищета его сломила, а позор и унижение. Если прежде Демпстер был священником, исполнял свои обязанности со страстью и увлечением, то теперь он стал в своих собственных глазах ничтожеством, к тому же было видно, что он очень боится за свою жену.

Никто не знал, как там они выяснили отношения, однако теперь миссис Демпстер во дворе почти не появлялась, а на улицах поселка – никогда. Говорили, что муж держит ее на привязи, достаточно длинной, чтобы передвигаться по дому, но не позволявшей выйти наружу. Каждое воскресенье Амаса Демпстер брал свою жену под руку и вел в баптистскую церковь; они неизменно сидели на самой задней скамейке и никогда ни с кем не разговаривали. Миссис Демпстер тоже изменилась и выглядела довольно странно; если раньше, говорили люди, она была малость не в себе, то теперь-то уж свихнулась окончательно.

Я знал, что это не так. Несколько недель я молча страдал, слушая пересуды поселковых кумушек, а затем улучил момент, подобрался к дому Демпстеров и заглянул в окно. Миссис Демпстер сидела за столом, уставясь в никуда, но, когда я царапнул стекло, она подняла голову, узнала меня и улыбнулась. Я тут же проскользнул внутрь, и после нескольких минут взаимной неловкости мы начали оживленно беседовать. Миссис Демпстер выглядела чуть странновато, но это было естественным следствием долгого одиночества; она все прекрасно понимала, а у меня хватило здравого смысла не затрагивать никаких больных вопросов. Как вскоре выяснилось, она совершенно не знала, что происходит в мире, да и откуда бы, если газет у них не водилось.

В дальнейшем я бывал там два-три раза в неделю, приносил с собой либо питтстаунскую ежедневную газету, либо наше собственное «Знамя», читал миссис Демпстер заметки, способные, по моему мнению, вызвать у нее интерес, а также держал ее в курсе поселковых сплетен. Пол не играл с другими детьми, а потому тоже присутствовал на этих читках; я развлекал его как уж мог. Узнай о моих визитах Демпстер, все так же считавший, что я дурно влиял на его сына, их пришлось бы прекратить; по счастью, Пол все понимал без слов и ни разу не проговорился отцу.

Я возложил на себя эту опасную обязанность – опасную, ибо первый же человек, заметивший, что я сюда хожу, растрепап бы об этом всему поселку и мне пришлось бы иметь дело с разъяренной матерью, – в надежде хоть немного помочь миссис Демпстер, однако вскоре выяснилось, что это она помогает мне, и очень сильно. Не знаю уж, как это объяснить, но она обладала настоящей мудростью; хотя ей было тогда всего двадцать шесть лет (на десять больше, чем мне), широта ее взглядов и ясность миропонимания казались почти сверхъестественными. Мне как-то не приходят на ум конкретные примеры, способные убедительно пояснить, что именно я имею в виду, к тому же в то, описываемое мною время я не смог бы ясно сформулировать, что же такого особенного в миссис Демпстер, и лишь много позднее понял, чем именно поразила она меня и обогатила. Она была абсолютно лишена страха, ее никогда не мучили дурные предчувствия, ей никогда не казалось, что все, что бы ни случилось, лишь ухудшит положение вещей. После рождения Пола, когда я впервые познакомился с миссис Демпстер, она не была такой, однако теперь, задним числом, я вижу, что некая тенденция уже намечалась. Когда одни и те же предметы вызывали у Амасы Демпстера серьезнейшую озабоченность, а у миссис Демпстер веселый смех, в действительности она смеялась над излишней, непомерной серьезностью мужа, ну а Демпстер, конечно же, толковал ее смех как беспричинное хихиканье тронутой умом особы.

Я отнюдь не хочу сказать, что мировосприятие миссис Демпстер было философичным – скорее уж религиозным; пообщавшись с ней достаточно долгое время, ты неизбежно осознавал, что она всецело религиозна. Я не употребил бы выражение «глубоко религиозна», потому что именно так отзывались люди о ее муже, имея, по всей вероятности, в виду, что Амаса Демпстер навязывал религиозную значимость всему, что он знал или встречал в жизни. С другой стороны, она, сидевшая на привязи в маленьком обветшалом домике, без друзей и знакомых

(если не считать меня), странным образом жила в мире надежды и доверия, не имевшем ничего общего с этой нездоровой, безжизненной, потерявшей связи с действительностью религией. Миссис Демпстер знала, что отвергнута миром, но ничуть не чувствовала себя отверженной, знала, что на ее счет чешут языками все кому не лень, и не чувствовала себя униженной. Она жила своим, внутренним светом; я не мог постичь сути этого света, разве что некое его родство с чудесами, вычитанными мною из книг, хотя уж в нем-то не было ровно ничего книжного. Она казалась гостьей из некоего мира, где все смотрят на вещи подобно ей; казалось, она сожалеет, что Дептфорд ее не понял, однако не держит на него обиды. Проникнув сквозь пелену ее застенчивости, ты обнаруживал вполне здравые, уверенные суждения, но самым поразительным было полное отсутствие у нее страха.

Вот так обстояло дело с лучшей стороной Мэри Демпстер. О беспорядке и полном отсутствии уюта в этом домике я не стану даже говорить, а маленький Пол, предмет нежнейшей материнской любви, производил впечатление совершенно неухоженного ребенка. Так что, возможно, она и была сумасшедшей в чем-то, но только в чем-то; ее лучшая сторона обогатила мою жизнь спокойствием и уверенностью, в которых я столь остро нуждался. Очень скоро я уже не замечал ни пресловутой привязи (своего рода сбруя вокруг талии и через плечи с кольцом на боку, к которому была привязана пеньковая, пропахшая лошадиным потом веревка, позволявшая ей при желании лечь на кровать), ни лохмотьев, служивших ей одеждой, ни моментов – не частых, но все же случавшихся, – когда ее поведение становилось не совсем нормальным. Я воспринимал миссис Демпстер как своего лучшего друга, а наш с ней тайный союз – как стержневой корень, питавший мою жизнь.

И все же при всей нашей близости я и помыслить не мог, чтобы спросить ее про того бродягу. Я старался изгнать из своей памяти кошмарное для меня, тогдашнее, зрелище, открывшееся мне, когда отец включил фонарик, – эти голые ягодички и четыре ноги, расположенные странным образом. Старался – но не мог. Это была для меня первая встреча с той гранью реальной жизни, которую и моя религия, и мое воспитание, и наивно-романтический склад моего ума без малейших колебаний объявляли непристойной. Таким образом, по крайней мере одна сторона Мэри Демпстер лежала вне моего разумения; молодость и нежелание признать, что существует что-либо, чего я не понимаю или не могу понять, заставляли меня называть эту ее сторону безумием.

12

Следующий год прошел для меня суматошно и, если не считать моих визитов к миссис Демпстер, одиноко. Школьные дружки начали дразнить меня всезнайкой, а я, по всегдашней своей поперечности, почел эту кличку за лестную. Порывшись в словаре, я выяснил, что в среде людей образованных и культурных говорят не «всезнайка», а «эрудит», и начал работать над своей эрудицией с тем же энтузиазмом, с каким прежде овладевал навыками фокусника. На этот раз все было гораздо проще, я просто читал чамберсовскую «Энциклопедию» 1888 года издания, имевшуюся в нашей библиотеке. О том, чтобы проштудировать ее всю, от корки до корки, не могло быть и речи, поэтому я читал только статьи, как-то меня зацепившие, а если наткнулся на что-нибудь особо интересное, читал все так или иначе связанное с этим вопросом. Я корпел над энциклопедией с упорством и целеустремленностью, о каких теперь могу только мечтать, и проглотил столько информации, что стал если и не эрудитом, то уж, во всяком случае, заправским занудой.

После той ночи, когда мы искали в карьере пропавшую миссис Демпстер, отец приложил все старания, чтобы подружиться со мной, и я наконец-то узнал его поближе. Отец обладал острым умом и получил хорошее, разве что несколько старомодное образование; он закончил [Дамфрисскую академию](#), а точность, с какой он оперировал всем запасом своих познаний, все-

гда вызывала у меня искреннюю зависть. Раз за разом повторяя, что без знания латыни невозможно писать на хорошем английском, он сумел перебороть во мне обычное для школьников отвращение к языку Овидия.

В наших воскресных прогулках вдоль железнодорожной насыпи регулярно участвовал Сэм Уэст, монтер, чей разум воспарял к проблемам, весьма далеким от проводов и изоляторов. Набожные родители перекормили Сэма Библией, в результате чего он знал наперечет все содержащиеся в ней бессмыслицы и противоречия, знал и с упоением нам пересказывал. Непримирымый противник всех церквей и религий, он поносил их пламенным слогом ветхозаветных пророков. Своей безукоризненной честностью Сэм словно демонстрировал всем рабам поповщины и суеверий, что мораль никак не связана с религией; он навещал службы во всех городских церквях – чтобы мысленно поспорить с проповедником и вдребезги разбить его доводы. Имитируя стиль наших священников, Сэм проявлял недюжинную наблюдательность; особенно хорошо удавался ему преподобный Эндрю Боуер; «О Господи, вложи нам в уста уголь пламенеющий с Твоего алтаря! – выкрикивал он, карикатурно утрируя благородный эдинбургский акцент нашего священника, и добавлял, покатываясь со смеху: – То-то бы он удивился, внемли Господь его молитве!»

Если Сэм надеялся сделать меня атеистом, то все его старания были заранее обречены; я понимал, что такое метафора, и ставил метафоры выше рациональных аргументов. С того времени я встречал многих атеистов, и все они спотыкались на метафоре.

В школе я был сущим наказанием, когда же мой отец возглавил школьный комитет, я стал вести себя с учительницей почти на равных; можно себе представить, как это ее раздражало. Я готов был спорить на любую тему, распространялся по любому поводу и вообще превращал каждый урок из мирного занятия по программе в этакий сократический треп. Скорее всего, я сильно действовал ей на нервы – ученик, под завязку набитый свеженькой, не переваренной еще информацией, очень на такое способен. Позднее я сталкивался в классе с бесчисленными героями, как две капли воды похожими на меня тогдашнего, и каждый раз мысленно извинялся перед несчастной учительницей за свою несносность.

Мои ровесники подрастали. Леола Крукшанк была теперь главной местной красавицей и, по всеобщему мнению, подружкой Перси Бойда Стонтонна. Паучиха Уэбб все еще была самого высокого обо мне мнения, и я милостиво разрешал ей восхищаться мной издалека. Мило Паппл понял наконец, что умение артистически пукать еще не гарантирует успеха в обществе, и научился у коммивояжеров, пользовавшихся услугами его отца, некоторым новым штукам, укрепив тем самым свою репутацию шутника. В те годы самой модной разновидностью юмора стали почему-то пародийные переделки популярных песен; как только разговор в компании зависал, он разряжался чем-нибудь вроде:

О Розмари, лахудра,
Твой нос – сплошная пудра.
Какая вонь в твоём отвислом заде,
Отвратней ты всех в Канаде!

Или, скажем:

Три алые розы
Цветут в моем заду,
В твоём заду поганые мочалки...

Куплетики неизменно были очень короткими, Мило явно рассчитывал, что слушатели покатыются от хохота, не дослушав их до конца, я же, со всегдашним своим занудством, раз за

разом интересовался, а как там дальше, за что он меня тихо – и вполне справедливо – ненавидел. На вечеринках Мило извлекал из своего репертуара шуточки насчет вонючих ног, вызывавшие хохот у всех, кроме меня. Я не смеялся из самой низкой зависти. Дело в том, что мои собственные шутки стали последнее время такими умственными, что над ними не смеялся уже никто, кроме Паучихи Уэбб, да и та их явно не понимала.

Одним из главных событий той весны стало известие, что мамаша небезызвестной Мейбл Хейингтон застучала Перси Бойда Стонтонна прямо на своей дочке. Она проследила, как парочка направляется к стонтонскому сараю, немного подождала, ну и выдала им по первое число. Мелкая, вечно какая-то замызганная, истеричная миссис Хейингтон и сама-то не отличалась особым целомудрием; уже несколько лет она пребывала в сомнительном статусе соломенной вдовы. Ни минуты не медля, эта особа направилась к папаше Стонтону, который только что наладился поспать после обеда, и произнесла пламенную речь; позднее она неоднократно повторяла эту речь на улицах нашего поселка, так что я запомнил ее во всех подробностях. Если он считает, что сынок богатея может безнаказанно обесчестить единственную дочь бедной вдовы, а затем отбросить ее, как ненужную ветошь, она, как бог свят, докажет ему обратное. У нее, как и у любого другого человека, есть свои чувства. Так что же теперь, должна она идти к мистеру Махаффи, чтобы дать делу законный ход, или он пригласит ее сесть, чтобы поговорить начистоту?

Мы так и не узнали, на сколько уж там она его обчистила. Кто-то говорил – на пятьдесят долларов, кто-то – на сто. Миссис Хейингтон упорно скрывала точную сумму. Кое-кто хихикал, что, по справедливости, так называемая честь Мейбл никак не тянет больше чем на двадцать пять центов, что каждую пятницу, когда товарный поезд полчаса отстаивается в тупике около карьера, Мейбл шастает к проводнику и ублажает его прямо на мешках в каком-нибудь вагоне; кроме того, ее благосклонностью пользовались два батрака с фермы, расположенной рядом с индейской резервацией. Но у доктора Стонтонна были деньги, по слухам – огромные деньжищи, потому что он накопил с годами уйму земли и получал весьма приличные доходы, выращивая табак и сахарную свеклу, ставшую за последнее время очень прибыльной сельскохозяйственной культурой. Медицина была для Стонтонна делом сугубо второстепенным, он продолжал ею заниматься не столько для заработка, сколько из соображений престижа. Как бы там ни было, отец Перси был врачом, и заявление миссис Хейингтон, что он не сможет остаться в стороне, если Мейбл забеременеет, зацепило его весьма болезненно.

Для нашего поселка это был самый настоящий скандал в высшем обществе. Некоторые женщины многословно распинались, как им жалко несчастную миссис Стонтон, другие говорили, что она сама же и распустила своего сыночка, слишком уж много ему позволяет. Мужчины в большинстве называли Перси малолетним мерзавцем, зато компания Сеса Ательстана принимала его с распростертыми объятиями. Бен Крукшанк, невысокий жилистый плотник, отловил Перси на улице и сказал, что, если тот хоть раз подойдет к Леоле, он его сделает инвалидом. Леола ходила как в воду опущенная, все говорили, что она сохнет по Перси и простила ему все; это уронило в моих глазах не столько ее, сколько женщин вообще. Кое-кто из наших записных блюстителей (а чаще – блюстительниц) морали припоминал случай с миссис Демпстер, говоря, что уж если священникова жена ведет себя подобным образом, стоит ли удивляться, когда молодежь следует тем же путем. Доктор Стонтон отмалчивался, однако вскоре стало известно, что он решил спровадить проштрафившегося сына в школу-интернат, где мамочка не будет утирать ему сопли. Вот так и случилось, директор, что Перси очутился в Колборнском колледже, чтобы позднее стать одним из самых известных его выпускников, Нашим Боем, и председателем правления.

13

Для большей части мира главным событием осени 1914 года стало начало войны, однако у нас в Дептфорде болезнь моего брата Вилли вызвала интерес ничуть не меньший, если не больший.

Брата периодически прихватывало уже четвертый год. Все началось с несчастного случая в типографии «Знамени», когда он попытался один, без помощи, снять каландры с большой машины, с той, на которой печаталась газета. Джампер Сол отсутствовал по уважительной причине – он был подающим в нашей городской бейсбольной команде. Каландры не то чтобы страшно тяжелые, но очень неудобные, один из них упал на Вилли и сшиб его с ног. Сначала казалось, что все обошлось большой ссадиной на спине, однако со временем у Вилли начались приступы слабости, сопровождавшиеся острой болью. Доктор Маккосланд был бессилен, о рентгене в наших местах еще даже не слыхали, да и обычные теперь диагностические методики были практически неизвестны. Родители пробовали возить Вилли в Питтстаун, к хиропрактику, однако сеансы оказались настолько болезненными, что хиропрактик отказался их продолжать. Однако до осени 1914 года все как-то обходилось, приступы были довольно непродолжительными, так что Вилли просто приходилось полежать несколько дней в постели, на легкой диете и с пачкой книжек про Секстона Блейка – чтоб не скучно было.

На этот раз брата прихватило всерьез – настолько всерьез, что он начинал иногда бредить. Самым же опасным симптомом (в поселке говорили об этом, понижая голос) была длительная задержка мочи, усугублявшая его страдания. Доктор Маккосланд вызвал специалиста из Торонто – случай для нашего поселка редчайший и тревожный, – но и тот не смог предложить ничего существенного, разве что теплые ванны с интервалами в четыре часа. Он посоветовал не спешить с хирургическим вмешательством, ведь в те времена удаление почки считалось очень трудной и опасной операцией.

Как только поселку стало известно, что посоветовал врач из Торонто, образовалась группа добровольцев, готовых оказать нам всю необходимую помощь. А помощь и вправду была не лишней – у нас имелась надувная ванна, и мы поставили ее рядом с кроватью, однако воду нужно было греть на огне и таскать к ванне в ведрах. Как я уже говорил, жители нашего городка отличались добросердечием, а практическая помощь подобного рода была им наиболее близка и понятна: при таком количестве охотных помощников шесть купаний в день были сущей ерундой. Среди добровольцев был даже новый пресвитерианский священник преподобный Дональд Фелпс (сменивший преподобного Эндрю Бойера, который ушел в отставку весной того же 1914 года), а ведь он не успел даже с нами толком познакомиться. Факт еще более поразительный: в составе этой группы был Сес Ательстан, и приходил он к нам неизменно трезвый как стеклышко. Городок решил сделать все возможное, чтобы поставить Вилли на ноги.

От ванн Вилли немного полегчало, однако вздутие, вызванное задержкой мочи, становилось все более заметным. Он пробыл в постели уже свыше двух недель, когда наступила суббота традиционной осенней ярмарки, что вызвало некоторые специфические проблемы. Отец не мог не идти на ярмарку, ведь ему предстояло описать ее в «Знамени»; более того, как председатель школьного совета он должен был судить какие-то там соревнования. Мать и должна была присутствовать на ярмарке, и хотела – женский комитет нашей церкви затеял ужин из разнообразной домашней птицы, а мать славилась как великолепная кухарка и пропагандистка хитроумных блюд. В шесть часов мужчины помогут Вилли выкупаться, но кто будет сидеть с ним до этого времени? Я с радостью предложил свои услуги – посижу, а на ярмарку сбегаю после ужина, когда стемнеет и начнется самое веселье.

С двух до трех я сидел рядом с Вилли и читал, с трех до половины четвертого я смотрел, как он умирает, и пытался хоть что-нибудь сделать. Сделать я мог очень мало. Когда Вилли

покрылся потом и начал вести себя беспокойно, я положил ему на лоб мокрое полотенце. Когда он метался и стонал, я держал его за руки и пытался приободрить какими-то бессмысленными словами. Вскоре Вилли перестал меня слышать, метания сменились судорогами. Он несколько раз вскрикнул – собственно говоря, это был даже не крик, а что-то вроде спазматического хрипа, – а затем быстро, буквально за несколько минут, его тело стало холодным как лед. Я хотел позвать доктора, но боялся оставить Вилли одного. Я приложил ухо к его груди – ни звука. Я попытался нащупать пульс – и не нашупал. Я принес зеркало и поднес его ко рту Вилли – зеркало не затуманилось ни чуть-чуть. Не дышит. Я оттянул ему веко и увидел сплошной белок, глаз закатился до упора. Тут я окончательно осознал, что мой брат умер.

Теперь-то просто говорить, что нужно было мне делать, – я же могу только описать, что я делал тогда в действительности. От ужаса осознания, что Вилли умер – это было, словно наш дом обрушился и погреб меня под обломками, я все еще помню кошмарное ощущение, – я быстро перешел к бунту. Вилли не мог умереть. Этого не может быть. Я с этим не смирюсь. И вот, даже не подумав пригласить доктора (которого я всегда недолюбливал, хотя в нашей семье его уважали), я со всех ног помчался к миссис Демпстер.

Почему? Я не знаю почему. Это не было разумным решением, да и вообще не было «решением». Но я помню, как бежал сквозь жаркий осенний день, помню веселую музыку, доносившуюся с ярмарки. В нашем городке не было дальних концов, так что я добрался до домика Демпстеров минуты за три-четыре. Заперто. Конечно же, Амаса Демпстер повел сына на ярмарку. Ни секунды не медля, я влез в окно и перерезал пути миссис Демпстер, объясняя одновременно, чего я от нее хочу, затем я то ли помог ей выбраться через окно, то ли вытащил ее – все эти лихорадочные действия почти не отложились в моей памяти. Найдись тогда сторонний наблюдатель, он бы немало подивился, глядя, как мы с миссис Демпстер несемся по улицам, держась за руки; помню, она даже подобрала юбки, чтобы легче было бежать, – вещь совершенно невозможная для взрослой женщины, скорее всего она заразилась моими эмоциями.

На время болезни родители поместили Вилли в свою комнату, она была самая большая и удобная. Вбежав туда, я застал брата в том же состоянии, что и оставил, – мертвенно-бледным, холодным и окоченевшим. Миссис Демпстер взглянула на Вилли серьезно, но совсем не горестно, затем она подошла к кровати, опустилась на колени, взяла его за руки и склонила голову в молитве. Я не могу сказать точно, как долго она молилась, но уж никак не меньше десяти минут. Я сам не вставал на колени и не мог молиться. Я просто стоял с разинутым ртом – и надеялся.

В конце концов миссис Демпстер подняла голову и окликнула его. «Вилли», – сказала она тихим, бесконечно добрым и почти радостным голосом. И снова: «Вилли». Я надеялся, чуть не до болезненных судорог. Миссис Демпстер слегка встряхнула его руки, словно стараясь разбудить спящего: «Вилли».

Вилли вздохнул и пошевелил ногами. Я упал в обморок.

Когда я очухался, миссис Демпстер сидела на краешке кровати и что-то весело, непринужденно говорила. Вилли отвечал ей еле слышно, но с явной охотой. Я начал метаться по комнате, смочил полотенце и протер ему лицо, принес питье из апельсинового сока с яичным белком, разрешенное ему в крошечных количествах, стал обмахивать его веером – одним словом, делал все, что могло хоть немного помочь, а главное – что могло выразить мою быющую через край радость. Вскоре Вилли задремал, и мы с миссис Демпстер начали переговариваться шепотом. Случившееся очень ее обрадовало, но, как я теперь понимаю, не слишком удивило. Я болтал без умолку, как идиот.

В тот день время словно изменило свой ход, потому что вскоре – как мне казалось – пришли мужчины, обещавшие помочь в купании Вилли, а значит, было уже около половины шестого. Они поразились, увидев у нас миссис Демпстер, однако, как то нередко бывает,

необычность ситуации удержала присутствующих от бестактностей, так что никто не стал дополнительно подчеркивать свое изумление. Вилли попросил, чтобы миссис Демпстер присутствовала при купании, затем она помогла его вытереть – дело далеко не простое, потому что у него болел буквально каждый кусочек кожи. Когда с этим было покончено – то есть около половины седьмого, – пришли наконец родители, а вместе с ними и Амаса Демпстер. Не знаю уж, какую сцену ожидал я увидеть, скорее всего что-нибудь в библейском духе. Однако Демпстер просто взял жену за руку, как он обычно делал, и увел прочь. Уходя, она на мгновение задержалась и послала Вилли воздушный поцелуй. Прежде мне ни разу не приходилось видеть этого жеста, и он показался мне необыкновенно прекрасным; к моей огромной радости, Вилли тоже послал ей воздушный поцелуй; ни до, ни после я не видел на лице матери такого мрачного выражения, как в тот момент.

После ухода Демпстеров родители поблагодарили мужчин и предложили им перекусить, однако те вежливо отказались и ушли (это был стандартный ритуал, только ночные помощники, приходившие к двум ночи и шести утра, считали себя вправе принять от матери кофе и бутерброды). Затем внизу, в гостиной, я подвергся обработке, может и не столь длительной, но ничуть не менее слабой, чем все то, что мне пришлось потом пережить на войне.

Как вышло, что я не послал за доктором Маккосландом и родителями при первых же признаках опасности? Что толкнуло меня обратиться к этой особе, сбрендившей дегенератке, и привести ее не только в наш дом, но и прямо к постели опасно больного брата? Если вспомнить всю эту мою циничную белиберду, мое всегдашнее высокомерие, неизвестно на чем основанное, не значит ли все это, что и я малость свихнулся? И откуда у меня такие близкие отношения с Мэри Демпстер, в теперешнем-то ее состоянии? А если все это – плоды моего неумеренного чтения, нужно, пожалуй, загрузить меня настоящей работой, может, тогда я выкину из головы всю эту дурь и стану нормальным, как люди.

Говорила, вернее, кричала по преимуществу мать; она исполняла вариации на эти темы, пока меня не начало от них тошнить. Теперь я понимаю, что в значительной степени ее гнев объяснялся чувством вины, она не могла себе простить, что не устояла перед соблазном лишний раз покрасоваться перед подружками из женского комитета, забыла о своем долге находиться рядом с больным сыном. Теперь же она отыгралась за все это на мне, с некоторой помощью отца, который считал себя обязанным полностью ее поддержать, однако делал это с явной неохотой.

Жуткая сцена могла продолжаться бесконечно, пока все мы не рухнули бы от изнеможения, если бы не доктор Маккосланд; он был на выезде, только что вернулся и сразу же пошел проведать Вилли. С доктором в наш дом явилась свойственная ему атмосфера, зябкая, с запахом хлорки и йода; он поднялся на второй этаж и внимательно осмотрел Вилли. А затем приступил к допросу. Он заставил меня описать во всех подробностях все симптомы, проявившиеся у Вилли перед тем, как тот умер. Потому что я твердо настаивал, что Вилли действительно умер. Отсутствие пульса. Отсутствие дыхания.

– Но ведь у него были стиснуты кулаки? – спросил доктор Маккосланд.

Да, сказал я, но разве из этого следует, что Вилли тогда не умер?

– Конечно же не умер, – сказал доктор. – Если бы он тогда умер, я не говорил бы с ним несколько минут назад. Поверь мне, Данни, я все-таки разбираюсь, когда человек умер, а когда нет, – добавил он с добродушной (по замыслу) улыбкой.

Это была сильная судорога, объяснил он родителям, стиснутые кулаки – лишнее тому доказательство. Неискушенный человек далеко не всегда может уловить ослабевшее дыхание и ослабевший пульс. От него веяло уверенностью и здравым смыслом, на следующий день Маккосланд пришел к нам пораньше и сделал Вилли «пункцию», как он это назвал, – воткнул ему в бок толстую пустотелую иглу и откачал кошмарное количество кровавой мочи. Через неделю Вилли был уже на ногах и вроде как в порядке, через четыре месяца он обманул врачей

и записался в канадскую армию, в 1916 году он, один из многих, без вести канул в непролазной грязи под Сент-Элола.

Я как-то даже не уверен, были у Вилли стиснуты кулаки, когда он умер, или нет. Позднее я был свидетелем смерти бесчисленного числа людей, и у значительной части мертвецов, о которых я спотыкался на каждом шагу, которых я отталкивал с дороги в кусты, были стиснуты кулаки, – можно было написать об этом доктору Маккосланду, но я не стал.

Я видел, как Вилли откликнулся на призыв миссис Демпстер и вернулся из мертвых, для меня это есть и всегда будет ее вторым чудом.

14

Потянулись недели, полные боли и разочарования. В глазах своих знакомых я утратил высокое звание эрудита, скатился до положения легковверного дурачка, который искренне поверил, будто опасная психопатка может воскрешать из мертвых. Тут нужно объяснить, что миссис Демпстер считалась в поселке опасной отнюдь не в связи с каким-нибудь ее предполагаемым буйством, наша не в меру пугливая общественность боялась, что, возобновив свои блуждания, она может совратить чьего-нибудь супруга. Считалось самоочевидным, что миссис Демпстер, виновата она в том или нет, постоянно охвачена ненасытным, не знающим ни удержу, ни разбора желанием. Мои тайные к ней визиты породили уйму грязных шуточек, однако самым главным, самым смешным анекдотом была моя упрямая уверенность, что «эта особа» вернула Вилли к жизни.

Люди постарше воспринимали ситуацию серьезнее. Кое-кто склонялся к мысли, что всему виной моя общеизвестная – и нездоровая – страсть к запойному чтению, что я слегка повредился умом и, вполне возможно, нахожусь на грани «воспаления мозга», жуткой болезни, каковая, как считалось, поражает переучившихся школьников и студентов. Двое-трое друзей советовали отцу незамедлительно забрать меня из школы и отправить на годик-другой на ферму, чтобы поработал руками и малость пришел в себя. Доктор Маккосланд улучил минуту для «серьезного разговора» (его собственное выражение) со мной. Суть разговора состояла в следующем: если я не научусь уравнивать свои теоретические познания житейским здравым смыслом, почерпнуть каковой можно ну хотя бы у него самого, мне грозит перспектива стать этаким «с приветом». Если я не сверну со своей теперешней ложной стези, то могу даже стать таким, как Элберт Хаббард (так звали свихнутого, по всеобщему мнению, американца, который считал, что работа может и должна быть радостью).

Преподобный Дональд Фелпс, наш новый священник, задержал меня после службы, чтобы объяснить, насколько это кошунственно – думать, что некий человек, пусть даже самого безукоризненного поведения, может воскресить мертвого. Время чудес, сказал он, осталось далеко в прошлом – к его величайшей, как мне тогда показалось, радости. Фелпс мне понравился, в его поучениях чувствовалась искренняя доброжелательность, чего нельзя было сказать о докторе Маккосланде.

Отец беседовал со мной не раз и не два, что позволило мне лучше постичь его собственный характер. В своем профессиональном амплуа издателя отец отличался беззаветной отвагой, однако дома он был откровенным капитулянтом, сторонником мира любой ценой. Он считал, что мне следует держать язык за зубами, ни в коем случае не выражая мнений, противных материнским.

Я бы и рад – если бы она этим удовлетворилась. Но матери настолько хотелось начисто вытравить из моего сознания веру в то, что я видел собственными глазами, и получить от меня клятвенные заверения, что я никогда больше не встречаюсь с миссис Демпстер и безоговорочно приму мнение о ней, сложившееся в нашем городке, – что она беспрестанно делала какие-то туманные намеки, а то и прямо начинала обсуждать все эти обстоятельства, чаще всего за

обеденным столом. Было совершенно очевидно, что теперь она воспринимает и самый малый намек на мое хорошее отношение к миссис Демпстер как измену себе самой, а так как верность была едва ли не единственным понятным ей видом любви, она проявляла наибольшую страсть именно в те моменты, когда считала себя наиболее рассудительной. Я никогда не участвовал в этих сценах, и мать вполне справедливо воспринимала мою неразговорчивость как признак упрямого нежелания капитулировать.

Она не понимала, как сильно я ее люблю и как угнетает меня необходимость идти ей поперек, но что же мог я поделать? Во мне жило убеждение, что, уступи я сейчас, обещаю ей то, чего она хочет, это будет конец всему, что есть во мне хорошего; я не был ее мужем, который умел мирно уживаться с ее бешеной правотоверностью; сын своей матери, я полной мерой получил и ее горский нор, и ее железную непреклонность.

Однажды после особо кошмарного обеда, когда мать под конец прямо потребовала, чтобы я сделал выбор между ней и «этой женщиной», я выбрал третье. Посчитав свои деньги и убедившись, что их хватит на железнодорожный билет, я на следующий же день прогулял уроки, поехал в Питтстаун и записался в армию.

Тут все сразу переменялось. В армию брали с восемнадцати лет, мне же едва исполнилось шестнадцать, однако я был высоким и крепким, да и приврать умел, так что никаких проблем не возникло. Мать совсем было собралась пойти в комиссариат, чтобы они меня вычеркнули, но тут уж проявил твердость отец. Он сказал, что не допустит такого позорища, чтобы мать вытащила меня из армии, и ей пришлось смириться. Теперь она разрывалась между страхом, что меня застрелят в первый же день, как начнется учебная подготовка, и переходившим в уверенность подозрением, что между мной и миссис Демпстер было что-то такое, о чем она боялась даже помыслить.

Что касается отца, я сильно упал в его мнению. Он не испытывал никакого уважения к военным, занимал пробурскую позицию в 1901 году, когда это было весьма чревато, и имел серьезные сомнения относительно справедливости каких бы то ни было войн. В нашем поселке царил самое романтическое отношение к войне, тем паче что она нас практически не затрагивала, однако мой отец и мистер Махаффи были лучше осведомлены, как заваривалась эта война, а потому не разделяли всеобщих восторгов. Отец даже советовал мне выдать как-нибудь свой истинный возраст, чтобы меня выгнали из армии, однако мое ослиное упрямство возобладало, тем более что я успел раззвонить о своем героическом поступке направо и налево.

Я нимало не интересовался, что там думают взрослые, а вот то, что сверстники стали относиться ко мне с новым уважением, это мне льстило, и очень. В школе я бездельничал, как оно и пристало мужчине, ожидающему часа, когда можно будет перейти к более серьезным делам. Мои дружки искренне считали, что я могу испариться в любую минуту, и каждый раз, когда я встречал Мило Паппла, а такое случалось ежедневно, он тряс мою руку и с чувством декламировал:

Скажи мне «писсуар»,
Не говори «сортир».

Что было парикмахерской версией первых строк популярной в те дни песни:

Скажи «au revoir»,
Не говори «прости».

Девушки тоже глядели на меня по-новому – в частности, к моему полному восторгу и изумлению, Леола Крукшанк вполне прозрачно намекнула, что я могу получить ее, так сказать, напрокат. Леола все еще сохла по Перси Бойду Стонтону, но тот был далеко, в колледже,

и совсем не умел писать письма, так что она разумно умозаключила, что небольшой роман с будущим героем не принесет никому особого вреда и даже может считаться исполнением патриотического долга.

Прелестная девушка с тоннами прелестной сентиментальной чуши в прелестной головке, она была к тому же предельно чистоплотна – от нее всегда уютно пахло свежесвыглаженным бельем. Я проводил с Леолой уйму времени, сумел ее убедить, что поцелуй-другой не могут считаться настоящей изменой Перси, а по субботним вечерам надевал свой лучший костюм и прогуливался с ней по главной улице.

Что касается миссис Демпстер, я держался от нее подальше, частично из страха и нежелания бросать матери вызов, частично же потому, что не знал, как взглянуть ей в глаза, когда в моих ушах буквально звенят десятки оскорбительных о ней отзывов. И все же я понимал, что не смогу уйти на войну, не попрощавшись с ней. В конце концов я выбрал удобный момент, прокрался к домику Демпстеров и еще раз – последний – залез в окно. Она говорила со мною так, словно я и не переставал ее навещать, и не слишком удивилась известию, что я записался в армию. В свое время, когда война только-только еще началась, мы много о ней беседовали; миссис Демпстер от души смеялась, услышав, что две дептфордские женщины, родные сестры, увлекавшиеся модным тогда спиритизмом, по несколько раз в неделю посещали кладбище, садились на могилу своей матери и зачитывали ей последние новости из Франции. Когда я засобирался уходить, миссис Демпстер расцеловала меня в обе щеки – вещь, которой она никогда прежде не делала, – и сказала: «Запомни главное: что бы там ни случилось, не нужно бояться, в этом нет никакого смысла». Я обещал ей, что не буду бояться, искренне веря, что смогу сдержать это обещание, таким уж я был тогда дураком.

Со временем мне пришел вызов, я сел на поезд, гордо предъявив проводнику свой пропуск в учебно-тренировочный лагерь, высунулся в окно и помахал рукой родителям: мать едва сдерживала слезы, на отцовском лице застыло какое-то непонятное мне выражение. Леола была в школе, мы заранее решили, что ей не стоит провожать меня на вокзал, слишком уж это будет смахивать на взаправдашнее обручение. Зато предыдущим вечером она призналась, что образ Перси исчезает из ее сердца, несмотря на все ее усилия, и что она недавно поняла, что любит не его, а меня, и она будет любить меня вечно и будет ждать меня, пока я не вернусь из Европы с полями сражений.

II

Я родился заново

1

Ну что я могу сказать о войне? Почти ничего. Пробыв на фронте с начала 1915 года до конца 1917-го, я узнал о ней крайне мало, а все, что знаю теперь, почерпнул из книг много позднее. Генералы и историки – вот кто умеет рассуждать о войнах, я же служил в пехоте и по большей части не понимал ни где я нахожусь, ни что я делаю, а только выполнял приказы, стараясь при этом не угодить на тот свет, путей же туда была уйма, и все как один малоприятные. С тех пор я успел ознакомиться с литературой и вроде бы знаю общую картину боевых действий, в которых когда-то участвовал, однако то, что пишут историки, не вносит никакой ясности в то, что я помню из личного опыта. Не желая выглядеть в этом рассказе другим, нежели был в действительности, я буду писать исключительно о том, что знал и видел тогда, в период описываемых событий.

Учебный лагерь стал для меня первым опытом жизни вдали от дома, вдали от родных и знакомых. Оказавшись среди людей тертых и опытных – во всяком случае, такими они мне представлялись, – я старался по возможности не выделяться на общем фоне каким-нибудь не таким поведением. Компания в лагере была самая пестрая, кто-то видел мою отчаянную тоску по дому и пытался ее как-нибудь скрасить, кто-то без конца измывался над такими, как я, юнцами. Они изо всех сил старались сделать из нас мужчин, то бишь перекроить по своему образу и подобию. Мужчины... Кое-кто из новобранцев и вправду заслуживал этого высокого звания – серьезные, неторопливые молодые фермеры и рабочие, обладавшие, как казалось, неисчерпаемыми запасами выносливости и отваги, – но по преимуществу это был никчемный сброд, как то и бывает в любой случайно отобранной группе людей. Никто из них не получил мало-мальски толкового образования, никто практически не понимал, что это там за война такая, преобладало некое смутное ощущение, что Англию обижают и ее нужно защищать. И самое дикое: все мы имели, мягко говоря, слабое представление о географии, а потому мысленно помещали Францию, где нам предстояло воевать, в самые разнообразные климатические зоны, от арктической до экваториальной. Ну да, конечно же, кое-кто из нас проходил в школе географию и видел карты, однако школьная карта – вещь маловразумительная.

Я состоял во Второй канадской дивизии, позднее нас влили в Канадский корпус, однако все эти названия не имели для меня практически никакого смысла; я общался с многими людьми, непосредственно меня окружавшими, и крайне редко видел кого-нибудь еще. Тут следует заметить следующее: имея со всеми нормальные, ровные отношения, я так и не сошелся ни с кем поближе. Находясь в армии, я видел много примеров крепкой, настоящей дружбы, для спасения друга солдаты не жалели себя, проявляли беззаветную отвагу, но были и пустозвоны, без умолку болтавшие о «мужской дружбе», она же «дружба до гроба», распевавшие о ней песни; те из них, кто остался в живых, продолжают этот треп и по сей день. Я же так и пронес свое одиночество сквозь всю войну. И не то чтобы я старался держаться особняком, мне бы очень хотелось найти настоящего друга, просто как-то не вышло.

Возможно, всему виной моя скука. Скуки, подобно армейской, я не испытывал ни до, ни после, она тяжелым свинцом наливалась каждую клеточку моего тела. Обычно скука ассоциируется с бездельем, но тут был совершенно другой случай, ведь пехотинец, проходящий боевую подготовку, не знает покоя с утра до позднего вечера, а затем спит как убитый. Ту скуку, о которой я говорю, порождала отрезанность от всего, что украшает жизнь, или возбуждает любопытство, или расширяет горизонты восприятия. Это была скука выполнения бесконечных

задач, ничего не дающих ни уму ни сердцу, скука приобретения навыков, без которых ты бы с радостью обошелся. Я научился шагать в ногу и поворачивать по команде, научился стрелять и держать себя в опрятном (по армейским стандартам) виде, в частности – заправлять койку, чистить сапоги, до блеска надраивать пуговицы и накручивать себе на ноги длинные полосы толстой, навозного цвета ткани, и все это – единственным положенным образом. Я научился все это делать, и даже делать хорошо, хотя и не видел в том особого смысла.

Перед отправлением в Европу нам дали увольнительные. Мое появление на улицах Деппфорда произвело небольшой фурор. Я стал настоящим мужчиной – внешне. Даже мама почти перестала отпускать в мой адрес свои обычные критические замечания; она сделала несколько неуверенных попыток вернуть меня к статусу «моего дорогого мальчика», но я не пожелал играть в эту игру. Леола Крукшанк гордилась возможностью иметь меня в своем распоряжении, и мы с ней даже зашли чуть-чуть дальше прежних поцелуев. Я отчаянно хотел повидать миссис Демпстер, но это лежало за пределами возможного, форма не позволяла мне сходить куда бы то ни было незамеченным, а я все еще слишком боялся матери, чтобы прямо бросить ей вызов (хотя и не признался бы в этом даже под страхом смерти). Как-то раз я встретил Пола, но тот, похоже, меня не узнал, поглазел с удивлением на форму и пошел дальше.

А потом мы плыли на корабле и слушали офицеров, ежедневно укреплявших наш боевой дух рассказами о немецких зверствах. Немцы рисовались нам настоящими исчадиями ада, они не столько воевали, сколько калечили детей, насиловали женщин (никак не меньше, чем вдесятером на одну несчастную жертву) и оскорбляли все, какие ни попадя, религиозные святыни; они брали пример со своего кайзера – бешеного и в то же время комичного монстра, им следовало преподать урок, что порядочность все еще правит этим миром, ну а уж мы-то, конечно, были прямым воплощением порядочности. К этому времени я достаточно насмотрелся на армейскую жизнь, чтобы задумываться, что если уж мы – воплощение порядочности, эти немцы должны быть поразительными мерзавцами, потому что более богохульных, вороватых и развратных бандитов, чем многие из наших солдат, даже трудно было себе представить. Но я не досадовал на солдатскую службу, я досадовал на себя самого, на свое одиночество и скуку.

После высадки во Франции скука так со мною и осталась, но одиночество сменилось страхом. Безмолвный, сдерживаемый, но оттого не менее отчаянный страх не покидал меня все три последовавших года. Я видел уйму людей, дававших волю своему страху, они сходили с ума, они стреляли в себя (куда-нибудь в такое место, чтобы получить полное освобождение от службы, а то и вовсе насмерть) или становились такой обузой для остальных, что от них приходилось избавляться тем или иным способом. Страх вроде моего не назовешь особенно острым, но его постоянное присутствие иссушало душу, делало все вокруг серым и унылым. Иногда страх забывался, но ненадолго.

Я насмотрелся на войну более чем достаточно, причиной чему природная выносливость, позволявшая мне переносить все тяготы службы не ломаясь, и почти чудесное везение, пронесившее мимо меня пули и осколки. Иногда мне давали увольнительные, но такая возможность возникала редко, так что я проводил, как это называлось, на передовой по несколько месяцев кряду. Я никогда толком не знал, что это, собственно, такое – передовая, потому что непременно находились люди, готовые объяснить – бог уж знает, насколько точно, – как расположены войска союзников, где стоят англичане, а где французы; так, если судить по их рассказам, передовая была везде. Как бы там ни было, мы зачастую стояли в какой-нибудь сотне ярдов от немецких окопов и могли видеть вражеских солдат в их дурацких, похожих на ночные горшки касках невооруженным глазом. Если ты, по собственной глупости, высовывал из окопа голову, они вполне могли всадить в нее пулю, у нас тоже были люди, специально отряженные для этой грязной работы.

Теперь эта война кажется очень странной, потому что с того времени была еще одна, и именно она установила стандарты современных сражений. Многое из того, что я видел, заставляет теперешних моих учеников воспринимать меня почти как современника [Веллингтона](#) или даже [Мальборо](#). Мою войну сильно усложняли лошади (фламандская грязь делала автомобили практически бесполезными); если ты попадал под обстрел в обществе лошадей, как то довелось мне однажды, взбесившиеся животные представляли опасность ничуть не меньшую, чем немецкие снаряды. Я видел даже кавалерию, ведь тогда все еще находились генералы, свято верившие, что кавалерия, если пустить ее на противника, в два счета утихомирит вражеские пулеметы. Эти кавалеристы казались мне великолепными, как крестоносцы, однако я ни за что на свете не согласился бы оказаться на их месте. Ну и, конечно же, я видел трупы и привык воспринимать их как нечто не заслуживающее особого внимания, потому что мертвый человек, лишенный привычного для нас похоронного убранства, представляет собой предмет отчаянно заурядный, малозначительный. Хуже того, я видел людей, которые не стали еще трупами, но скоро станут, людей, мечтавших о смерти.

Но больше всего меня снедала обида за раненых, за бесчувственное, унижительное безразличие, с которым относится к ним война. Беспомощные страдальцы, которые либо умрут в ближайшие часы, либо останутся калеками на всю жизнь, имеют право на внимание, но мы научились их не замечать. Вот и я не раз и не два наступал на таких несчастных, заталкивая их еще глубже в грязь, по той лишь причине, что мне нужно было двигаться дальше, в какое-то там место, которое нам приказано было занять – либо погибнуть, пытаясь занять.

Так выглядели бои, где мы, по крайней мере, хоть что-то делали. Но случались недели и месяцы, когда боев практически не было, когда мы жили в траншеях, в грязи цвета дерьма, перемешанной с дерьмом и прочей мерзостью, одетые в форму цвета дерьма – голодное, до костей промерзшее вшивое воинство. Не зная уединения, мы начинали сомневаться в своей индивидуальности, сливались в безликую массу, чего страшно боялись сержанты; прилагая титанические усилия, они худо-бедно сдерживали эту угрозу, но иногда кошмарная деперсонализация, апатичная деградация вырывались из-под контроля, и тогда нас приходилось отводить в тыл, в так называемые лагеря отдыха; мы там не отдыхали ни минуты, но хотя бы могли вдохнуть глоток воздуха, не пропитанного насквозь сортирной вонью дерьма и хлорной известью.

Несмотря на ужасающую открытость солдатской жизни, когда ты ешь и спишь, стоишь и сидишь, опорожняешь кишечник и страшишься смерти непременно в компании, на глазах у других, я умудрялся найти время для чтения. Вот только книга у меня была одна-единственная, Новый Завет, тысячами распространявшийся в армии представителями некоей благочестивой общественной организации. Лично я предпочел бы Ветхий Завет, а еще лучше – какой-нибудь из толстых, бесконечно длинных романов. Но где, скажите на милость, хранить такую вещь пехотинцу с передовой? Позднее я читал о людях, пронесших сквозь войну ту или иную книгу, но все они были офицерами. Находясь в увольнительной, я пару раз добывал какие-то английские книги, но терял их сразу же, как начинались бои. И только Новый Завет удобно, ничуть не мешая, умещался в кармане, так что его я и читал, от корки до корки, раз за разом.

Чем и заслужил себе нелестную репутацию сдвинутого на религии, блажененького, а к таким даже капелланы относятся настороженно, не ожидая от них ничего, кроме неприятностей того или иного рода. И прозвище у меня было соответствующее – Дьякон. Я даже не пытался объяснять, что читаю Новый Завет не из благочестия, а из любопытства, и многие эпизоды из него подтверждают мое давнее впечатление, что истинность религии и «Тысячи и одной ночи» находятся примерно в одной плоскости. (Позднее я бы сказал, что и в том и в другом случае истинность носит скорее психологический, чем буквальный характер, и что психологическая истинность ничуть не менее важна – в своем роде, – чем точное следование фактам, но в то время скудость моего словаря не позволила бы мне сформулировать такой

довод, хотя я и чувствовал нечто подобное.) Моей любимой книгой был Апокалипсис, Евангелия трогали меня значительно меньше, чем видения Иоанна о зверях и битве жены, облаченной в солнце, имевшей луну под ногами и венец из двенадцати звезд на главе, с красным семиглавым драконом.

Я так и ходил Дьяконом, пока в одном из лагерей отдыха не решили устроить самодеятельное представление. Когда стали искать добровольцев, желающих поразвлечь своих товарищей, я проявил наглость, по сию пору удивляющую меня самого, и вызвался имитировать Чарли Чаплина, которого я видел к тому времени ровно два раза в фильмах, демонстрировавшихся нам в таких же лагерях. Я вырезал себе тросточку, разжился в соседней французской деревне точно таким же, как у Чаплина, котелком, а когда настал вечер, навел себе женой пробкой усы и вышел, усиленно шаркая ногами, на сцену; двенадцать минут кряду я выдавал самые непристойные, какие мог вспомнить, шутки, привязывая их ко всем – включая капеллана – офицерам и всем солдатам, пользовавшимся той или иной известностью. Я до сих пор краснею, вспоминая, что за похабель я тогда нес; я выдал чуть не весь репертуар Мило Паппла и имел – к вящему своему изумлению – огромный успех. Мне уступил даже бывший комический актер (спевший дуэт «Если б ты была единственной женщиной на свете, ну а я был бы единственным мужчиной» на два голоса, баритон и фальцет). С этого дня я был уже не Дьякон, а Чарли.

Солдаты пришли в крайнее изумление, что я способен на такие вещи, чем привели в крайнее изумление меня самого. «Мамочки, старина Дьякон – и вдруг запузырил такое про майора, ну как это тебе? Mamочки, а эта загадка про Куки, это тебе как? Ну вообще!» В их головах просто не укладывалось, что человек, читающий Новый Завет, отнюдь не обязан быть блаженньким, что его характер может иметь и другую, вроде бы совсем противоположную грань. Мне кажется, что я всегда считал самоочевидным, что каждый человек имеет по крайней мере две – если не двадцать две – грани, во всяком случае не помню, когда я думал иначе. Их удивление – вот что меня удивило. Mamочки! Люди совсем не понимают других людей, даже не пытаются понять, ну, как это тебе? Mamочки!

Я не философствовал в окопах, я тянул лямку и старался выжить. Я даже пытался делать все, мне полагающееся, хорошо. Не будь я таким молодым, не мешай мне недостаток образования – измеряемого в классах школы, потому что армия не знала, что я эрудит, да и знать не хотела, – меня могли бы откомандировать в офицерскую школу. А так я стал со временем сержантом; мы несли тяжелые потери – в переводе с армейского это значит, что люди, которых я знал и почти любил, то и дело взрывались, как начиненные кишками бомбы, чуть не прямо у меня под носом, – и мое умение скрывать свой страх заслужило мне репутацию хладнокровного человека, так что в девятнадцать лет я был уже сержантом, а заодно и ветераном Святого леса, и ветераном Вими. Но все это мелочи рядом с самым поразительным моим достижением: я превратился из Дьякона в Чарли.

2

Моя война закончилась где-то после 5 ноября 1917 года, на том этапе Третьей битвы при Ипре, когда канадцев бросили на взятие Пашендаля. Это было в четверг или в пятницу, я не могу сказать точно, потому что этот период времени отложился в моей памяти очень туманно. За три без малого года, проведенных мною на фронте, я не видел ничего более страшного; мы пытались взять деревню, давно уже стертую с лица земли, и измеряли свое поступательное движение футами; фронт совершенно смещался, потому что последние недели дождь почти не прекращался и земля настолько раскисла, что мы не могли сделать и шага вперед, не настелив предварительно гать; мы снимали деревянные щиты с уже пройденного места и переносили их вперед, это была жутко утомительная работа, причем мы все время находились на откры-

том месте; мало удивительного, что наше наступление развивалось с черепашной скоростью. Потом я прочитал, что мы продвинулись меньше чем на две мили, а казалось, будто на двести. Главным ужасом была грязь. Взбитая снарядами, она превратилась в сплошную ловушку: увязнешь глубже колен, и считай пропало – пока будешь выбираться, близкий разрыв накроет тебя фонтаном грязи, собьет с ног, и даже трупы потом не найдут. Я пишу обо всем этом по возможности кратко, чтобы не воскрешать в памяти пережитый тогда ужас.

Одной из главных помех нашему продвижению были немецкие пулеметные гнезда. Скорее всего, они были расставлены по какой-то там схеме, но мы, барахтавшиеся в грязи, видели не схему, а одну-единственную огневую точку, прикрывавшую наш крошечный участок фронта, видели и понимали, что нужно ее подавить, иначе мы здесь завязнем. Две первые попытки не принесли нам ничего, кроме тяжелых потерь. Я понимал ситуацию, видел, как неумолимо сокращается список хоть на что-то способных людей, и знал, что скоро моя очередь. Не помню уж, вызывали тогда добровольцев или обошлись без этого ритуала – в нашей совершенно отчаянной ситуации он был бы пустой формальностью. Так или иначе, я попал в шестерку, отобранную для ночной вылазки. Немцы вели артиллерийский обстрел с перерывами; мы должны были воспользоваться одним из таких перерывов, скрытно подобраться к пулеметам и подавить их. Мы сменили винтовки на револьверы, получили прочую экипировку, выждали, когда прекратится обстрел, и двинулись вперед – не тесной, конечно же, группой, а с интервалами в несколько ярдов.

Немцы ожидали нас; в ситуации, аналогичной нашей, они делали бы точно то же, что и мы сейчас. Но мы упорно ползли вперед, распластавшись в грязи, чтобы распределить свой вес на максимально возможную площадь. Это было как плавать в патоке, с тем дополнительным неудобством, что наша «патока» отвратительно воняла и была нашпигована трупами.

Я двигался быстро и прополз уже достаточно далеко, когда все вдруг пошло не так. Кто-то – то ли из наших, то ли из немцев – пустил осветительную ракету, с этими ракетами никогда не поймешь, кто их запустил, они просто вспыхивают в небе, а затем падают, освещая порядочный участок местности. В такой момент, если находишься близко к противнику, как то было со мной, лучше всего лежать лицом вниз и надеяться, что пронесет. Так как я был в грязи с головы до ног, а к тому же заранее вымазал лицо сажей, меня вряд ли могли заметить, но и заметив, посчитали бы трупом. Как только ракета погасла, я снова пополз вперед; по моим оценкам, до цели нашей вылазки оставалось совсем немного. Я не знал, где находятся другие, но полагал, что они тоже приближаются к немецкой огневой точке, чтобы по сигналу младшего лейтенанта, возглавлявшего нашу группу, попытаться что-нибудь с ней сделать. Но тут вспыхнули три ракеты сразу, а затем затарахтели пулеметы. Я снова замер. Выгоревшие ракеты падают на землю с порядочной скоростью и громким, характерным шипением; если такая штука угодит в человека, неизбежны серьезные ожоги, потому что даже в самом конце она представляет собой внушительный комок огня. И вот сейчас две ракеты шипели прямо над моей головой; я совсем не хотел сгорать заживо, а потому вскочил на ноги и побежал.

В тот же самый момент немцы возобновили обстрел, хотя мы планировали вылазку в расчете на по крайней мере получасовую передышку. Хуже того, к вящему моему ужасу, откуда-то слева, издалека, заговорили и наши орудия. В мелких рейдах, о которых не знает высокое начальство, всегда сталкиваешься с риском угодить под обстрел своих, но я-то попал в подобную переделку впервые. Когда посыпались снаряды, я припустил со всех ног куда глаза глядят (образно говоря, потому что темнота была хоть глаз выколи). Трудно сказать, сколько времени я плюхал по грязи – может, три минуты, а может, и все десять. Затем до моего сознания дошло, что откуда-то справа доносится злобный, захлебывающийся пулеметный лай. Я напряг глаза, пытаясь найти в темноте хоть какое-то укрытие, и тут вспышка разрыва высветила совсем рядом, рукой подать, замаскированный каким-то хламом лаз, в глубине которого угадывалась завешенная грязным презентом дверь. Я рванул ее и увидел согнутые спины трех немцев.

Немцы самозабвенно строчили из пулеметов, а потому не слышали, как распахнулась дверь; выхватить револьвер и перестрелять их в упор было делом одной секунды. Они так и не увидели, кто их убивает. Ну что еще сказать? Я ничуть не горжусь этим эпизодом, более того, даже тогда, в немецком блиндаже, я не испытывал особой гордости. Случилось так, а могло случиться совсем иначе, на войне как повезет.

Больше всего мне хотелось немного посидеть, перевести дыхание, собраться с мыслями и только потом пускаться в обратный путь, к своим. Однако обстрел усиливался, и появлялась опасность, что один из наших снарядов запоздало уничтожит замолчавшее пулеметное гнездо, а с ним и меня, да и неумолчный звон полевого телефона не предвещал ничего хорошего – скоро немцы встревожатся и пошлют солдат проверить, почему никто не берет трубку, – со всеми вытекающими последствиями. Нужно было уходить.

Я вылез из блиндажа в грязь, под снаряды, и попытался сориентироваться. Обе стороны оживленно обстреливали друг друга, так что было нелегко разобраться, к какому из источников смерти должен я ползти; к несчастью, я сделал неверный выбор и направился вглубь немецкой обороны.

Не знаю, как долго я полз, потому что к этому времени меня охватили страх, растерянность и отчаяние, подобных которым я не испытывал ни до, ни после. В наши дни мое тогдашнее состояние назвали бы модным словечком «дезориентация». Вскоре дело приобрело еще более скверный оборот – меня ранило, и, насколько я мог судить, серьезно. Осколок снаряда угодил в левую ногу, не знаю уж точно куда. В своей последующей жизни я попал однажды в автомобильную катастрофу, и все было очень похоже – неожиданное потрясение, словно дубиной ударили; немного спустя я осознал: с левой ногой что-то не так.

Я воевал третий уже год и ни разу не был ранен; как это ни удивительно, очень многим людям удавалось пройти войну без единой царапины. К слову сказать, газы тоже меня миновали, хотя были случаи, когда их применяли буквально в двух шагах от наших позиций. Я видел очень много раненых и потому страшился разделить их участь. Что остается делать раненому человеку? Доползти до какого-нибудь укрытия и лежать, надеясь, что найдут свои. Я пополз.

Некоторые рассказывают, как ранение обострило все их чувства, как смертельная опасность придала им невиданную прежде находчивость и сноровку. Со мною все было наоборот. И я не столько боялся, сколько упал духом. Я барахтался в грязи, окруженный грохотом, вспышками разрывов и гелигнитовой вонью. Мне хотелось на все махнуть рукой, у меня не было ни сил, ни духа продолжать эти игры. И все же я полз, все яснее сознавая, что левая нога превратилась из помощницы в тяжелый, безжизненный груз, который приходится волочить по грязи, к чему добавлялось не менее ужасающее понимание, что я, собственно, и не знаю, куда нужно ползти. Через несколько минут я увидел справа рваные нагромождения камня и повернул к ним. Достигнув развалин, я привалился спиной к остаткам какой-то стены и погрузился в горестные раздумья о полной безнадежности создавшегося положения. Без малого три года мне удавалось держать нервы в кулаке, не позволяя себе думать об опасностях, но сейчас я не имел уже сил контролировать свои мысли и полностью раскис. Да, конечно же, мировая история знала примеры куда большего страха и отчаяния, однако я поставил в тот день свой личный, никогда потом не побитый рекорд.

Левая нога заявляла о себе все громче и громче, начальная немота перешла в недовольное бормотание, в глухой стон, в визг и, наконец, – в оглушительный, безостановочный крик. Толстый слой грязи не позволял понять, что, собственно, там случилось, однако было заметно, что нога как-то неестественно вывернута; осторожно ее пощупав, я обнаружил нечто липкое – конечно же кровь. У тебя будет столбняк, сказал я себе, ты умрешь в жутких судорогах. В Дептфорде ходила легенда, будто бы при столбняке человек судорожно изгибается назад, так что затылок смыкается с пятками, а потом его хоронят в круглом гробу. За время, проведенное

в окопах, я видел нескольких человек, умерших от столбняка, и никому из них не потребовался круглый гроб, однако сейчас старая легенда взяла верх над личным опытом.

Думая о Дептфорде, я вспомнил и миссис Демпстер, в памяти всплыло ее напутствие: «Запомни главное – что бы там ни случилось, не нужно бояться, в этом нет никакого смысла». «Миссис Демпстер – дура», – сказал я вслух. Я боялся и при этом находился в положении, когда было бессмысленно думать о каком-то там смысле.

И вот тут произошел один из тех случаев, которые придали моей жизни странный характер, – случаев, с которыми другие люди либо не сталкивались, либо сталкивались, но не хотят того признавать, случай экстраординарный, и как же мне не возмутиться, когда Пакер рисует меня тусклым, сереньким человеком, с которым ни разу в жизни не произошло ничего серьезного.

Я как-то не сразу заметил, что канонада стихла и только время от времени раздавались выстрелы одиночного орудия. Однако осветительные ракеты все так же вспыхивали в небе, и одна из них чертила сейчас нисходящую траекторию примерно в моем направлении. При ее свете я разобрал, что укрылся в развалинах церкви или школы, во всяком случае довольно крупного здания, и что лежу я у основания разрушенной башни. Когда шипящее пламя приблизилось, я увидел в нише противоположной стены на высоте десяти-двенадцати футов статую Мадонны с младенцем. Много позднее я узнал, что эта статуя символизировала непорочное зачатие, ведь Мадонна была увенчана короной, стояла на полумесяце, который, в свою очередь, покоился на земном шаре, и держала в руке, свободной от младенца, скипетр, проросший лилиями. Невежественный в католической символике, я мгновенно решил, что это – венценосная жена из Апокалипсиса, та, которая стояла на луне и боролась с красным драконом. Рассмотрев ее лицо, я испытал потрясение много большее, чем от удара осколком, – это было лицо миссис Демпстер.

Я давно уже потерял всякий контроль над собой, теперь же, когда прямо на меня валился с неба шипящий огненный шар, я потерял сознание.

3

– Можно мне попить?

– Так вы говорите?

– Да. Можно мне попить, сестра?

– Я бы охотно дала вам бокал шампанского, только вряд ли оно здесь найдется. Кто вы такой?

– Рамзи Ди, сержант, Вторая канадская дивизия.

– Ну что ж, Рамзи Ди, рада, что вы наконец с нами.

– Где я?

– Еще узнаете. А вот где вы *были*?

Где я *был*? Я не знал этого тогда, не знаю и сейчас, но это было совершенно незнакомое мне место. Годами позже, когда я впервые читал Кольриджа «Кубла Хана» и дошел до строк:

И этой грезы слыша звон,
Сомкнемся тесным хороводом,
Затем что он воскормлен медом
И млекою рая напоен!¹ —

¹ Перевод К. Д. Бальмонта.

я чуть не выскочил из себя, потому что они абсолютно точно описывали мое состояние перед пробуждением в госпитале. Я ощущал потрясающую легкость и целительную умиротворенность, иногда ко мне обращались какие-то голоса, однако я совсем не был обязан слушать, что они говорят, тем более – отвечать; я чувствовал, что все хорошо, что моя душа безраздельно принадлежит мне и что, хотя все вокруг необычно, в этой необычности нет зла. Время от времени появлялась маленькая Мадонна, она смотрела на меня с ласковой озабоченностью и снова удалялась, раз или два она говорила, но я не знал, что она сказала, да мне и не нужно было знать.

А теперь я здесь, по всей видимости – в кровати, и очень хорошенькая девушка в одежде медицинской сестры спрашивает меня, где я был. Совершенно очевидно, что это шутка. Ей кажется, что она знает, где я был, но шутит она скорее над собой, потому что этого не знает никто, даже я сам.

– Это базовый госпиталь?

– Господи, конечно же нет. Как вы себя чувствуете, Рамзи Ди?

– Прекрасно. А какое сегодня число?

– Двенадцатое мая. Я принесу вам попить.

Она исчезла, а я начал прикидывать. Дело было совсем не простое. Я потерял сознание где-то в ноябре; если сейчас май, получается, что я провел в этом великолепном, лишенном забот мире довольно долгое время. Да и здесь вроде неплохо. Голова моя почти не поворачивалась, но я видел потолок с великолепной лепниной и верхнюю часть стен, покрытых деревянными панелями. Где-то вне поля моего зрения было открытое окно, откуда тянуло чистым, освежающим воздухом; вонь пороха и взрывчатки, вонь грязи, трупов и сортиров – все это осталось в прошлом. Мое тело было чистым. Я осторожно пошевелился – и тут же пожалел о содеянном; некоторые части моего тела возмущенно запротестовали. Затем снова появилась та девушка, а с ней багроволицый мужчина в длинном белом халате.

Он так и лучился восторгом, особенно когда я вспомнил свой армейский номер, и лишь через несколько дней я узнал причину столь неумеренной радости, да и то не во всех подробностях, от пациентов всегда что-то скрывают. Оказывается, я был в госпитале вроде как на особом счету, и мое выздоровление что-то там доказало; судя по всему, именно я стал главным героем двух научных статей (в качестве некой психиатрической диковинки), однако точно я этого так и не выяснил, – в статьях говорилось просто о «пациенте», без фамилии. Багроволицый мужчина был вроде как специалистом по контузиям, и мое возвращение стало одним из самых выдающихся его успехов, хотя мне-то думается, что я сам себя вылечил, либо это сделала маленькая Мадонна, либо еще какие-нибудь силы, не связанные непосредственно с медицинским уходом и наблюдением.

Да, я оказался очень везучим! Судя по всему, угодившая в меня ракета сожгла большую часть одежды, а заодно и шнурок, на котором висели идентификационные жетоны, так что они затерялись в грязи и меня подобрали неопознанным. Были некоторые сомнения, помер я уже или только собираюсь, однако меня все же доставили в лазарет, а когда оказалось, что я никак не желаю умирать, – перевели в крупный госпиталь во Францию. Так как я упорно продолжал балансировать на грани жизни и смерти, меня отправили кораблем в Англию, к тому времени моя совершенно необъяснимая живучесть стала представлять интерес для медиков, и багроволицый врач взял любопытного пациента под свое попечение; меня перевезли в этот специализированный госпиталь, располагавшийся в Букингемшире, в великолепном старом особняке; я лежал на койке, бесчувственный как бревно, и вроде бы не собирался приходить в сознание, однако багроволицый врач упрямо предсказывал, что однажды этот пациент проснется и сообщит ему нечто ценное. Так продолжалось довольно долго, а в мае я пришел в себя, к вящему восторгу врачей и сестер, и сразу стал всеобщим любимцем.

Но были и новости похуже. Злополучная ракета обожгла меня очень сильно, а в те дни врачи управлялись с ожогами далеко не так ловко, как сейчас; в результате значительные участки моей груди и бока покрылись болезненно-красной коркой, словно их измазали сургучом, и не ровно, а с комками, так оно осталось и по сию пору, разве что цвет теперь поспокойнее, коричневатый. На моей кровати стояло такое проволочное устройство, вроде продолговатой клетки, оберегавшее культю (левой ноги у меня не было) от соприкосновения с простыней. Пока мой рассудок отдыхал в неведомом раю, мое брэнное тело сильно исхудало на жидкой пище, но это меня ничуть не волновало, дело наживное. В довершение всего у меня отросла длинная густая борода, мы с хорошенькой сестричкой немало повеселились, изводя ее под корень.

Только хватит называть Диану хорошенькой сестричкой. Диана Марфлит записалась в медицинские войска из чувства долга, прошла полный курс подготовки, но так и не обрела профессионального хладнокровия настоящей медицинской сестры (обычная история с этими добровольцами). Первая английская девушка, какую я видел с достаточно близкого расстояния, она являла собой великолепный образчик своего – светлогокожего, темноволосого и кареглазого – типа. Мало того что Диана была очень хорошенькой, она буквально лучилась обаянием и непосредственностью, ее веселая, легкомысленная манера разговора в точности соответствовала неписаным законам английского хорошего общества, где серьезность и приверженность фактам считаются дурным тоном. Ей было двадцать четыре года, на четыре больше, чем мне; вскоре я узнал, что ее жених, флотский лейтенант, погиб в самом начале войны на торпедированном немцами «Абукире». У нас с ней сразу же установились прекраснейшие отношения, да и как иначе? Диана ухаживала за мной с января, с первых дней, как я поступил в этот госпиталь; она кормила мое бесчувственное тело с ложечки, она до сих пор мыла меня, подставляла и выносила судно, – согласитесь сами, что девушка, способная делать все это без каких бы то ни было шуточек, не вгоняя мужчину в краску, – существо необыкновенное. Диана была выше всяких похвал; вверенный ее заботам, я набирался сил с какой-то невероятной скоростью, не в последнюю очередь – из желания сделать ей приятное.

Однажды она появилась в палате с серьезнейшим выражением на лице, встала по стойке смирно и четко отдала мне честь.

– Это еще что такое?

– Скромная сестра милосердия приветствует героя Пашендаля.

– Да иди ты! – (Любимое выражение отца прилипло ко мне с детства и на всю жизнь.)

– Факт. И чем, думаешь, тебя наградили?

– Ну, наверное, тобой.

– Без шуток. Мы навели о вас подробнейшие справки, сержант Рамзи. Вот ты даже и не знаешь, что официально ты погиб.

– Погиб? Я?

– Ты. По каковой причине пришлось наградить тебя Крестом Виктории посмертно.

– Да иди ты!

– Факт. Проявив высочайшую отвагу и мужество, не страшись никаких опасностей, сержант Рамзи исполнил свой долг перед родиной, подавив вражеское пулеметное гнездо, что позволило его подразделению продвинуться на... – не помню уж там насколько, но на сколько-то много, – каковое деяние и было отмечено Крестом Виктории. Остальные пятеро вернулись назад, все, кроме тебя, и один из них видел, как ты – вернее, кто-то такой здоровенный, с тебя размером, – бежал к этому самому гнездышку, так что все было достаточно ясно, хотя твоего трупа потом так и не нашли. Как бы там ни было, тебя наградили этим КВ, и теперь доктор Хаунин суетится, чтобы тебе его вручили лично, а то отошлют домой, расстроят маму.

Остальные трое мужиков из палаты приветствовали меня криком «ура!» – ироническим таким «ура!». Все мы делали вид, что нам плевать на награды, но я как-то ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь от них отказывался.

Диана раскаялась в своих словах буквально через несколько недель, когда пришел ответ на письмо, посланное доктором Хаунином моим родителям. Преподобный Дональд Фелпс с глубочайшим прискорбием сообщал, что Александр Рамзи и его жена Фиона Данстэбл Рамзи умерли в начале 1918 года от эпидемической инфлюэнцы, успев перед этим получить сообщение, что я пропал без вести под Пашендалем. Диана мучилась мыслью, что она могла оскорбить мои чувства. Я мучился тем, что почти не чувствую горечи от потери.

4

Потребовались годы, чтобы я начал воспринимать смерть родителей как нечто иное, чем удачное облегчение, лишь на четвертом десятке я сумел разглядеть за полустертыми фигурами из прошлого людей, сделавших все, что было в их силах, в рамках жизней, отпущенных им судьбой. Но тогда, в госпитале, я был попросту рад, что мать не загонит меня снова в положение «своего дорогого мальчика», что мне не придется объяснять ей – *пытаться* объяснить, – что такое война, или ломать себя в угоду ее не знающим сомнений требованиям. Я понимал, что она полностью подчинила себе отца, и радовался, что теперь мне не придется больше бороться за свою независимость. О эти добрейшие, невежественные, не знающие сомнений женщины! Как их порой ненавидишь! Я злорадно ликовал, что мать не дожила до известия о моей награде, с ужасом представляя, как бы она рядилась в напускную скромность, приличествующую матери героя, женщине, чье чрево стало источником и модельной формой высочайшего мужества, а трех лет, что я гнил в окопной жиже, вроде как и не бывало.

Диане я, конечно же, ничего такого не говорил. Она постоянно расспрашивала меня о войне, и я рассказывал ей все подряд, без малейших затруднений, меняя свои воспоминания на ее сочувствие. Я прекрасно понимал, что наша близость становится все теснее и что когда-нибудь с этим придется разобраться. Ну и что? Я был счастлив уже тем, что живу, и жил исключительно сиюминутной радостью.

Она была романтиком, я никогда еще не встречал романтиков женского пола, а потому с восторгом изучал ее эмоции. Диана хотела знать обо мне все, и я рассказывал ей все, со всей возможной честностью, но ведь я-то тоже был романтиком, двадцатилетним романтиком, так что теперь мне ясно, что я лгал каждым своим словом, – лгал не в фактах, но в акцентах и эмоциональной окраске, в целях и намерениях. Жизнь в Канаде казалась Диане ужасно романтической – и я делал ее романтической. Я даже рассказал о миссис Демпстер (умолчав о своей ответственности за ее не совсем вменяемое состояние) и почувствовал себя несколько обманутым, когда Диана среагировала на мое повествование довольно холодно. Но когда я рассказал о маленькой Мадонне, явившейся мне в Пашендале, а позднее – в том, запредельном мире, она безмерно восхитилась и сразу же дала этой истории вполне заурядное религиозное истолкование, о чем я лично, положив руку на сердце, никогда прежде не задумывался. Она постоянно возвращалась к теме маленькой Мадонны, вызывая у меня в памяти введение к «Детской книге про святых» и малютку У. В., которой рассказывались эти истории. Я всегда воспринимал эту самую У. В. как кошмарную зануду, но теперь по необходимости пересмотрел свое мнение, потому что Диана была точь-в-точь У. В. во плоти, а уж ее-то я никак не мог назвать занудой.

Мало-помалу до меня стало доходить, что Диана имеет на мою драгоценную персону некоторые виды, и я был слишком польщен, чтобы хоть немного задуматься над последствиями. В этой больнице многие сестры были из хороших семей, эти девушки работали не покладая рук, делали все, что полагается сестрам и санитаркам, однако они пользовались и некото-

рыми не совсем обычными побрякками. В большинстве своем они жили неподалеку и могли между сменами отлучаться домой.

После каждой такой отлучки Диана непременно рассказывала мне о своем доме и своих родителях, совершенно не соответствовавших моим представлениям о том, что такое родители. Ее отец, каноник Марфлит, совмещал обязанности домашнего священника при Виндзорском замке и обычного приходского священника; не зная толком, что такое домашний священник, я представлял себе, что он изводит королевское семейство занудными моральными проповедями, примерно так же, как наши дептфордские священники – нас. Ее мать была Достопочтенной, хотя каноник и не имел никаких титулов, что крайне меня удивило; я не знал, что так бывает. «Моя мать – урожденная Де Блакер», – сказала мне Диана; потом оказалось, что фамилия эта французская и пишется длинным, хитрым образом, как то бывает у французов. По причине войны Марфлиты жили очень скромно: только двое слуг и садовник, приходящий три раза в неделю; следуя монаршьему примеру, Марфлит на время исключил из употребления спиртные напитки, ну разве что стакан-другой портвейна после особо утомительного дня. Чтобы экономить топливо для Нашего Общего Дела, все члены семейства Марфлитов набирали теперь в ванну три – всего три! – дюйма воды, и так – каждый день. Я в жизни не знал никого, кто принимал бы ванну каждый день, и считал, что ежедневные ванны в госпитале – нечто вроде лечебной процедуры и что они вскоре прекратятся.

Диана немало способствовала моему просвещению. По мере нашего сближения она стала все чаще и чаще поправлять некоторые мои речевые обороты, казавшиеся ей – нет, не неправильными, а несколько *необычными*, пикантными. Моя речь сформировалась по преимуществу в шотландском окружении, поэтому споров о произношении, обычных при столкновении Старого Света с Новым, у нас почти не возникало, зато как же веселилась Диана, когда я называл верхнюю рубашку сорочкой. Что касается моих застольных манер, тут Диана не смеялась, тут она была тверда и непреклонна. Она объясняла мне, что нужно ломать ломтик хлеба руками, а не нарезать его ножом на аккуратные квадратики, что нужно намазывать маслом эти самые ломаные кусочки поштучно (бессмысленная, как казалось мне, трата времени), а заодно отучила меня заглатывать пищу с такой скоростью, словно я боюсь, что кто-то отнимет (манера, впитанная мною с детства, укрепившаяся и усилившаяся в окопах и возвращающаяся ко мне даже сейчас, на старости, если я перенервничаю). Мне нравилось у нее учиться. Я был ей благодарен, тем более что эти уроки преподносились с очаровательным юмором, в Диане не было ни грана педагогического занудства.

Конечно же, все это происходило не сразу. Прошло порядочно времени, прежде чем я сумел подняться с кровати, и еще больше – прежде чем начались эксперименты с длинной чередой протезов; когда же протез был наконец выбран, я начал учиться ходить. Сперва я передвигался на костылях, а так как многие мои мышцы, особенно на левой руке, обгорели так сильно, что от них мало что осталось, процесс обучения оказался весьма болезненным и продолжительным. Главной да и единственной моей помощницей была Диана. Я не только опирался на Диану в самом буквальном смысле слова, но нередко на нее же и падал. Сестра милосердия, она носила это звание по полному праву.

Когда появилась наконец такая возможность, она отвезла меня к себе домой и познакомила с каноником и Достопочтенной. В качестве наилучшего комплимента я скажу, что они были вполне достойны такой дочери, как Диана. Каноник оказался очаровательнейшим человеком, абсолютно не похожим на любого из виденных мною прежде священников, он никогда не говорил о религии, даже за воскресным обедом; как то и подобает хорошему пресвитерианину, я попробовал осторожно восхититься его утренней проповедью и порассуждать о ее ключевых моментах, однако каноник не был расположен обсуждать эту тему и перевел разговор на войну; человек прекрасно информированный, убежденный сторонник Ллойда Джорджа, он говорил очень здраво, не превращая нашу беседу в обычную для тех времен сессию нена-

висти; в Англии было много людей, подобных ему, хотя условия заключенного вскоре мира отнюдь не подталкивали к такому выводу. Достопочтенная была просто чудо и совсем не походила на чью-то мать. Острая на язычок, слегка фривольная, очень красивая, если принять во внимание возраст (сколько я помню, ей было тогда сорок семь лет), женщина, она болтала, как безмозглая дурочка. Но теперь-то я знал, что все это напускное, вот такой же точно будет в ее возрасте Диана, и мне это нравилось.

Какой полной грудью вздохнул я в доме Марфлитов! Для человека, прошедшего через то, через что прошел я, это было подобно чуду. Могу лишь надеяться, что я вел себя прилично и не болтал, как идиот. *Надеюсь*, ибо, что касается тех дней, я могу вспомнить и каноника, и Достопочтенную, и Диану, и какие чувства они у меня вызывали, но почти не помню, что делал и говорил я сам.

5

Скорее всего, обрывочность моих воспоминаний об этом периоде связана с тремя бесконечно долгими, выматывающими душу и тело годами войны. Вырвавшись наконец из этой бойни, я слишком упивался безопасностью и чистотой, чтобы уделить особое внимание происходящему вокруг. До госпиталя доносились глухие отклики войны – зловещие газетные сообщения, некоторые ограничения в питании (окопная кормежка была в десять раз хуже), – и все же я был счастлив пониманием, что самое плохое осталось позади, во всяком случае для меня. Мои планы были крайне просты: научиться ходить с костылями, а позднее на протезе и с палкой. Я не замечал в себе страстной любви к Диане, однако был ею увлечен, а еще больше – польщен ее вниманием. Солдат отвоевал свое и вкушал заслуженный покой.

В конечном итоге мы победили, госпиталь стоял на ушах, а на следующий после [11 ноября](#) день доктор Хаунин раздобыл машину и повез меня, еще одного мало-мальски способного передвигаться парня, Диану и еще одну сестричку в Лондон поглядеть, как там все ликуют. Ликование это не вызвало у меня особо радостных чувств, слишком уж оно смахивало на пехотную атаку. С момента своего ранения я ни разу не видел большого скопления людей; оглушительный шум и давка привели меня в состояние чуть не паническое; правду говоря, я и по сию пору плохо переношу шум и давку. Но я посмотрел на чужое веселье, и кое-что из виденного потрясло меня до глубины души. Люди, спасенные от уничтожения, тут же сами давали волю своим разрушительным инстинктам: вырванные из обстановки насилия и вседозволенности, они били друг друга, крушили все подряд и выкрикивали грязнейшие ругательства на улицах собственной столицы. Впрочем, я не вправе особенно жаловаться, ведь именно в ночь с 12 на 13 ноября в доме на Итон-сквер, принадлежавшем одной из тетушек Де Блакер, я впервые спал с Дианой, с молчаливого благословения тактично удалившейся тетушки (даже странно, как она это допустила? Лично мне союз моего изуродованного тела с безупречной красотой Дианы виделся чем-то до ужаса неподобающим). Так или не так, но это был мой первый опыт в данном направлении, потому что я и думать не мог, чтобы воспользоваться солдатским борделем либо услугами одной из легиона случайных девиц, охотно сблизившихся с людьми в военной форме. Диана имела уже предварительный опыт – думаю, с тем самым утнувшим на «Абукире» женихом, теперь же она передала этот опыт мне, с головокружительной нежностью, за что я буду вечно ей благодарен. Вот так мы с ней стали любовниками в самом полном смысле слова; для меня это был крайне важный шаг к полному обретению мужественности, навязанной мне до того в весьма одностороннем виде.

На следующий вечер знакомства и удачливость помогли Диане раздобыть два билета в Королевский театр на «[Чу-Чин-Чоу](#)». Я снова испытал огромное потрясение, пусть и совсем в ином роде, – ведь все мое прежнее знакомство с театром ограничивалось армейской самодеятельностью. За время войны я дважды использовал свои увольнительные для поездок (весьма

кратковременных) в Париж; не помню уж, на первый или на второй раз мне пришло в голову разыскать театр Робер-Гудена, однако это здание давно уже снесли. Можно только поражаться моей тогдашней наивности, поразительному отсутствию чувства исторического времени. Это чувство пришло ко мне гораздо, гораздо позднее.

Я тут, конечно, несколько наворотил, фактически поставил свою сексуальную инициацию на одну доску с посещением оперетки. Однако сейчас, глядя назад, я вижу, что два эти переживания при полной их несхожести отличались по своему психологическому воздействию далеко не так сильно, как можно подумать. И там и там передо мной раскрывались чудесные, неведомые горизонты, раскрывались в волнующей, головокружительной обстановке. Не следует забывать, что мое здоровье, как телесное, так и духовное, все еще оставалось крайне хрупким.

Следующим великим моментом моей жизни стало получение Креста Виктории непосредственно из рук короля. После того как доктор Хаунин сообщил, что сержант Рамзи в действительности жив, моя фамилия была повторно включена в очередной наградной список, уже без пометки «посмертно». В декабре мне пришло приглашение, я отправился на такси в Букингемский дворец и получил свой орден. Со мной была и Диана – я имел право пригласить одного человека по своему выбору, а что тут было выбирать? Все присутствовавшие в зале смотрели на нас с умилением: раненый солдат, да еще сопровождаемый очень хорошенькой сестрой милосердия, – по тому времени не было картины популярнее.

Большая часть подробностей почти стерлась из моей памяти, но кое-что осталось. Военный оркестр, укрытый в соседней комнате, играл попури из «Горянки» (как сообщила мне Диана), мы же все стояли по стенам, ожидая короля; в конце концов он появился в сопровождении нескольких помощников и занял место в центре зала. Когда подошла моя очередь, я проковылял вперед на своем протезе (производя при этом порядочный грохот) и вытянулся перед королем. Взяв из чьих-то рук орден, он приколол его на мою гимнастерку, затем пожал мне руку и сказал: «Я рад, что вы все-таки смогли сюда попасть».

Я все еще помню этот глубокий, чуть хрипловатый голос и невероятно аккуратную, волосок к волоску, бороду. Я был чуть не на голову выше короля, а потому смотрел в его голубые, чуть поблескивающие глаза сверху вниз; судя по всему, на монаршую шутку следовало ответить улыбкой, что я и сделал, а затем ретировался, организованно и в полном порядке.

Был, однако, момент, когда мы с королем глядели прямо друг другу в глаза, и в этот момент меня посетило озарение, смысл которого я хотел бы объяснить, хотя для этого и потребуется значительно больше времени, чем тогда, чтобы его испытать. Вот стою я, думал я, получая награду за героический подвиг, и все здесь присутствующие всерьез считают меня героем, но ведь я-то знаю, что этот подвиг был не более чем грязной работой, которую я исполнил, дрожа от страха; повернись обстоятельства чуть иначе, и я бы ничего такого не сделал, а просто бесславно погиб. Но это не имеет особого значения, потому что людям зачем-то нужны герои, не стоит только забывать истинное положение вещей; а так – почему бы и не я, ведь я ничем не хуже остальных. А передо мною стоит маленький, безукоризненно ухоженный человек, он награждает меня за подвиг на том лишь основании, что в ряду его пращуров числятся Альфред Великий и Карл Великий, а может, даже и король Артур, тут я просто ничего не знаю. И я бы совсем не удивился, узнав, что роль, отведенная ему судьбой, удивляет его ничуть не меньше, чем моя – меня. И он, и я – общественные идолы, символы: он – символ монархии, я – символ героизма, символы крайне необходимые при всей своей эфемерности, наши обязанности перед обществом превыше всего личного, и никакие чувства не должны заслонять нам этих обязанностей, допустить такое было бы все равно что самовольно оставить караульный пост.

Все это лишний раз подтвердилось в «Савое», на ланче с шампанским, устроенном для нас каноником и Достопочтенной; все они относились ко мне как к самому настоящему герою. Я же изо всех сил старался вести себя достойно – не показывать, будто я и сам верю в свой

героизм, но и не пороть ерунду насчет «я просто выполнил свой долг, на моем месте так сделал бы каждый» – поза, неизменно вызывавшая у меня отвращение. С того времени я стал милосерднее относиться к людям, занимающим видное положение того или иного рода. Если уж мы сами навязываем им роли, не будет ли справедливо воспринимать этих людей как актеров, не пытаясь дискредитировать их своими познаниями об их жизни вне сцены – если только они сами не выволокут ее к рампе, всем напоказ.

6

Вживание в роль героя было лишь частью работы, заполнявшей мое долгое пребывание в госпитале. Вернувшись в этот мир – я не говорю «придя в сознание», ибо мне и казалось, и кажется, что все время пребывания в так называемой коме я сохранял сознание, только на некоем другом уровне, – я должен был привыкнуть к положению человека с одной ногой и кошмарно ослабленной левой рукой. В нашем госпитале было много пациентов с ампутированными конечностями, и чуть не все они справлялись со своими увечьями значительно лучше меня, что и неудивительно, ведь я с детства не отличался особой ловкостью. «Скоро никто и догадаться не сможет, что у тебя протез», – хором повторяли Диана и врач, но я не принимал их заверений всерьез и оказался, к сожалению, прав: мне так и не удалось умение ходить не прихрамывая, а тросточка так и осталась моим лучшим другом, без нее я чувствую себя крайне неуверенно. Что еще. Я был абсолютно здоров психически, однако крайне слаб физически, к чему добавлялось нечто вроде легкого головокружения, которое делает все мои воспоминания о том времени несколько сумбурными. При этом мне нужно было вжиться в роль героя, то есть, с одной стороны, не позволить себе поверить в подлинность своего героизма, а с другой – не оскорблять людей доверчивых в их лучших чувствах. А еще что-то решить насчет Дианы.

В наших с ней отношениях было нечто ирреальное, и дело тут совсем не в моем головокружении. Я не скажу о Диане ничего плохого и никогда не забуду, что это она открыла мне телесную сторону любви; ее красота и бесповоротная решительность как ничто другое помогли мне забыть грязь и убожество окопной жизни. Но разве мог я не видеть, что она воспринимает меня как свое создание? А почему бы и нет? Разве не она кормила меня и умывала все эти месяцы, разве не она выманила меня в этот мир из того, дальнего? Разве не она терпеливо учила меня ходить – и выучила, несмотря на всю мою неуклюжесть? Разве не она преподавала мне навыки пристойного поведения за столом и в обществе? Все это так – и этого вполне достаточно, чтобы понять, в чем состояла неправильность наших отношений с Дианой: слишком уж во многом она являлась для меня матерью, а так как у меня была уже однажды мать, я отнюдь не спешил завести себе новую, пусть даже юную и прекрасную, с которой я мог бы играть в Эдипа хоть до посинения. Я был готов на все, лишь бы не стать снова «моим дорогим мальчиком», чьим бы то ни было.

Это решение сформировало всю мою дальнейшую жизнь – в каких-то отношениях даже ее изуродовало, – однако я так и пребываю в твердой уверенности, что сделал как лучше. В больничном покое я всесторонне обдумал свое положение и пришел под конец к следующим выводам: я сполна расплатился с обществом за все, что оно мне дало или даст в будущем, расплатился ногой и значительной частью руки, а это – валюта твердая. Общество увидело во мне героя, и, хотя я был ничуть не большим героем, чем многие другие, сражавшиеся со мной бок о бок, и заведомо меньшим, чем некоторые из тех, кто погиб, делая то, на что у меня никогда не хватило бы духу, я решил позволить обществу видеть во мне все, что ему заблагорассудится; я не буду на этом спекулировать, но и возражать тоже не буду. Со временем я получу пенсию, а сейчас Крест Виктории даст мне скромные, но приличные пятьдесят долларов в год. Я приму эти вознаграждения и скажу спасибо. Но при этом я хочу, чтобы моя жизнь полностью принадлежала мне, впредь я буду жить для своего удовольствия.

В этой схеме не было места для Дианы. Она-то сама ожидала, что есть, и я поступил не слишком честно, не остудив ее ожиданий сразу, как только о них догадался. Говоря начистоту, мне нравилось с ней, ее любовь питала мой дух, пребывавший тогда в упадке. Мне нравилось спать с ней, но ведь и ей это нравилось, так что я считал, что здесь мы квиты. Но совместная жизнь? Как заведено у девушек, Диана считала само собой разумеющимся, что мы плавно движемся к обручению и свадьбе; после свадьбы, как только я окрепну, мы переедем в Канаду – об этом никогда не говорилось прямо, но я ничуть не сомневался в своих догадках. Ровно так же я практически уверен, что Диана рисовала в своем воображении большую, хорошо поставленную зерновую ферму где-нибудь на Западе, ведь она пребывала в типичном для англичан заблуждении, что нет ничего лучше здоровой крестьянской жизни. Я-то сам посмотрелся на крестьянскую жизнь предостаточно и хорошо понимал, что она не для дилетантов. И не для калек.

Дважды в месяц Диана появлялась у моей кровати с отстраненным выражением на еще более прекрасном, чем в прочие дни, лице и вручала мне письмо от Леолы Крукшанк; я обреченно вздыхал. Эти письма не доставляли мне ничего, кроме глубокой неловкости: унылые, бессодержательные, невразумительные по изложению, они не имели ничего общего с той Леолой – кудрявые локоны, мягкие губы, жаркий шепот, – которую я помнил. Диана знала, что мой постоянный корреспондент – девушка, бесхитростный почерк Леолы говорил сам за себя, а так как больше мне никто не писал, ей было легко догадаться, что девушка эта особенная. Я не мог бы объяснить ей, в чем состоит эта особенность, потому что напрочь не помнил, что именно наобещал я Леоле; вот, скажем, как считается – помолвлены мы с ней или нет? Мои ответные письма (я писал их потихоньку от Дианы и сам с превеликими мучениями относил на почту) были предельно уклончивы, вернее – настолько уклончивы, насколько позволяла мне совесть; я старался формулировать их таким образом, чтобы выудить из Леолы указания или хотя бы намеки, как именно представляет она себе наши с ней отношения, выудить, не выражая при этом свою собственную позицию. Только все это были тонкости, далеко превосходившие Леолино разумение, она не отличалась особым писательским даром и попросту монотонно пересказывала мне дептфордские сплетни (лишая их всякой соли) и неизменно заключала свою писульку фразой: «Все с нетерпением ждут твоего возвращения домой и очень хотят тебя увидеть. С приветом, Леола». Что это – холодность или девическая застенчивость? Я размышлял над этой дилеммой чуть не до головной боли, но так ничего и не решил.

Одно из Леолиных писем пришло незадолго до Рождества, которое я должен был встретить с семейством Марфлитов. По случаю конца войны каноник разрешился от своего трезвеннического обета, так что празднование обещало быть веселым. В армии я научился пить неразбавленный ром, так что ничего теперь не боялся. Однако в канун Рождества Диана исхитрилась поговорить со мною с глазу на глаз и прямо спросила, что это за девушка пишет мне из Канады и состою ли я с ней в связи. Она так и сказала – «в связи». Я давно опасался этого вопроса, но так и не заготовил на него ответа, а потому начал пороть какую-то чушь и заикаться и вдруг подумал, что при данных обстоятельствах имя Леолы звучит как-то неуклюже и подеревенски, и тут же возненавидел себя за эту мысль. Безнадежный осел, я пытался сохранить какое-то подобие верности Леоле, не причиняя при этом боли Диане, и чем больше я говорил, тем дальше загонял себя в угол. Вскоре Диана уже плакала, я же утешал ее как мог. При этом я ни на секунду не забывал о своем главном решении – решении ни в коем случае не доводить дело до помолвки, что заставляло меня прибегать к головоломной словесной эквилибристике, каковая, в свою очередь, привела к неизбежному результату: размолвка переросла в самый настоящий скандал.

По тому времени канадцы пользовались в Англии двойственной репутацией стойких, не слишком цивилизованных, неукротимых в бою вояк, относящихся, к сожалению, к женщинам с такой же безжалостностью, что и к врагу. И вот сейчас Диана причислила меня к этим мифи-

ческим чудовищам – на том основании, что якобы я заставил ее раскрыть передо мной свои чувства, не находящие у меня взаимности. Как последний дурак, я парировал, что она вроде бы достаточно взрослая, чтобы разбираться в своих мыслях и чувствах. Ага, сказала Диана, вот оно, значит, в чем дело! Все дело в том, что я старше тебя, такая тебе тертая, бывалая штучка, которая может сама о себе побеспокоиться, так что ли? Никакая, конечно, не тертая, но что ни говори, ты же была уже обручена, так ведь? – заявил я с прямолинейностью, от которой сейчас меня бросает в краску. Вот-вот, почти обрадовалась Диана, все один к одному. Далее она сказала, что я считаю ее чем-то вроде одежды с чужого плеча, что у меня хватает наглости поставить ей в вину, что она отдала себя человеку, погибшему смертью героя в первые же недели войны. Я все время смотрел на нее как на игрушку, на приятное времяпрепровождение, она же полюбила меня за мою кажущуюся слабость и незащищенность, не догадываясь, какая черствая, закостеневшая натура кроется под этой оболочкой. И так далее и тому подобное.

Как то и бывает, мало-помалу наше общение приняло иной характер, мы облегченно вкушали радости примирения, но вскоре Диана пожелала знать – просто так, из благожелательности, – насколько далеко я зашел в своих обещаниях Леоле. Слишком молодой для правдивости в таких вопросах, я не рискнул признаться, что и сам очень хотел бы это знать. Не получив вразумительного ответа, Диана подошла к проблеме с другой стороны. Тогда скажи, потребовала она, испытываешь ли ты страсть к этой Леоле? На этот раз я мог с чистой совестью ответить, что нет. Тогда вся твоя страсть направлена на меня, заключила Диана со специфически женской, ошеломительной для мужчин логикой. Я пустился в долгие рассуждения о «страсти» и «любви», я никогда не понимал, сказал я, что имеют в виду люди, говорящие о «страсти». Я могу сказать, что я тебя люблю, сказал я Диане (и это было правдой), но что касается страсти... Чушь, которую я порол, не отложилась в моей памяти, а если бы и отложилась, я не стал бы ее здесь излагать.

Диана тут же сменила тактику. Ты слишком интеллектуален, сказала она, а потому пытаешься применять анализ к проблемам, в которых единственным верным советчиком является чувство. Если я говорю, что люблю ее, ей этого достаточно. Но как мы распорядимся своим будущим?

Я не хотел бы создавать впечатления о Диане как о чрезмерно хитрой особе, но должен в то же время заметить, что она очень даже умела настоять на своем – не мытьем, так катаньем. Диана имела совершенно четкое представление, как мы должны распорядиться своим будущим, я же – никакого, о чем она, как мне кажется, знала. Поэтому она задавала этот вопрос не для того, чтобы выслушать мое мнение, но просто чтобы проинформировать меня о своем. Но я-то тоже был не лыком шит. Я сказал, что война была для меня таким потрясением, что я очень плохо представляю себе свое будущее, и уж во всяком случае мне никогда и в голову не приходило предложить ей связать свою судьбу с таким калекой, как я.

Это оказалось грубейшей ошибкой. Диана так страстно зашла насчет чувств, вызываемых у порядочной женщины человеком, тяжело пострадавшим на поле брани, – не говоря уж о человеке, получившем высшую награду за отвагу, – что я дрогнул перед этим напором и чуть было не предложил ей руку и сердце. Глядя назад на себя тогдашнего, вспоминая, как я вел себя во время этого разговора, я неизменно ощущаю стыд и даже омерзение. С каким завидным упорством отвергал я любовь этой девушки – и чуть не попался на элементарную лесть. И я ничуть не подвергаю сомнению искренность Дианы, в ней не было ни капли лицемерия. Однако она была возвращена на духовной диете героизма, Империи, порядочности, а также эмоционального превосходства женской половины рода человеческого и могла рассуждать о таких вещах, ничуть не краснея, как священники о Боге. А мне было всего двадцать.

Что это была за ночь! Мы проговорили до трех, безнадежно запутывая (в обычной для молодежи манере) и так непростую ситуацию бесконечными оговорками, изо всех сил стараясь не сделать друг другу больно, – и это притом, что Диана хотела выйти за меня замуж, я же отча-

янно сопротивлялся этой идее. Однако, как я уже говорил выше и готов подтвердить, Диана была девушкой редкой, исключительной; окончательно осознав, что меня не переломишь, она с честью капитулировала.

– Ну что ж, – сказала она, сидя на диване и приводя в порядок свою прическу (добросовестно отыскивая выход из нашего запутанного положения, мы оказывались иногда в положении весьма запутанном, так что мой новейший протез протестующе скрипел), – раз мы не женимся, об этом можно забыть. Но ты-то, Данни, ты-то что будешь делать? Думаю, ты не намерен жениться на этой девушке с именем, как у средства от перхоти, и зарабатывать на жизнь изданием отцовской газетки, так ведь? Ты достоин лучшей участи.

Я охотно согласился, что я, конечно же, достоин лучшей участи, только еще не знаю, что это может быть за участь, и нуждаюсь во времени для раздумий. Кроме того, я был твердо уверен, что думать мне нужно в одиночку. Я умолчал, что мне предстоит еще хорошенько разобраться с вопросом о маленькой Мадонне, – умолчал, ибо в противном случае Диана с ее традиционным христианским воспитанием и безбрежной сентиментальностью тут же принялась бы объяснять мне, что к чему, причем все эти объяснения были бы напрочь неверными, во всяком случае так подсказывала мне интуиция. Зато я сказал ей, что заранее понимаю, каким препятствием станет для меня отсутствие формального образования, а потому хочу так или иначе поступить в университет; вернувшись в Канаду и разобравшись в обстановке, я, пожалуй, сумею это сделать. Не так-то просто изложить на бумаге свой разговор с девушкой, тем паче разговор, происходивший в подобных обстоятельствах; короче говоря, я всячески давал ей понять, что мне нужно еще повзрослеть, а для этого необходимо время. Война не придала мне зрелости, я – нечто вроде куска мяса, подгоревшего с одной стороны и сырого с другой, вот над этой-то сырой стороной мне и нужно работать. И я поблагодарил ее, как уж там сумел, за все, что она для меня сделала.

– Позволь мне тогда сделать для тебя одну вещь, – сказала Диана. – Я хотела бы дать тебе другое имя. И как это, к слову, тебя угораздило получить имечко Данстэбл?

– Это девичья фамилия моей матери, – сказал я и добавил, видя ее недоумение: – В Канаде такое совсем не редкость, когда у человека имя по девичьей фамилии матери. А чем тебе не нравится мое имя?

– Во-первых, тем, – загнула палец Диана, – что его враз и не выговоришь. А во-вторых, оно гроыхает, как телега по булыжникам. Ну на что может надеяться человек с именем Дамблдам Рамзи? Почему бы тебе не сменить его на Данстан? Отличный он был мужик, [святой Данстан](#), и сильно смахивал на тебя: жадный до учения, кошмарно хмурый, суровый и чопорный и прямо-таки чудесник в сопротивлении всем и всяческим искушениям. Знаешь ли ты, что сделал святой Данстан, когда дьявол явился к нему в образе роскошной, пальчики оближешь, женщины? Он поймал ее за нос щипцами и крутанул что было сил.

Я схватил ее за нос и крутанул, что едва не разрушило наше с таким трудом достигнутое согласие, но через какое-то время мы снова помирились и разговорились. Мне пришла в душу идея о новом имени, в ней звучало обещание новой свободы и новой личности. Получив мое согласие, Диана сходил за отцовским портвейном, плеснула мне на голову и произнесла формулу крещения. Легкомысленная небрежность, с какой англиканцы (Диана, конечно же, принадлежала к этой конфессии) относятся к святыням, все еще поражала мою неискоренимую пресвитерианскую сущность, однако я не затем месил кровавую грязь Пашендаля, чтобы придавать особое значение таким мелочам; если святотатство служит правому делу (каковым, по странному стечению обстоятельств, неизменно оказывается наше дело), с ним совсем не трудно примириться. Итогом этой ночи стали два чудесных изменения: мы с Дианой были теперь не любовники, а друзья, и я получил прекрасное новое имя.

Рождество прошло даже лучше, чем я ожидал. Нет сомнений, что родители Дианы понимали, куда ветер дует, и были достаточно благородны, чтобы не вмешиваться, если мы и

вправду решим пожениться. Однако они испытали явное облегчение, когда мы передумали. Не знаю уж, откуда они узнали, но родители, как правило, оказываются далеко не такими глупыми, как то кажется детям, и я подозреваю, что Достопочтенная сразу унюхала в утренней атмосфере нечто новое. Да и то сказать, каково было им отдавать свою дочь за человека на четыре года младше, находящегося в плачевном физическом состоянии, вышедшего из совершенно иной общественной прослойки, и чтобы молодые тут же уехали искать счастья в чужой, непонятной стране? Так что они были счастливы, я был счастлив, да и Диана была, как мне кажется, далеко не несчастна (в чем она не призналась бы никогда и ни за что).

Она полюбила меня как творение собственных рук, однако, реши мы в ту ночь иначе, вскоре ей тоже стало бы ясно, что наш брак не имел ни малейших шансов на успех. Так что в то Рождество я лишился возможной жены, приобретя взамен троих очень хороших друзей.

7

Возвращение в Канаду несколько затянулось из-за армейской волокиты и моего, как считалось, хрупкого здоровья, однако в первых числах мая я вышел из поезда на знакомый перрон и сразу попал в руки Орвилла Кейва, старосты нашего муниципального совета; покончив с приветствиями, он усадил меня в машину и повез по дептфордским улочкам в качестве главного зрелищного элемента торжественной процессии.

Все это великолепие было давно и тщательно спланировано, я знал о нем заранее, из письма, и все же не мог не поразиться. Четыре года войны создали в Дептфорде совершенно новую, неожиданную для меня атмосферу; если прежде здешние обитатели практически не интересовались происходящим в мире, то теперь я увидел нашего городского сапожника Мозеса Ланжирена в некоем отдаленном подобии французского мундира, он получил роль маршала Фоша на более чем серьезных основаниях – как единственный франкоязычный канадец на многие мили вокруг и как обладатель огромных седых усов. Здесь же присутствовал высокий, незнакомый мне юнец в костюме дяди Сэма. Джонов Буллей было аж двое – из-за ошибки организаторов, исправить которую, никого при этом не обидев, не представлялось возможным. Сестры милосердия наличествовали в полном ассортименте – штук шесть, а то и семь. Кейти Орчард, знаменитая в школьные годы своими большими ногами, сейчас же сплошь обмотанная бинтами и с повязкой через глаз, персонифицировала Маленькую Отважную Бельгию. Все они вместе с уймой прочих горожан, одетых в нечто неопределенно-патриотическое, образовали процессию в высшей степени аллегорическую, каковая продвигалась по нашей главной улице, имея во главе оркестр из семи медных духовых инструментов и громopodobного барабана. За оркестром ехали мы со старостой в открытом «грей-дорте», далее следовала орава весело разодетых детишек; визжа и приплясывая, они мучили и всячески обзывали Майрона Паппла, который преобразил себя в кайзера Вильгельма посредством больших накладных усов с острыми, лихо закрученными кверху кончиками. Майрон прыгал и кривлялся, забавно изображая сумасшествие и полное отчаяние, причем делал это с живостью необыкновенной, заставляя поневоле задуматься, долго ли выдержит подобную нагрузку он, человек весьма корпулентный. Наш городок совсем невелик, что позволило процессии обойти его весь, до последнего закоулка, а уж главную-то улицу пройти вверх и вниз не менее трех раз и завершить эту начальную стадию празднества к двум сорока пяти, и это притом, что я сошел с поезда в половине второго. Странное это было шествие, страннее я не видел ни до ни после, однако его устроили в мою честь, так что я не имею права смеяться. Оно представляло собой дептфордскую версию древнеримского триумфа, и я старался соответствовать важности события: выглядел сурово и достойно, салютовал каждому попавшемуся на пути флагу с размерами не менее двенадцати на восемь дюймов и уделял особое внимание старейшим из граждан.

По завершении шествия и до банкета в мою честь, назначенного в доме старосты на половину шестого, меня упрятали в «Дом Текумзе». Упрятали в самом буквальном смысле слова – сограждане рассудили, что негоже ожидающему апофеоза герою слоняться по улицам, как обычному человеческому существу, а потому засунули меня в лучший номер нашей гостиницы, пришили на дверь канадский красный флаг и дали бармену Джо Галлахеру строгое указание никого ко мне не подпускать.

Я сидел у окна, глядел вверх извозничьего двора на пресвитерианскую церковь Святого Иакова, пытался читать «Войну и мир» (фронтальная мечта о пухлых длинных романах стала явью), однако нервное возбуждение заставляло меня закрыть книгу, и тогда я просто горестно поражался, как меня угораздило попасть в такую ситуацию, да когда же, думал я, я вновь обрету свободу делать все, что мне заблагорассудится.

Программа, составленная для меня согражданами на этот день, не предусматривала никаких таких свобод. В шесть я торжественно обедал у старосты; гостей было так много, что нас пришлось расположить на дворе за складными столами. Мы поглощали холодную курятину и ветчину, картофельный салат и соленья разнообразия наипоразительнейшего, равно как и внушительные количества мороженого, пирогов и печений. Затем мы залили упакованную в желудки провизию многими кружками крепкого горячего кофе. Затем, со всей величием, приличествующей главным участникам чрезвычайного события, мы переместились в ательстановский оперный театр, прибыв туда за благопристойные десять минут до назначенного на половину восьмого начала.

Мало удивительного, если наличие в столь жалком поселке собственного оперного театра вызовет у вас удивление, но тут я должен пояснить, что это был по существу наш главный зал собраний и располагался он на втором этаже ательстановского дома, каковой являлся главным деловым центром нашего поселка и был выстроен не из обычного для нас дерева, а аж из кирпича. В то же время это был и театр, самый настоящий, с настоящей сценой и умопомрачительным занавесом, на котором был изображен, так сказать, интегральный пейзаж, составленный из всего самого романтического, что есть в Европе; прошло много лет, но я все еще помню замок на берегу лагуны и гондолы, снующие среди кораблей покрупнее, направляющихся, судя по всему, в Неаполь, расположенный прямо у подножия заснеженных Альп. Пол в театре был горизонтальный, чтобы удобнее танцевать, для компенсации чего сцену наклонили вперед, к рампе, под таким крутым углом, что, сидя там на стуле, ты непрерывно ощущал опасность соскользнуть или сверзиться. Не знаю уж, сколько людей помещалось в зале, но сегодня там было не продохнуть, люди сидели и в проходах на позаимствованных в похоронном бюро стульях, многие просто стояли.

Мы со старостой и прочие нотабли поднялись по черной лестнице, продрались сквозь залежи театрального хлама на сцену и расселись на приготовленных для нас стульях. Гул зала, доносившийся из-за опущенного занавеса, почти заглушал звуки местного оркестрика (рояль, скрипка и тромбон). Чуть после назначенного времени – чтобы пустить припоздавших, как объяснил мне староста, хотя ни один припоздавший не сумел бы втиснуться в этот переполненный зал, – занавес поднялся (угрожающе качнувшись при этом внутрь, в нашу сторону), и зал увидел нас на фоне декоративного задника, изображавшего густой ядовито-зеленый лес. Мы сидели в два ряда; на длинном столе перед нами стояли два графина с водой и целая дюжина стаканов, дабы ораторы могли при нужде утолить свою жажду. Роскошная была у нас компания: три священника, мировой судья, член парламента и член Законодательного собрания штата, председатель школьного совета и семеро членов местного муниципального совета, плюс к тому мы со старостой. Полагаю, мы сильно смахивали на клоунов погорелого цирка. Из всей нашей сценической братии один я был в военной форме, однако в первом зрительном ряду таких насчитывалось еще шестеро, правый фланг этой боевой группы занимал Перси Бойд Стонтон с майорскими погонами; бок о бок с ним сидела Леола Крукшанк.

На безымянном пальце ее левой руки виднелось кольцо с крупным бриллиантом. Диана посвятила меня во всякие светские тонкости, так что теперь я без труда прочел послание, протелеграфированное мне выблисками этого бриллианта во время бурных аплодисментов, сопровождавших наше явление народу. Был ли я поражен в самое сердце? А может, я побледнел как полотно и ощутил тщетность и суетность всякой земной славы? Ничего подобного, я, скорее, обрадовался. Одна из проблем, связанных с моим возвращением в родные пенаты, разрешилась сама собой. И все же я несколько разозлился на Леолу, что эта зараза даже не потрудилась известить меня о таком развитии событий в одном из своих писем.

Причину, приведшую такую прорву людей в этот зал, ясно обозначали «Юнион Джек», которым был застлан наш стол, и транспарант, подвешенный прямо к верхней кромке ядовитых джунглей. «Родной город приветствует своих отважных сынов, вернувшихся с фронта», – кричал он красным и синим по белому. При первых же звуках гимна все мы вытянулись по стойке смирно и так и стояли, пока рояль, скрипка и тромбон наяривали «Боже, спаси короля», «О Канада», а для полного комплекта еще и «Вечный кленовый лист». Но и потом мы не набросились с непристойной жадностью на изысканнейшие блюда этого вечера. Нет, мы начали с патриотического концерта, иже долженствовал отточить остроту наших переживаний до последнего мыслимого предела.

Мьюриел Паркинсон усладила наш слух песней про «Алую розу ничейной земли»; когда она провизжала (ее поразительный громкий голос был, как говорится, тонок да нечист): «Но посреди свинца, огня и дыма стояла медсестра неколебимо», – многие потянулись за платочками. Затем она спела весьма популярную в годы войны песню про Жанну д'Арк, отдав таким образом должное Франции, нашей великой союзнице. За Мьюриел последовало дитя женского полу, неизвестное мне до тех пор. Одетое под индианку, все в бусах и перьях, дитя продекларировало стих Паулины Джонсон «Рожденный в Канаде», что заставило меня обратить внимание на отсутствие в зале одного из «Отважных сынов», а именно Джорджа Маскрата, индейца-снайпера, который отщелкивал немцев с той же изящной легкостью, что и канадских белок. Джордж не отличался особой респектабельностью (он надирался до чертиков ванильным экстрактом, имеющим спиртовую крепость градусов эдак восемьдесят, а потом орал на улицах); по этой или еще по какой причине он не получил никаких наград.

Кто-то крикнул женскому дитяти бис, оно тут же согласилось и отбарабанило порядочную часть своего второго номера еще до того, как смолкли аплодисменты после первого. Затем по не вполне понятной причине другая девочка сыграла две фортепьянные пьески, довольно неважно; одна из пьесок называлась «Chanson des Fleurs», а вторая – «La Jeunesse», возможно, устроители вечера решили, что в тот раз с Жанной д'Арк мы чего-то там недодали французам. Затем нас «развлекал» местный остряк по имени Мюррей Тиффин; Мюррея нередко приглашали «поразвлекать» на церковных вечеринках, однако случай продемонстрировать свой талант перед такой большой аудиторией представился ему впервые, и он вкалывал, как ломовая лошадь, стараясь развеселить нас загадками, имитациями и анекдотами, древними по происхождению, но перекроенными под местную обстановку.

– Что такое верх храбрости? – вопрошал он у зала. – Поехать в Африку и застрелить льва? Нет, *это* далеко не верх храбрости. Захватить в одиночку немецкое пулеметное гнездо? – (Оглушительные аплодисменты, во время которых я, худший актер в мире, пытаюсь изобразить скромность пополам с весельем.) – Нет! Верх храбрости – это прийти в субботу вечером в одну минуту седьмого на дептфордскую почту и попросить у Джерри Уильямса центовую марку! – (Громовой безудержный хохот, люди подталкивают друг друга локтями и оглядываются на почтмейстера, тот же при всей склочности своей натуры пытается выглядеть таким рубахой-парнем, который любит и понимает хорошую шутку.)

Затем Мюррей отмочил еще пару пенок про то, насколько дешевле покупать бакалею в Боулз-Корнерс, чем даже воровать ее у дептфордских лавочников, и прочее и прочее из того

разряда перлов остроумия, что не тускнеют с годами и не приедаются от частого использования. Я потеплел к старику Мюррею, потому что его остроумие сильно смахивало на мое, которое обеспечило мне успех в роли Чарли Чаплина, с той единственной разницей, что он совсем не похабничал, да и как бы ему в такой-то аудитории.

Когда Мюррей персонально оскорбил чуть не половину присутствующих и привел в полный восторг их всех коллективно, его сменил староста, начавший свою речь словами: «Но если взять более серьезную ноту...»

Он пилил на этой ноте минут десять, а то и больше. Мы с вами пришли сюда, сказал он, чтобы отдать дань уважения тем членам нашей общины, кто рисковал своей жизнью, защищая свободу. Когда он закончил, методистский священник пространно объяснил нам, как это похвально – рисковать своей жизнью, защищая свободу. Затем отец Риган торжественно зачитал имена одиннадцати уроженцев нашего крошечного клочка земли, погибших на войне, одним из них был Вилли; думаю, только в этот момент я окончательно осознал, что никогда его больше не увижу. Преподобный Дональд Фелпс долго и красноречиво молился за то, чтобы они навсегда остались в наших сердцах, и если Господь, пока шла война, не особенно ею интересовался, к тому моменту, когда Фелпс закончил и сел, Он сильно расширил Свои познания по этому вопросу – с нашей, конечно же, точки зрения. Член Законодательного собрания обещал, что не станет нас долго задерживать, и проговорил сорок минут про будущее и как мы им распорядимся, возводя его здание на жертвах этих четырех лет, особо углубившись в проблему расширения и улучшения дорожной сети. Затем на нас спустили члена парламента. Он проговорил битый час (битый час и три минуты), густо разбавляя патриотизм партийной политикой, и не оставил у собравшихся никаких сомнений, что [Ллойд Джордж, Клемансо и Вудро Вильсон – парни, конечно же, приличные, однако человеком, который довел войну до успешного завершения, является сэр Роберт Борден, и только он.](#)

[К этому моменту на часах было десять,](#) и даже страстная любовь моих сограждан к ораторскому искусству (присущая, впрочем, и всем моим соотечественникам) заметно поуявля. Теперь их удерживало в зале одно лишь ожидание торжественнейших событий вечера. Как только зад парламентария коснулся стула, староста сделал второй заход. Чтобы Дептфорд никогда не забыл тех, кто сражался и вернулся с полей сражений, сказал он, а также чтобы наши герои никогда не забывали о благодарности Дептфорда, каждому из них будут вручены часы с гравированной надписью. И это будут не обычные часы, но железнодорожные часы, имеющие гарантию показывать верное время в любых, самых суровых условиях и чуть ли не до окончания века. Мы понимали достоинства этих часов, потому что сын старосты Джек был железнодорожником, работал проводником на великой магистрали и он всегда божился, что такие часы самые лучшие, лучше не бывает. Вручением часов занялись сам староста и законодатель, по три штуки каждый.

Когда выкликалось очередное имя, один из сидевших в первом ряду ветеранов поднимался по ступенькам к боковой дверке, ведущей за кулисы, протискивался сквозь декоративные джунгли и выходил на середину сцены, тем временем его родственники и все кому не лень орали, топали ногами и свистели. И только Перси Бойд Стонтон, вызванный на закуску как единственный офицер, сумел принять награду со стилем и достоинством; выходя на сцену, он надел фуражку, получив же от законодателя часы, четко ему отсалютовал, затем повернулся и отсалютовал зрителям. Эффект получился потрясающий, зал оглушительно хлопал, я тоже хлопал и улыбался, ощущая при этом жгучую зависть.

А ведь мне стоило быть повеликодушнее, ведь я, седьмой, кавалер КВ, был единственный, кто удостоился места на сцене, и единственный, кто получил часы из рук члена парламента, по коему случаю он разразился речью. «Сержант Данстэбл Рамзи, – сказал он, – сегодня я хочу воздать должное вашему героизму...» Эта тягомотина затянулась надолго, хотя я и не знаю, насколько надолго, потому что тогда, стоя перед ним, я чувствовал себя полным идио-

том и самозванцем, чего не было, когда я стоял перед королем. В конце концов он вручил мне те железнодорожные часы; я оставил свою фуражку в гостинице и не мог отдать ему честь, а потому только кивнул, вроде как поклонился, а потом кивнул зрителям, они опять кричали и топали, и даже, пожалуй, дольше, чем Стонтону. Но мои чувства находились в таком смятении, что ничто меня уже не радовало, я хотел одного – уйти отсюда, и поскорее.

Все это действие завершилось хоровым исполнением «Боже, храни короля» в хитром варианте: Мьюриел Паркинсон пела какие-то там куски одна, а мы, остальные, вступали, когда она подаст знак; к сожалению, нашлось несколько непонятливых, которые пели всю дорогу вместе с ней, что малость смазывало эффект. Далее мы были свободны, однако никто не торопился уходить; пробравшись сквозь холщовую чашобу, я спустился в зал и тут же попал в кольцо старых дружков и знакомых, каждый из которых хотел поговорить со мной и пожать мою мужественную руку. Я вырвался из этого оцепления со всей возможной скоростью, поставившись, конечно же, никого не обидеть и никого не пропустить, – у меня еще было некое дельце, задуманное во время часовой речи Члена, и я хотел проверить его при максимальном количестве зрителей. После непродолжительных поисков я отловил Перси, долго, с чувством тряс ему руку и затем облапил стоящую рядом Леолу и впился ей в губы поцелуем весьма, по дептфордским понятиям, интимной длительности.

Леола была из тех девушек, которые целуются с закрытыми глазами, но я-то свои закрывать не стал и с интересом смотрел, как бешено крутятся под ее веками глазные яблоки; до армии я фактически не умел целоваться, но Диана обучила меня кой-чему по этой части.

– Дорогуша! – радостно заорал я, не выпуская Леолу из рук. – Ты не представляешь, как это здорово встретиться с тобой снова!

Перси нервно улыбался. Прилюдные поцелуи не были в то время такой заурядной вещью, как теперь, а в нашем городке и подавно.

– Данни, – неуверенно начал он, – мы с Леолой хотели открыть тебе небольшой секрет... ну, может, и не секрет, скоро об этом все узнают... но нам бы хотелось, чтобы ты услышал первым... не считая, конечно же, наших семей... одним словом, мы обручились.

Тут он растянул свою мужественную ухмылку от уха до уха; по собравшейся вокруг нас толпе пробежал веселый смешок, кто-то захлопал в ладоши.

Я досчитал до трех, чтобы обеспечить приличествующую обстоятельствам продолжительность паузы, а затем снова встряхнул его пятерню, проорал дурным голосом: «Ну что ж, побеждает сильнейший!» – и снова поцеловал Леолу, не так длительно и по-хозяйски, как в прошлый раз, а только чтобы всем было ясно, что вот было честное соревнование и, сложись все иначе, победа могла достаться мне, – во всяком случае, в предварительном забеге я показал вполне приличный результат.

Сцена вышла что надо, я давно не получал такого удовольствия. Перси щеголял кое-какими наградами, но все это, кроме симпатичного ордена «За безупречную службу», была мелочь, мусорок, по большей части медали за участие в том или сем. Как уже было сказано, актер из меня аховый, однако в тот момент я сумел грубо, но убедительно сыграть героя, непобедимого на полях Марса, но наголову разгромленного в садах Венеры. Думаю, в Дептфорде и сейчас найдутся люди, не забывшие этот спектакль.

Да, конечно, злую разыграл я комедию, бессовестную. Но только Перси со своим блестящим офицерским мундиром завел меня с пол-оборота, как и всегда, а что до Леолы, я искренне радовался, что с ней покончено, и столь же искренне возмущался, что она уходит к другому. Я обещал вести этот рассказ со всей, какая уж мне доступна, откровенностью, а потому не стану прикидываться этакой беззлой овечкой и прямо признаюсь: да, есть в моем характере злобность, и в немалых количествах.

Эта сцена поставила нас в одно из тех странных положений, которые навязываются людям судьбой, ибо для толпы, а значит, и для всего Дептфорда, и для всего мира, ибо мир сузился в

этот момент до размеров Дептфорда, мы являлись главными звездами вечера: двое мужчин – герой, потерявший на фронте левую ногу, и богатый красивый молодой человек, тоже герой, но чуть поменьше, – добивались руки прекраснейшей в городе (в мире!) девушки, и вот победитель назван. Мы представляли собой зримое воплощение роскошной сентиментальной истории, а потому было бы крайне бестактно – все равно что плюнуть судьбе в лицо, – если бы мы не остались вместе, не дали бы людям поглазеть на нас, поразмышлять о нас, посплетничать. Вот так, всем классическим любовным треугольником мы и двинулись к праздничному костру.

Костер был устроен рядом со зданием, вмещавшим нашу мэрию, а также городскую библиотеку, суд и пожарную часть, он являлся, по сути, антитезой, карнавальным завершением недавнего торжественного действия. В оперном театре все было до крайности серьезно, горожане приветствовали юных героев, поминали погибших и внимали умудренным старцам, здесь та же самая публика вела себя весело и непринужденно, между взрослыми шныряли возбужденные ожиданием каких-то событий дети, то тут, то там раздавался громкий, ничем вроде бы не вызванный смех. Но вскоре все изменилось. Вдали загремели кастрюли и сковородки, задудели жестяные дудки, шум все нарастал, и наконец на главной улице появилась процессия, освещенная дымным багровым пламенем метелок, пропитанных мазутом; здесь снова были маршал Фош, два Джона Булля, дядя Сэм, Маленькая Отважная Бельгия и целая команда ряженых, тащившая на веревке дептфордского кайзера, толстого Майрона Паппла, чьи теперешние ужимки и прыжки так же превосходили все продемонстрированные им утром, как предсмертная ария оперного тенора превосходит его же воздыхания о возлюбленной из первого акта.

«Вздернуть его!» – кричали представители (от слова *представление*) стран-победительниц, и люди на площади подхватили этот крик. «Вздернуть его! – редела толпа. – Вздернуть кайзера!»

Кайзера повесили на веревке, загодя привязанной к флагштоку; тот, кто смотрел повнимательнее, мог заметить, что во время суматошных приготовлений Майрон ускользнул в темноту, а его место заняла большая тряпичная кукла; ее зацепили веревкой за шею и медленно потащили вверх. Одна из сестер милосердия поднесла к колену болтающейся куклы свою огненную метелку; достигнув верхушки флагштока, «кайзер» пылал уже весь, с головы до ног. Толпа редела все громче, дети прыгали и носились вокруг флагштока, истерично взвизгивая: «Вздернуть кайзера!»; многие из них были слишком малы, чтобы понимать, кто такой кайзер и что такое «вздернуть», но я никак не назвал бы их невинными, эти детишки были злобны и порочны в той мере, какую допускали их возраст и жизненный опыт. Что касается взрослых, я с трудом признавал в них серьезных благопристойных граждан, которые, не прошло еще и часа, с таким благоговейным вниманием слушали патриотическую болтовню и чуть не плакали над «Рожденным в Канаде», которых так волновала судьба нашего с Перси и Леолой любовного треугольника, и вот они же, в этом мрачном, горячечном свете, с радостной охотой участвуют в отвратительном действе, символизирующем жестокое насилие и ненависть. Единственный в этой толпе, кто на собственном опыте знал, что такое гореть заживо, я смотрел со смятением, переходившим в ужас, ибо это были мои сограждане, мой народ.

Леола закинула свое поразительно хорошенькое лицо кверху, неотрывно глядя на пылающую в небе фигуру, Перси смеялся, выкрикивая время от времени: «Вздернуть кайзера!» Его голос звучал сильно и мужественно, а глаза бегали по сторонам, ища на лицах окружающих признаки восхищения.

Майрон Паппл, прирожденный артист, поднялся на башню мэрии, чтобы источник страдальческих воплей кайзера находился как можно ближе к пылающей фигуре. Мне не хотелось дожидаться конца праздника, я вернулся в «Дом Текумзе» и лег, а с площади все еще доносились эти вопли.

8

На завтра, на субботу, у меня было намечено много дел. Моя персона все еще вызывала у сограждан повышенный интерес, однако ходить я мог куда угодно. Первым делом я забрал в мэрии ключи от нашего дома и ностальгически обошел его, не пропустив ни одной из шести комнат. Все здесь было, как и прежде, однако все предметы странным образом съезжились и потускнели – мамины часы, стол отца с камнем, который он привез с родины, из Дамфриса, и всегда использовал в качестве пресс-папье. Этому дому остро не хватало любви, без нее он увял и пожух. Я взял кое-какие вещи – в частности, то, что прятал уже много лет, – и поспешил уйти.

Далее я навестил Аду Блейк, подружку Вилли, и поговорил с ней. Ада всегда мне нравилась, но, конечно же, Вилли, каким она его помнила, мало походил на моего брата, каким знал его я. Думаю, они были любовниками, недолго, но были, вот этим Вилли и вошел в ее жизнь, для меня же его главное значение заключалось в том, что он умер дважды и что после первого раза миссис Демпстер вернула его к жизни. Я отнюдь не собирался навещать доктора Маккосланда, выяснять, не изменилось ли его мнение на этот счет, хотя и нашел время поболтать на разные темы с двумя или тремя нашими старожилками; чуть за полдень я вернулся в гостиницу и пообедал.

Торопливо заглотив до безумия жирное рагу и кусок яблочного пирога, я отправился в парикмахерское заведение Паппла, для чего потребовалось всего лишь пересечь улицу. Я успел уже заметить, что сегодня работает один Мило (надо думать, его папаша отлеживался после вчерашних пароксизмов патриотизма), так что появлялась прекрасная возможность ознакомиться с местными новостями. Мило приветствовал меня как героя, по полной программе, а затем усадил в одно из двух кресел, обмотал полосатой простыней, благоухавшей в равных долях одеколоном и здоровым потом дептфордских мужей.

– А слышь, Данни, это ж первый раз, как я стричь тебя буду, ведь точно. Папашу твоего, его я подравнивал пару раз, пока ты на фронте был, а чтоб тебя, так ни разу, это все, что мы с тобой ровесники, потому и так. Но теперь-то я подменяю старика все чаще и чаще. Сердце у него пошаливает, он ведь что говорит, что он всю жизнь вдыхал чужие волосы, обрезки, а от этого, говорит, у всех парикмахеров получается внутри такой волосяной шар, они от него помирают, многие. Только я не верю, ненаучно это. Он-то, он ведь и третьего класса не закончил, ты, наверное, не знал. А все равно, вот уж посмешил он их вчера так посмешил, верно? Особенно ночью. Но это ему даром не сошло. Утром сказал, что прямо чувствует этот шар, ну как словно один из своих органов... А у тебя двойная макушка, ты это знаешь? С двойной макушкой трудно сделать, чтобы прическа хорошая. А с халупой вашей, ты что с ней сделаешь? Жить будешь, да? Если женишься, так самое то место. Твои старики, они всегда держали дом в порядке. Сес Ательстан, он всегда говорил: «Эти Рамзи, они считай что свихнулись на краске». Но на Леоле, на ней ведь ты не женишься, верно? Ты пойми, ведь кто хоть что понимал, ни на секунду не сомневались, что она его, Перси, девушка, ни на секунду. Ну да, я знаю, у вас с ней бывало такое, что вроде как совсем уже ты и она, перед тем как ты на фронт ушел, все это видели и только смеялись. А как было не смеяться, вот и я, я тоже смеялся. Это ж просто, как тогда говорили, военная лихорадка – ты был в форме, вот и все. И она ведь все по-честному, писала тебе до самого конца. Джерри Уильямс, он нам рассказывал, что письма поступают на почту каждый второй понедельник, как по часам. Это потому, что она писала тебе каждое второе воскресенье, понимаешь? Но когда Перси закончил эту свою школу в Торонто, это, значит, летом семнадцатого, он и минуты не задумывался, ну ни минуты. Сразу прошел армейскую подготовку, уехал в Европу уже со званием, а вернулся майором. И кавалером ЗБС. У тебя-то КВ, да ведь? Везет же некоторым. Меня-то так и не взяли, плоскостопие. А тебе и Перси,

вот вам повезло, я так считаю. Он приезжал сюда ну при каждой возможности, и было видно, кому отдано сердце Леолы. Это мамаша ее так говорила. Бен Крукшанк, ему-то Перси был совсем не очень, но старуха его заткнула. Теперь-то он доволен, с этим все в порядке. Видел его вчера? Для него-то, конечно, только и света в окошке, что Леола. Папаша он и есть папаша. Но главным вчера номером это был ты. Такой себе золото-парень, руки оловянные, ноги деревянные. Это я не про вообще, а так, шутка. Но с Леолой тебе вышло боком. Ее сердце отдано. А в нашем городишке, тут война все поменяла. Все вверх тормашками, ты понимаешь, про что я? Уйма перемен. Два пожара, большие, а Гарри Хендерсон продал свою лавку. Но главные перемены – это что в людях. Молодые ребята, ну каждый день кто-нибудь во что-нибудь вяпается. А Джерри Каллена – ты его помнишь? – так его засунули в каталажку. Его же дочка на него и стукнула. Сказала, что он всю дорогу к ней лезет. И ведь она, учти, она же совсем еще маленькая. Но самая тут пенка, я не думаю, чтобы Джерри хоть раз пришло в голову, что он делает что-то не то. Думаю, он думал, что так и заведено, что все так делают. Он же всегда был такой, ну тупой вроде. Но если в этом смысле, так самый сильный номер был с Грейс Иззард, ты, может, и не помнишь, ее еще звали Заячья Губа, из-за губы, губа у нее такая. Так вот, доросла она до четырнадцати и стала, видно, задумываться, только кому ж она нужна с таким-то лицом? И вот она обещала своему младшему братику Бобби, ему там двенадцать или вроде, четвертак, если он с ней это сделает, и он согласился, но только если десять центов вперед, а потом, вот тут главное, когда он все сделал, она ему дала второй никель и сказала, что еще много, что оно и двадцати-то центов не стоит! Ведь это кому Расскажи – не поверят, точно? Сильные теперь детишки, что да, то да. А еще...

А еще два незаконнорожденных ребенка, роскошная история про выкидыш, произведенный домашними средствами, несколько супружеских измен, старая дева, свихнувшаяся с началом климакса, и эпизод из врачебной практики доктора Маккосланда – зоб одного из обладателей Боулз-Корнерс, разросшийся до столь невероятных размеров, что рядом с ним все прежние местные зобы все равно что бородавки. Грязь, похоть и унижающие человека страдания – вот что вызывало у Мило наибольший, ликующий интерес, и мы обследовали эти аспекты городской жизни со всей доскональностью.

– Но рядом с инфлюэнцией все это семечки. Испанка, так ее называли, но я-то петрил, что это устроили гунны, не знаю уж как. Ты бы видел, что было тогда в нашем городишке, ну чистая [Долина Видений](#). Конечно же, мы чувствовали это больше других, на парикмахера, на него же все подряд дышат. Мой старик и я тоже, мы с ним повесили себе на шею мешочки с [асафетидой](#), чтобы с микробами бороться. Но все равно люди мерли прямо как мухи. Чисто как мухи. Маккосланд, он, думаю, работал двадцать четыре часа в сутки. Док Стонтон, тот-то переехал жить на одну из своих ферм и вроде как оставил практику. Да и то он уж давно считай что фермер, только крупный, с размахом. Богатенький стал. Ты помнишь Роя Джейнса с женой, ну который англиканский священник? Они не давали себе ни секунды покоя, обходили дома больных, а потом раз – и преставились друг за другом, за сорок восемь часов. Староста приспустил в тот день городской флаг, и все говорили, что правильно. А твоя мама, Данни, господи, какая ж была прекрасная женщина! Ухаживала за всеми, разносила суп и всякое такое, и так до самого конца, пока твой отец не свалился. Ты знаешь, что он отказывался лечь в постель? Уже болел, но боролся до последнего. Конечно же, всем было видно. Синие губы. Синие, как черники наелся. Это был главный признак. После этого человеку оставалось сорок восемь часов. Твой отец держался с губами синими, как воскресный костюм, целый день, а потом просто упал у талера, тогда Джампер Сол погрузил его на телегу и отвез домой. И вот только тут твоя мама сломалась, и она умерла вслед за ним, неделя не кончилась. Прекрасные были люди. В следующем номере «Знамени» Джампер Сол и Нелл перевернули шпоновые линейки, и вся первая страница получилась как один громадный некролог. Господи, да когда я это увидел, заревел как маленький. Не мог удержаться. Вот ты поверишь, что такой городишко с населе-

нием в пятьсот человек потерял, если считать с ближней округой, девяносто восемь, вот как такое может быть? Но страшнее всего было, это когда Джампер перевернул линейки. Все говорили, что это он правильно... А ты знаешь, что Амаса Демпстер умер? У него-то, конечно, и так неизвестно, в чем душа держалась. С того самого скандала, помнишь? Да еще бы тебе не помнить! Мы же все тогда видели, как ты лиял туда после школы и лез в окно к ней и к Полу. Ты не думай, никто тогда ничего и не думал. Мы знали, что это мама тебя посылает. На людях-то она ничего не могла сделать для Демпстеров, вот и посылала тебя, чтобы присмотрел за ними. Все это знали и уважали ее за это. Помнишь, как ты сказал, что Мэри Демпстер воскресила Вилли? Да, Данни, у тебя бывали такие заскоки, что зашибись, но теперь-то, наверное, война все это вышибла... Миссис Демпстер? Да нет, она не заболела. Вот так всегда и бывает, что порядочные люди мрут, а таким хоть бы хны. Но когда Амасы не стало, с ней получилась проблема. Денег-то у нее не было, и негде взять. Потом староста и судья Махаффи разузнали, что у нее есть тетка где-то около Торонто, в Уэстоне вроде бы. Ну, написали, тетка приехала и забрала. У нее-то, у тетки, деньги есть. Муж заработал на теплицах, так рассказывают. Пол? Нет, Пол с ней не поехал. Вообще, странно с ним. Ему ж и десяти не было, а вот взял и сбежал из дому. В школе ему приходилось туго, это факт. Драться толком не мог, он же мелкий, хилый, так ребята обступят его в перемену и давай орать: «Эй, Пол, а твоя мамочка, она трусы-то носит?» – ну и все в таком роде. Но это ж так, для смеху, ты же знаешь, какие они – ребята. Он психанет и в драку, и ему, конечно дело, накидают, они и дразнили-то его, считай, для того, чтобы он психанул. Или кричат ему через улицу: «Что-то ты, Пол, с лица сбляднул!» С подковыркой такой, значит, ведь он-то, Пол, он-то понимает, что они это не сочувствуют ему, в смысле что: «Какой-то ты бледноватый сегодня», – а считай что говорят: «Твоя мама блядь». Такая вроде как игра слов, каламбур еще называется. Ну так вот, когда тут к нам приезжал цирк, осенью восемнадцатого, он с ними и сбежал. Махаффи пробовал найти этот цирк, но их и след простыл, словно и не было. Скользкие ребята. Смешно сказать, это было лучшее, что Пол в жизни сделал, ну в некотором смысле, ведь каждый мальчишка только и мечтает, что сбежать с цирком, так что он стал потом вроде героя. А вот Мэри Демпстер совсем от этого вроде тронулась. Увидит в окно, ребята идут из школы, и кричит: «Ребята, вы не видели моего сына Пола?» Жалко было бы смотреть, не знай мы, что она и так давно свихнутая. А через две или три недели Амаса подхватил испанку и помер. Трудная у него была жизнь, не позавидуешь. А еще через неделю приехала эта тетя, и больше мы о них ни слуху ни духу.

К этому моменту стрижка была завершена, и Мило в знак уважения к моему героическому прошлому чуть не насильственно умастил мне голову всеми нашедшимися под рукой тонирующими и ароматическими средствами плюс натер лицо удушающим тальком.

Назавтра было воскресенье, и я наконец-то осуществил свое давнее намерение – посетил пресвитерианскую церковь Святого Иакова. В понедельник, после коротких переговоров с аукционером и банковским менеджером, а также значительно более продолжительной и приятной беседы с Джампером Солом и Нелл, я сел на поезд – на этот раз дело обошлось без толпы провожающих – и покинул Дептфорд брэнной своей плотью. Довольно скоро мне пришлось убедиться, что я отнюдь не покинул его духом.

III

Моя малоумная святая

1

Осенью 1919 года я поступил в Университетский колледж Торонтского университета и начал заниматься историей по расширенной программе. Не имея школьного аттестата, я был вынужден держать собеседование перед комиссией из пяти профессоров. Это издевательство продолжалось целый час, но в конце концов они решили принять меня – по специальной квоте, выделенной для фронтовиков. Впервые в жизни я извлек хоть какую-то пользу из своих детских стараний стать эрудитом; нельзя исключать и того, что перманентно хмурое лицо и довольно занудный шотландский голос помогли мне казаться значительно более образованным, чем то было в действительности, да и мой КВ плюс образ человека, проливавшего кровь за свободу, тоже не помешали. Короче говоря, я поступил в университет и был рад по уши.

Я продал родительский дом за тысячу двести долларов, продажа на аукционе его содержимого принесла мне еще шестьсот долларов, значительно больше, чем я ожидал. Я сбавил с рук даже «Знамя» – некий печатник, решивший попробовать свои силы на издании газеты, дал мне за него семьсот пятьдесят долларов сразу и еще две тысячи семьсот пятьдесят векселями с оплатой долями в срок до четырех лет. Я был полный лопух в таких делах, а печатник – выжига еще тот, в конечном итоге мне удалось вытянуть из него только часть долга, да и то с большим скрипом. Но это потом, а в первое время надежда на грядущие финансовые поступления была весьма ободряющей. Еще у меня имелись вполне приличная пенсия по инвалидности, право на бесплатное получение протезов, буде возникнет такая необходимость, ну и, конечно же, пятьдесят долларов в год, положенные каждому кавалеру КВ. Я представлялся себе весьма обеспеченным господином, да так, по сути, и было, ведь, заслужив четырьмя годами прилежного ученичества диплом бакалавра искусств, я позволил себе потратить еще один год на получение степени магистра. Я твердо намеревался написать когда-нибудь диссертацию на доктора философии и так бы и сделал, не склонись мои научные интересы в область, где это не имеет особого значения.

В летние каникулы я устраивался табельщиком в дорожно-строительную фирму или на какую-нибудь еще столь же нехитрую работу, позволявшую много читать на рабочем месте и сохранять душу в теле, не притрагиваясь к «деньгам на образование» – так называл я про себя свои капиталы.

Меня очень привлекала история. Мое решение учиться на историка прямо связано с войной; сидя в окопах, я постепенно пришел к убеждению, что меня используют силы, мне неподконтрольные, в целях, мне совершенно непонятных. Я питал надежду, что история покажет мне, как устроен и функционирует мир, человеческое общество. Надежда оказалась тщетной, но зато я увлекся историей как таковой и со временем нашел некую ее отрасль, которая полностью меня захватила, чтобы никогда больше не отпустить. В университете я ни разу ни по одному предмету не опускался ниже пятого места среди своих однокурсников и закончил обучение первым; моя магистерская диссертация заслужила определенные комплименты, хотя мне самому она казалась довольно скучной. Я глотал, почти не пережевывая, все дополнительные предметы, без которых, как считалось, мое образование не было бы «гармоничным»; не поперхнулся даже зоологией (вводный курс) и вполне сносно овладел французским. За немецкий я взялся гораздо позднее, когда возникла необходимость, и освоил его в страшной спешке при помощи берлитцевского преподавателя. Кроме того, я был одним из плачевно немногих студентов, искренне увлекшихся историей христианства, хотя, как нетрудно догадаться, пред-

мет этот преподносился нам довольно поверхностно, преподаватель слишком уж углублялся в подробности странствий апостола Павла, избегая каких бы то ни было дискуссий о том, ради чего, собственно, Павел странствовал. Но все равно после недавнего барахтанья в грязи было очень приятно находиться в тепле и уюте, и я работал, работал очень усердно, сам не догадываясь о своем усердии. У меня установились ровные, хорошие отношения со всеми соучениками, но не было ни одного близкого друга, я не входил ни в один из многочисленных студенческих комитетов и не гонялся за популярностью – короче говоря, представлял собой фигуру довольно унылую. Нет, юность не стала для меня порой цветения.

А вот Перси Бойд Стонтон, учившийся здесь же на юридическом, цвел и блистал; теперь мы встречались с ним регулярно, ведь блестящие молодые люди всегда ищут себе тусклых, унылых компаньонов, оттеняющих их блеск, – точно так же, как хорошенькие девушки окружают себя невзрачными подружками. У Перси тоже появилось новое имя. Я поступил в университет как Данстан Рамзи, он же в период своей армейской карьеры отказался от имени Перси (ставшего несколько анекдотичным, как, например, Алджернон) и сделал второму своему имени небольшое обрезание. Бой Стонтон – это имя сидело на нем как влитое. Почему получили свои имена [Чайльд Роланд](#) и [Чайльд Гарольд](#)? Потому что они олицетворяли собой романтику и благородство происхождения; точно так же Бой Стонтон вобрал в себя все великолепие послевоенной молодежи. Он сиял и сверкал, его волосы блестели сильнее, а зубы были белее, чем волосы и зубы людей заурядных. Он часто и охотно смеялся, его голос звучал как музыка. Он великолепно танцевал и знал все новейшие танцы, а ведь в те времена новые танцы появлялись чуть не ежемесячно. Я так и не понял, откуда взялись его внешний облик и манера поведения, но уж всяко не от склочного дока Стонтонна с его моржовыми усами и отвислым брюхом и не от тусклой, бесцветной мамы. Бой словно сам слепил себя из ничего, и результат получился великолепный.

И он стремился к совершенству, никогда не удовлетворяясь малым. Помню, как на первом курсе Бой рассказал мне, что некая девушка нашла в нем сходство с известным киноактером Ричардом Бартельмесом, и он был крайне недоволен, потому что считал себя похожим на Джона Барримора. Зная (по экрану, конечно же) всех кинозвезд, я тут же брякнул, что Бой, скорее уж, походит на Уоллеса Рейда в «Танцоре», и был донельзя удивлен, почему он так возмущен, ведь Рейд – парень очень симпатичный. Почему? Бой страстно мечтал, чтобы в его внешности и манерах находили аристократичность, каковой у Рейда отродясь не бывало, но это я понял значительно позднее. В те дни Бой еще не закончил поиски идеала, по чьему образу и подобию он мог бы себя сформировать. К середине второго курса идеал был найден.

Этим идеалом, этой скульптурной формой для всех его внешних проявлений оказался ни больше ни меньше, как Эдуард Альберт Кристиан Джордж Эндрю Патрик Дэвид, принц Уэльский. Газеты того времени пестрели именем принца. Он был полномочным послом Содружества, однако в нем замечалось и что-то вполне простецкое; его просторечное произношение ужасало аристократичных старушек – и его очарование действовало на людей с безотказностью дудки гаммельнского крысолова; он прекрасно танцевал и имел репутацию завзятого сердцеда, говорили, что он спорит с отцом (с *моим* королем) по вопросам костюма; его фотографировали курящим трубку с чашечкой в форме яблока. В принце были романтика и таинственность, ведь на его смятенное чело незримо ложилась тень короны, – сможет ли этот блестящий, раскованный молодой человек стеснить себя жесткими рамками королевских обязанностей? Им восторгались пожилые женщины, озабоченно решавшие, на какой бы принцессе ему жениться; им восторгались молодые женщины, потому что он явно уделял больше внимания красоте и обаянию, чем голубизне крови. Ходили слухи о буйных развлечениях с участием веселых девушек, каковыми он перемежал официальные мероприятия во время своего последнего визита в Канаду. Пылкий, безрассудный юнец, но притом, что ни говори, принц,

недоступный и самую судьбою предназначенный для великих свершений. Ну прямо идеальный образчик для Боя Стонтонна, который воспринимал самого себя примерно в том же духе.

В те дни нельзя было закончить университет и тут же, на следующий день, стать адвокатом, во всяком случае в нашей части Канады. Ты должен был получить дополнительную подготовку в Озгуд-холле и только когда-нибудь потом, когда Юридическое общество Верхней Канады решало, что ты созрел, ты получал место в Коллегии. Это тревожило Боя, но не слишком. Университет, – откровенно признался он, хотя я не напрашивался ни на какие откровенности, – ставит на тебя печать «годен», но если сперва зарабатывать печать, а уж затем изучать юриспруденцию, ты одряхлеешь и поседеешь за этим занятием и только потом сможешь окунуться в яростный поток жизни. Насколько я мог судить, яростный поток жизни был напрямую связан с сахаром.

Сахар был главным деловым интересом старого дока Стонтонна. Он нахапал в окрестностях Дептфорда уйму земли и всю ее пустил под сахарную свеклу; богатая аллювиальная почва заливных низин, окружавших Дептфорд, позволяла выращивать все, что угодно, для сахарной же свеклы она подходила идеально. Док не дорос еще до звания Короля Сахарной Свеклы, но был на пути к тому – нечто вроде Сладкого Герцога. Бой, видевший дальше своего отца, уговорил его вложить деньги в переработку, в получение сахара из свеклы, и это принесло такие огромные барыши, что вскоре богатство дока Стонтонна вышло далеко за пределы понимания обитателей Дептфорда, настолько далеко, что они даже вроде забыли, как он слинял из города во время эпидемии. Ну а теперь-то было ясно, что у сказочно богатого человека найдутся занятия и получше, чем слушать через трубочку старушечий кашель или латать фермера, свалившегося дуrom в соломорезку. Док Стонтон не стал формально объявлять, что оставляет практику; он принимал ореол исключительности, неизбежно возникающий вокруг каждого богача, равно так же, как авторитет врача, – с кислой физиономией и своеобразной, ему одному лишь свойственной смесью напыщенности и постоянной обиды на весь мир. Док так и остался в Дептфорде. Как мне кажется, он просто не представлял себе, куда бы можно было уехать, да и положение главного богачея поселка – человека куда более богатого, чем Ательстаны, – устраивало его как нельзя лучше.

Ательстаны молча дулись, и только Сес, ничем, как всегда, не сдерживаемый, отмочил пенку, не забытую поселком даже через много лет. «Если Христос, – сказал он, – умер ради искупления грехов дока Стонтонна, все его старания пошли псу под хвост».

Так что Бой тоже жил с оглядкой на ждущую его корону. Он отнюдь не думал посвятить себя юридической практике, однако юриспруденция давала хорошую подготовку для бизнеса и – в перспективе – политики. Он намеревался стать очень богатым – значительно более богатым, чем его отец, – человеком и загодя к тому готовился.

Отношения Боя с отцом оставляли желать много лучшего (еще одна параллель между ним и его идеальным образчиком). Док Стонтон выдавал сыну деньги на содержание не то чтобы скупой, но и без особой щедрости, а Бою с его замашками требовалось значительно больше. Он начал делать краткосрочные, неизменно удачные покупки акций на бирже и вскоре получил возможность жить с размахом, удивлявшим и бесившим дока, который злорадно предвкусывал, что беспутный сынок скоро по уши залезет в долги. Но Бой не залезал в долги, в долги залезают только идиоты, – так он любил говорить. Он небрежно щеголял перед отцом такими игрушками, как золотые портсигары и сшитая на заказ обувь, ничего при этом не объясняя.

Если Бой жил роскошно, то я жил – нет, не убого, но весьма скромно. Я считал двадцатичетырехдолларовый костюм из магазина готовой одежды довольно дорогим, а четырехдолларовые ботинки – безумно дорогими. Я менял рубашку дважды в неделю, а исподнее – один раз. Мои потребности оставались крайне непритязательными; например, я вполне удовлетворялся жизнью в хороших меблированных комнатах; прошло немало лет, пока я осознал, что хорошие меблированные комнаты – вещь, в природе не существующая. Как-то раз минутная

зависть к Бою подвигла меня купить шелковую рубашку – за умопомрачительные девять долларов. Рубашка жгла мне тело, как туника Несса, но я доносил ее до дыр, чтобы деньги зря не пропали.

Мало-помалу мы приблизились к точке, где я должен сделать признание, которое позднее, по ходу этой истории, неизбежно представит меня в дурном свете. Проявляя несомненное благородство, Бой регулярно делился со мной информацией о положении на рынке ценных бумаг; его советы позволяли мне время от времени рискнуть на бирже двумя-тремя сотнями долларов, неизменно с результатом весьма ободряющим. Именно тогда, в студенческие дни, были заложены основы скромного, но приличного состояния, которое есть у меня сейчас. То, что Бой делал с тысячами, я делал с сотнями, причем без него я был бы совершенно беспомощен, моих финансовых познаний только и хватало, чтобы точно следовать его советам – когда купить, когда продать, а когда (и это самое главное) придержать. Почему Бой взял меня под свою опеку? Очевидно, он был ко мне неравнодушен, иных причин я просто не вижу. Однако это было (как станет, я надеюсь, ясно из дальнейшего рассказа) неравнодушие труднопереносимого рода.

Оба мы были молоды, ни один из нас не успел еще полностью сформироваться, и, как бы там ни относился ко мне Бой, я отчетливо понимал, что завидую ему – в *некоторых* отношениях. Ему было чем со мной поделиться – советом, как превратить несколько сотен в несколько тысяч; я же относился к нему со скрытой насмешкой и без зазрения совести пользовался его советами – шотландская кровь не позволяла мне упустить доллар, оказавшийся в пределах досягаемости. Я не ищу себе оправданий, а уж тем более не намереваюсь рисовать себя рыцарем без страха и упрека. Позднее, когда у меня было что ему дать и я мог ему помочь, он не захотел моей помощи. Для него вся реальность жизни лежала во внешних вещах, для меня же не было иной реальности, чем реальность духа – разума, как я думал в то время, не успев еще осознать, каким грубым насмешником и жестоким хозяином может быть интеллект. И если Вам захочется видеть во мне жалкого притворщика, бесстыдно паразитировавшего на доверчивости щедрого, богато одаренного соученика, – валяйте. Мне остается лишь надеяться, что дальнейший рассказ заставит Вас изменить свое мнение.

Мы встречались раза два в месяц, договариваясь заранее где и когда, иначе бы нам просто не пересечься. Да и с чего бы, особенно после того, как Бой купил автомобиль – щегольскую такую таратайку густого рыжего цвета. Он и его приятели мотались по всем танцевальным заведениям в компании своих девиц, они поминутно прикладывались к фляжкам и производили уйму шума.

Осенью 1923-го я встретил его на матче по регби; не прошло и года, как граф Карнарвон раскопал гробницу Тутанхамона, а мужские модельеры уже вовсю изошрялись «под Египет». На Бое был шикарный красно-коричневый пуловер, по которому шествовала череда миниатюрных египтян, скопированных с фресок в гробнице, и невероятно широкие оксфордские брюки; он небрежно покуривал трубку с чашечкой в форме яблока и вел себя так, словно весь мир у него под ногами. С ним была хорошенькая, коротко стриженная девица, чьи закатанные вниз чулки изредка позволяли мельком полюбоваться восхитительными голыми коленками; оба по очереди прикладывались к очень большой фляжке, содержащей, вне всякого сомнения, некое тонизирующее средство, приобретенное отнюдь не в аптеке, а у лучшего из местных бутлегеров. Он словно сошел со страниц Скотта Фицджеральда, квинтэссенция Века джаза, да и только. Эту особенность Бой пронес через всю свою жизнь – он всегда был квинтэссенцией чего-то такого, что кто-то другой подметил и описал.

Я был полон холодного презрения, а попросту говоря – завидовал, но это мне понятно сейчас, тогда же я искренне принимал свою зависть за философическую умудренность. А ведь я не завидовал ни его одежде, ни его девице, ни его выпивке, меня выводило из себя то, какое удовольствие получает от всего этого он, и я поковылял прочь, ворча себе под нос, как Диоген.

Много позднее я понял, что в те моменты, когда я завидовал Бою, моя хромота непременно усиливалась, – сам того не сознавая, я старался подчеркнуть свою калечность, чтобы люди заметили и сказали: «Он, наверное, с фронта». Господи, да какое же это кошмарное время – молодость! Такое изобилие чувств при полном неумении с ними обращаться!

Разговаривая с глазу на глаз, мы почти неизбежно переходили к концу на Леолу. Родители Боя и Крукшанки совместно решили повременить со свадьбой, пока Бой закончит образование и станет юристом. Леола было заикнулась, что она могла бы тем временем поучиться на медсестру, но быстро отказалась от этой мысли под давлением родителей, считавших, что такое обучение неизбежно огрубит их милую крошку – там ведь и судна нужно выносить, и утки, да еще мужчин голых мыть. Так что она слонялась без дела по Дептфорду в ауре ангелической безгрешности, каковая, как считается, окружает каждую обрученную девушку, – слонялась, поглядывая, не пылит ли вдали рыжий автомобиль Боя, приезжавшего иногда на выходные. Бой доверительно рассказывал мне, что они с Леолой выходили очень далеко за рамки обычного «обжимания» (то, чем они занимались, можно определить скучным термином «взаимная мастурбация»), однако у Леолы были твердые принципы, и она так и осталась девушкой – в смысле физиологическом, но, конечно же, не духовном.

Однако Бой поднабрался в годы войны опыта, на фоне которого мучительно затянутые, невразумительно вознаграждаемые пыхтения и всхрипы в стоящей у обочины машине никак не могли его удовлетворить. Он напропалую изменял Леоле со своими свободомыслящими компаньонками из Торонто – и не обладал ясностью ума, достаточной, чтобы сбросить бремя вины. Кустарно сляпав некую метафизическую конструкцию, обещающую выход из этого затруднения, он обратился ко мне с просьбой подтвердить ее с точки зрения университетской учености.

Эти разбитные девицы, сказал Бой, «знают, что делают», а потому он не несет перед ними никакой моральной ответственности. Среди них были большие специалистки в том, что носило тогда название «французский поцелуй», или, в варианте менее почтительном, – «обмен слюнями». Он мог «закрутить» с той или иной девушкой на несколько недель, мог даже «запасть» на нее, но никогда и ни к кому, кроме Леолы, он не испытывал страсти. Во время оно я проводил точно такое же схоластическое расщепление волоса в своих беседах с Дианой – и крайне поразился, услышав его теперь из уст Боя; самонадеянный олух, я искренне считал софистику собственным изобретением. Пока он верно и неизменно хранит свою страсть к Леоле, все эти «западания» ровно ничего не значат, ведь верно? Или я думаю, что значат? Превыше всего он хотел быть абсолютно честным по отношению к Леоле, она ведь так ему верит, что ни разу даже не спросила, не испытывает ли он соблазна закрутить с какой-нибудь из своих городских партнерш по танцам.

Я ругал себя последними словами за вялую нерешительность, за то, что я не могу ему сказать, что плохо разбираюсь в таких вопросах, искушение было сильнее меня, и я слушал его рассказы, получая от них жгучее, болезненное удовольствие. Я знал, что, лишний раз демонстрируя мне свое обладание Леолой, он тоже получает удовольствие, хотя, пожалуй, и неосознанное. Он вытащил из нее признание, что одно время она любила меня, вернее, ей так казалось, но теперь-то каждый из нас троих понимает, что это было случайное завихрение, легкий приступ военной лихорадки, – вот так он меня уверял. Я не спорил с такой трактовкой, хотя она мне и не нравилась.

Я не хотел Леолы, но меня бесило, что она досталась Бою. Диана не только преподавала мне головокружительные уроки плотской любви, общение с ней сформировало у меня образ женщины как восхитительного существа, способного двигаться и говорить, смеяться и шутить, мыслить и понимать, что далеко превосходило скромный ассортимент Леолиных прелестей. И все равно – по бессмертному принципу «сам не ам и другому не дам» – я остро переживал, что она бросила меня ради Боя, да к тому же не нашла храбрости написать мне об этом. Теперь-то я понимаю, что Леола даже при всем желании не могла бы изложить что-либо важное на бумаге:

ей не достало бы как словаря, так и умения связно выражать свои мысли. Однако в те дни, когда она являлась чем-то вроде предоплаченной эротической собственности Боя, переданной на временное хранение родителям, я воспринимал все это до крайности кисло.

Почему я не нашел себе какую-нибудь другую девушку? Диана, директор, не забывайте о Диане. Я часто мечтал о ней, стремился к ней, однако никогда настолько, чтобы написать в Лондон: а может, подумаем еще раз? Я знал, что Диана встанет на пути той жизни, какую мне хотелось прожить, знал, что она не удовлетворится чем-либо меньшим, чем контрольный пакет в жизни человека, за которого выйдет замуж. Что отнюдь не мешало мне хотеть ее, хотеть остро, даже мучительно.

Ну и кем же я был? Жалким, завистливым, эгоцентричным негодяем?

2

Жизнь, какую мне хотелось прожить... Да, конечно, только нужно иметь в виду, что я имел весьма туманное представление, какой именно жизни мне хочется. У меня были отдельные догадки, минутные озарения, но они не складывались ни во что определенное. Поэтому, когда я закончил университет, а затем, как то и заведено, получил магистерский диплом по истории, поиски единственно верной дороги все еще не были завершены, что и привело меня – как и многих людей, попадавших в аналогичное положение, – в педагогику.

Так что же это было – тупик? Можно ли утверждать, что с этого момента я пополнил собой бесчисленное воинство университетских выпускников, подававших надежды, но так никогда их и не оправдавших? Вы, директор, можете ответить на этот вопрос с той же легкостью, что и я, и нет никаких сомнений, что Вы скажете: нет. Я окупился в преподавание, как рыба в воду; подобно той же самой рыбе, я никогда не уделял чрезмерного внимания среде, в которой существую и двигаюсь. Я оказался в Колборнском колледже главным образом потому, что он частный, мне не хотелось убивать еще один год на получение учительского свидетельства, обязательного для работы в государственных школах, тем более что я не намеревался связывать себя с преподаванием надолго. Меня привлекало и то, что Колборн – мужская школа, мне совсем не хотелось учить девочек; правду говоря, я не думаю, что им так уж подходит система образования, придуманная мужчинами и для мужчин.

Из меня получился хороший учитель, потому что я никогда не размышлял над процессом обучения, а попросту работал по программе и не давал ученикам никаких поблажек. У меня никогда не было любимчиков, я никогда не искал дешевой популярности, никогда не возлагал чрезмерных надежд на успехи какого-либо сообразительного мальчика и всегда старался безукоризненно знать свой предмет. Мне удалось поставить себя так, что ребята не решались допекать меня всякой ерундой, но если уж кто-нибудь из них подходил ко мне после уроков, я беседовал с ним вежливо и серьезно, как с равным. Я репетировал десятки мальчиков, хотевших получить стипендию, и никогда не брал с них денег. И я делал все это с удовольствием, что, как мне кажется, положительно влияло на учеников. С годами у меня выявился определенный пунктик – мотивы, странным образом повторяющиеся в истории, а одновременно и в мифах, – но почему бы и нет? Но это потом, а когда я впервые переступил порог класса, одетый в непривычную для себя мантию (по тому времени это было обязательно), я и подумать не мог, что покину Колборн только через сорок с лишним лет.

Глядя со школьной точки зрения, моя жизнь может показаться пресной и несколько странной, хотя, конечно же, и полезной. Время сняло с меня подозрение, незримо висящее над каждым холостым учителем, что он гомосексуалист, либо прямой, настоящий, либо сжигаемый неким чадным, им же лично и придуманным пламенем. Мальчики никогда не казались мне привлекательными. Более того, я всю жизнь недолюбливал мальчиков. Для меня мальчик – это зеленое яблоко, а преподаваемая мною история – солнечный свет, существенно необходимый,

чтобы яблоко вызрело, чтобы мальчик превратился в мужчину. Я знаю о мальчиках слишком много, чтобы их идеализировать. Я и сам был мальчиком, а потому знаю, что он такое – либо дурак, либо мужчина, задыхающийся в детской оболочке и рвущийся наружу.

Но учительство было лишь профессиональной гранью моей жизни, я отдавал ему положенное, и только. Источники, питавшие мою основную жизнь, лежали в совсем ином месте, именно о них и хочу я рассказать Вам, директор, в этом повествовании, движимый надеждой, что потом, после моей смерти, хотя бы один человек будет знать правду и отнесется ко мне по справедливости.

И еще. Я отзывался о беспорядочных связях Боя Стонтонна с явной неприязнью, что вызывает естественный вопрос: ну а ты-то сам, насколько чиста и непорочна была твоя жизнь? Ввиду того что теперь ни одни мемуары не считаются завершенными, если в них нет ни слова о половой жизни автора, позвольте мне сказать, что в ранние годы преподавательской деятельности мне попадались иногда женщины, достаточно интересные для меня и достаточно интересовавшиеся мною, чтобы обеспечить мне нечто вроде «личной», как это называется, жизни. Этих женщин объединяла некая общая черта: они не метили замуж, а потому вступали в связь по преимуществу с мужчинами, непригодными для matrimониальных целей. Была Агнес Дей, стремившаяся взять на себя грехи всего мира и пожертвовать свое тело и разум во благо какого-нибудь достойного мужчины. Довольно скоро ее общество стало вгонять меня в тоску. Затем была Глория Мунди, любительница хорошо пожить, которой постоянно требовались дорогая пища, театральные билеты и разнообразные увеселительные поездки. Она обходилась мне значительно дороже, чем того стоило ее, несомненно, приятное общество, и я вздохнул с облегчением, когда она благородно проявила инициативу и прервала нашу связь. Ну и, конечно же, Либби Доу, которая считала секс великим, целительным и единственно верным ключом к райским вратам и никогда не могла им насытиться – я же мог. Я тешу себя надеждой, что был с ними честен; я не любил ни одну из них, однако все они вызывали у меня самые теплые чувства, и я ни разу в жизни не использовал женщину как некий бездушный предмет.

Все они быстро мной утомлялись, и по одной и той же причине: сдерживая свое чувство юмора в классе, я давал ему полную волю в спальне. Женщины терпеть не могут разговорчивых любовников, а я как раз таким и был. Да и мои физические недостатки тоже доставляли мало радости. Женщины горячо уверяли меня, что это не имеет для них никакого значения, а Агнес, так та явно воспринимала мое изувеченное тело как свой мученический крест. Однако я ни на секунду не забывал о багрово-коричневой культе, заменявшей мне ногу, и о левом боку, похожем на корку жаркого. Все это не только оскорбляло мое чувство эротической пристойности, но и порождало иные проблемы, иногда даже забавные – с моей точки зрения. Каких правил этикета должен придерживаться неполноногий кавалер? В каком порядке следует ему действовать – сперва снять механическую конечность, а потом уж надеть предохранительное средство, или наоборот? Я говорил своим партнершам, что стоило бы написать об этом Дороти Дикс и посмотреть, что она ответит, но они не находили мою шутку смешной.

Лишь через много лет я снова открыл для себя любовь, и теперь это не была старая Песня Любви, воскрешающая образ Дианы, – нет, я испил животворящую каплю из котла [Керидвен](#). Ради такого стоило и подождать.

3

К двадцати шести годам я стал магистром искусств, а пять или около того тысяч, с которыми я начинал, превратились под руководством Боя в увесистые восемь, мне же вполне хватало на жизнь моей пенсии. Бой тайно определял свой капитал как «персик» (словечко из репертуара принца Уэльского); не знаю уж точно, чему равнялась эта фруктовая сумма, но вид у моего старого знакомого был вполне преуспевающий. Когда они с Леолой венчались

(в дептфордской пресвитерианской церкви Святого Иакова), Бой пригласил меня шафером; во взятом напрокат костюме и в цилиндре я чувствовал себя полным идиотом, да и выглядел так же. По завершении безалкогольного пиршества у Стонтонов юридические приятели жениха облегченно вздохнули и пошли ставить на уши «Дом Текумзе», – это было, пожалуй, единственным обстоятельством, омрачившим самую высокосветскую в истории Дептфорда свадьбу. Родители Леолы держались в тени, как то, по мнению общественности, и приличествовало, ибо они «были не в состоянии организовать прием». Родители Боя тоже «были не в состоянии» – сами о том не догадываясь; ошеломленные светскостью нагрывавших из города гостей, они утешали себя пониманием, что могут всех их купить и продать, с родителями, чадами и домочадцами, ничуть при этом не обеднев. К этому времени мне стало ясно как божий день, что Бой далеко превзошел своего отца в честолюбии и размахе. Ему требовалось только время.

Все соглашались, что Леола великолепна; даже в кошмарном свадебном одеянии 1924 года она выглядела без пяти минут аристократично. Ее родители (Бен Крукшанк не пал настолько низко, чтобы рядиться в прокатное тряпье, однако его сапоги лучились серебристым сиянием, характерным для графитовой пасты, какой обычно натирают печки) плакали в церкви от счастья. Обязанностей у шафера особых не было, а место впереди, рядом с женихом, позволяло мне разглядеть, кто из пришедших на венчание плачет, а кто ухмыляется.

Медовый месяц было решено провести в Европе – вещь по тем временам почти небывалая. Я и сам собирался на тот берег Атлантики, просвистеть одну из восьми тысяч, в награду самому себе за то, что был хорошим мальчиком. Я купил билет во второй – не ставший еще «туристским» – класс парохода «Мелита»; буквально через час после отплытия мне попала на глаза строчка в списке пассажиров первого класса: «Мистер и миссис Бой Стонтон». Можете себе представить мое огорчение! Подобно многим, я считал женитьбу безвыходным тупиком и надеялся, что смогу теперь отдохнуть от Боя и Леолы. И вот они свалились мне на голову почти буквально.

Ладно, пусть они сами меня найдут. Мне-то наплевать на классовые различия, сказал я себе, а насчет них это еще дело темное. Как и обычно, я недооценил Боя. На обеденном столе меня ждали записка и бутылка вина. За время пути Бой спускался ко мне три или четыре раза; очень жаль, объяснял он, но здешние правила не позволяют мне пригласить тебя к нам, в первый. Леола не приходила, однако она помахала мне рукой на корабельном концерте, где одаренные пассажиры пели «Розы Пикардии» и рассказывали анекдоты, а мичман (в те времена на пассажирских судах держали еще так называемых мичманов, они трубили в рожок, созывая пассажиров к обеду, и делали что-то еще в том же роде) танцевал вполне приличный хорнпайп.

Можете не сомневаться, Бой перезнакомился со всеми пассажирами первого класса – в их числе оказался даже новоиспеченный сэр, обувной фабрикант из Ноттингема, – но кто потряс его больше всего, так это преподобный Джордж Молдон Ледбитер, великий пророк некой модной нью-йоркской церкви, который плыл из Монреаля по той причине, что так получалось дольше, чем из Нью-Йорка.

– Он ну ничуть не похож на других проповедников, – говорил Бой. – Господи, да я просто не понимаю, как у заскорузлых ископаемых вроде Эндрю Боуэра и Фелпса хватает наглости выходить на кафедру, когда в этом бизнесе есть люди вроде Ледбитера. Если про меня, так я впервые увидел, что в христианстве есть какой-то смысл. Это я про то, что Христос действительно очень выдающаяся личность – принц из дома Давидова, интеллектуал и поэт. Ну да, конечно же, Он был плотником, все эти евреи библейских времен умели что-нибудь делать руками. Только *каким* Он был плотником? Уж всяко не сараи для коров сколачивал, это я на что хочешь поспорю. В нашей теперешней терминологии Он был конструктором и предпринимателем, тут уж нет никаких сомнений. А иначе откуда бы у Него такие связи? Ты же помнишь, когда Он путешествовал, то останавливался у разных богатых и влиятельных людей и

всюду Его принимали с почетом, – понятно же, что они не стали бы принимать у себя какого-нибудь безродного бродягу, они знали Его как человека солидного, ну а заодно и как создателя великого учения. Ты же знаешь, как это принято у них на Востоке, – сперва подкопят денег, а потом берутся за философию. И ты посмотри, как Он разбирался в хороших вещах! Когда эта женщина вылила Ему на ноги благовоние, Он же сразу понял, что это хорошее благовоние, – разбирался, где хорошее, а где плохое, это уж точно. А свадьба в Кане? Пиршество, и Он помог хозяину выйти из неприятного положения, когда вдруг выпивка кончилась, это ж потому, что с Ним самим тоже, наверное, бывало такое, когда Он не отошел еще от бизнеса, и Он понимал, что такое потерять лицо перед коллегами. И какой экономист! Выгнал меня из храма – вот ты задумывался почему? Потому что они драли с паломников запредельный процент, ставя тем самым под угрозу очень важное направление туризма и подрывая национальную экономику. По-нынешнему говоря, это был вопрос рыночной дисциплины, и Он единственный имел достаточно мозгов и решительности, чтобы заняться наведением этой дисциплины. Ледбитер думает, что это и было настоящей причиной, почему Его распяли: ясное дело, что священники храма были с менялами в доле, вот они и решили избавиться от парня, у которого был более широкий экономический кругозор, так же, конечно, как и огромная интеллектуальная сила во многих других областях. Ледбитер – он говорит, чтобы я называл его Джорджем, и мне надо как-то избавиться от этой английской манеры называть всех по фамилии, – так вот, Джордж, он просто обожает красоту. Этим-то он и взял Леолу. Знаешь, Данни, как старый товарищ я тебе прямо скажу, у Леолы не было особых возможностей для роста в этом ихнем семействе. Не спорю, Крукшанки, они отличные люди, вот только ограниченные. Но теперь она быстро наверстывает. Джордж чуть не насильно всучил ей этот прекрасный роман А. С. М. Хатчинсона «Когда приходит зима», так теперь ее просто не оторвать. И вот что действительно произвело на меня впечатление, это что Джордж так прекрасно одевается и вообще понимает в одежде. И ты не думай, что «прекрасно» – это со скидкой, что это для священника; для кого угодно, безо всяких скидок. В Лондоне он познакомит меня со своим портным. Хороший портной – вещь абсолютно необходимая. Он говорит, что Господь сотворил прекрасные, добротные вещи и что пренебрегать ими – значит пренебрегать промыслом Господним. Вот ты, ты слышал когда-нибудь, чтобы проповедник говорил такое? Ясное дело, такой человек не станет пережевывать Библию за шесть сотен в год, одна только кафедра приносит ему восемь с половиной тысяч, да еще лекции, да еще книги – это еще столько же, если не больше! Если Христос не был бедняком – а он точно не был, – то и Джордж тоже не намерен жить в нищете. Вот ты поверишь, [он носит в правом кармане горсть самоцветов](#) – камни полудрагоценные, но совершенно великолепные – *просто для того, чтобы их трогать!* Два или три раза в день он рассыпает их по краповому шелковому платку, который у него всегда в нагрудном кармане, и смотрит, как они переливаются на свету, и ты бы только видел, какое у него тогда лицо. «Греховность и нищета – лишь малая часть сотворенного Господом, – говорит он с такой вроде как поэтичной улыбкой. – Вот они, – это он про камни, – не уступают в красоте и Его дождевым каплям, и сотворены они тоже Им в ничуть не меньшей степени, чем прокаженный, цветок или женская улыбка». Мне бы так хотелось пригласить тебя в первый класс, чтобы вы познакомились, но об этом и говорить бессмысленно, а попросить его спуститься сюда я просто не решаюсь.

Вот так жестокие обстоятельства не позволили мне познакомиться с преподобным Джорджем Молдоном Ледбитером, хотя мне и было любопытно, читал ли он Новый Завет столько раз, сколько я. Кроме того, я читал роман «Когда приходит зима» еще в первом издании, когда достопочтеннейший Уильям Лайон Маккензи Кинг, премьер-министр Канады, осыпал его безудержными комплиментами; «не подлежит никаким сомнениям, что это – лучший роман нашего времени» – вот так он сказал, и книготорговцы не преминули использовать его слова на все сто процентов. Мне казалось, что литературные вкусы мистера Кинга, равно как и религиозные пристрастия Ледбитера, свидетельствуют лишь об одном: оба они обожают сладенькое.

4

Бой и Леола сошли на берег в Саутгемптоне. Я поплыл дальше, в Антверпен, потому что первой моей целью была прогулка по полям былых сражений. Неузнаваемо изменившимся, как и следовало ожидать. Все чисто и аккуратно, в лучших нидерландских традициях (на средневековый манер я подразумеваю под «Нидерландами» Бельгию, Голландию и Люксембург, вместе взятые, – чтобы не перечислять их поштучно). Чьи-то трудолюбивые руки облицевали траншеи, знакомые мне как грязные, вонючие канавы, бетоном – чтобы дамочки не испачкали своих туфель. Даже огромные кладбища не пробудили во мне никакого чувства, их огромность заставляла забыть, что здесь зарыты люди, которым, живи они сейчас, было бы примерно столько же лет, сколько и мне. Я убрался оттуда, как только прочесал Пашендаль в поисках того места, где мне, только что раненному, явилась маленькая Мадонна. Сколько я ни приставал к местным с расспросами, ни у кого из них не возникало даже предположений, что это было за место; скорее всего, новый город давно уже похоронил его под своими домами и мостовыми. Мадонна – ну да, конечно, эти скульптуры попадались мне на каждом шагу, и в церквях, и в нишах на фасадах зданий, однако в большинстве своем они были новые, кошмарно уродливые и – как бы это получше сказать – бездушные. Ни одна из них и отдаленно не напоминала мою. Я узнал бы ее с первого взгляда, как то и случилось много лет спустя.

Вот так и возник мой интерес к средневековому и ренессансному искусству религиозного по преимуществу плана. Маленькая Мадонна стала для меня навязчивой идеей, я хотел снова увидеть ее и искал, упорно не желая признавать очевидную безнадежность поисков (вот так же один мой знакомый, потерявший во время [лондонского блица](#) любимую трость, все еще ходит по антикварным лавкам в неумирающей надежде найти свое утраченное сокровище). В результате я пересмотрел огромное количество Мадонн, принадлежавших к любому мыслимому периоду, изготовленных из любого возможного материала, и многое о них узнал. Теперь я мог с уверенностью описать предмет своих поисков как деревянную раскрашенную фигуру Девы Непорочного Зачатия высотой примерно двадцать четыре дюйма, изготовленную во Фландрии либо в Северной Германии в период между 1675 и 1725 годами. Если вы думаете, что я сообразил все это постфактум, когда нашел свою Мадонну, – думайте, но я могу поклясться, что вы ошибаетесь.

Поиски, а затем все возраставший исследовательский энтузиазм заставили меня осмотреть десятки церквей в Нидерландах, Франции, Австрии и Италии. Деньги, взятые из расчета на двух-трехнедельное турне по Европе, быстро таяли, но я выписал из Канады дополнительную сумму и задержался до августа, до последнего возможного дня. Что ты здесь делаешь, Данстан Рамзи? – спрашивал я порой; ответ был вроде бы очевиден: удовлетворяю свое новообретенное увлечение религиозным искусством, но вскоре я понял, что это не все, что в то же самое время я наново приобщаюсь к религии. Нет, я отнюдь не становился «религиозным», пресвитерианское воспитание надежно защитило меня от безоглядного погружения в религию. Но я осознал свое невежество в религиозных вопросах, а мой рассудок не выносил невежества, как природа – пустоты. Я не был ни таким эстетом, ни таким идиотом, чтобы считать все мною увиденное неким искусством для искусства. Это искусство о чем-то говорило, и я хотел знать – о чем именно.

Как историку по образованию, мне полагалось начать с самого начала, каким бы там оно ни было, но на это не хватало времени. Библейские сцены не представляли для меня никаких проблем, я легко узнавал Иаиль, забивающую в ухо Сисаре кол от шатра, или Юдифь с головой Олоферна. А вот святые ставили меня в тупик. Я начал усердно ими заниматься и вскоре уже знал, что бородатый старик с колокольчиком – это Антоний Великий, а тот же самый старик, осаждаемый всякими чудищами, – это искушение Антония в пустыне. Святой Себастьян

сильно смахивал на дикобраза, святой Рох узнавался по собаке и калечной ноге, так что с ними все было просто. Я радовался как ребенок, встретив на швейцарской монете святого Мартина, разделяющего свой плащ. Жадная страсть к деталям, бывшая когда-то первопричиной моего стремления стать эрудитом, снова сослужила мне хорошую службу – я с восторгом окунулся в житийную литературу и вскоре уже знал назубок символы и атрибуты десятков святых. Преполюлившись омерзительной гордыни, я начал охотиться за редкими святыми, которых не знает почти ни один рядовой католик. Я читал и говорил по-французски (хотя так никогда и не избавился от предательского акцента) и сносно разбирался в латыни, а потому сумел освоить итальянский по ходу дела – плохо, но достаточно. Сильно мешало незнание немецкого, и я решил выучить его за зиму. Я не имел никаких сомнений, что выучу все для меня интересное, и выучу быстро.

В это время я даже не задумывался, что, по всей вероятности, герои изучаемых мной легенд – реальные люди, что они когда-то жили и делали что-то такое, чем заслужили себе посмертную любовь и память. Изученная литература попросту утверждала меня в моем давнем мнении, что религия гораздо ближе по духу к сказкам «Тысячи и одной ночи», чем к рационализму пресвитерианской церкви. Я ухмылялся, представляя себе, как бы среагировали прихожане дептфордской церкви Святого Иакова на предложение заменить голубя, примостившегося на верхушке самой большой органной трубы, на утлую лодчонку Иакова. Да, я знаю, я был самодовольным ослом, но в то же время я был и по уши счастливым козлом, который случайно забрел за ограду сада агиологии и принялся жадно, с восторгом щипать восхитительную траву; когда пришло время возвращаться домой, я уже твердо знал, что нашел себе счастье, которое пребудет.

5

Преподавание занимало у меня день и часть вечера. Я был назначен помощником заведующего интернатом и получил в свое распоряжение большую светлую комнату прямо под крышей главного здания и тесную конуру, гордо именованную спальней, а также право пользоваться ванной вместе с двумя или тремя коллегами, тоже жившими при школе. Я работал в классе целый день и был безмерно благодарен деревянной ноге, спасавшей меня от докучки наблюдать после уроков за спортивными упражнениями учеников. Вечера уходили на проверку домашних заданий, занятие не из веселых, но я быстро научился взирать на эти монбланы прискорбнейшего невежества с профессиональным спокойствием и перестал ими удручаться. Мне нравилось общество большинства моих коллег, кои примерно равными долями делились на хороших людей, бывших заодно и хорошими учителями, плохих людей, бывших плохими учителями, и нелепых чудаков, совершенно неприспособленных к жизни, ставших учителями по чистой случайности; нередко бывает, что именно последние дают для воспитания учеников больше всего. Если вы не можете обеспечить мальчика хорошим учителем, дайте ему человека с изуродованной психикой либо экзотичного неудачника, но ни в коем случае не плохого, унылого педагога. Вот тут-то и проявляется преимущество частных школ над государственными: они могут, не вдаваясь в объяснения, держать у себя в штате нескольких образованных психов.

Ребята любили меня за деревянную ногу, чье громыхание по коридору загодя предупреждало о моем приближении, так что курильщики, лодыри и в небесах витатели (не надо путать две последние группы) могли не бояться, что их застанут врасплох. Трость стала моим постоянным спутником (я отказывался от нее только ради самых торжественных случаев), и все здравомыслящие ученики безоговорочно предпочитали удар тяжелой палкой по заднему месту официально принятой мере наказания – тоскливым дополнительным заданиям. Мои педагогические приемы привели бы в полный ужас любого школьного психолога, однако я знал маль-

чишек и знал свой предмет, что очень быстро начало сказываться на экзаменационных результатах.

Бой Стонтон тоже подвизался на образовательном поприще. Объектом образования являлась Леола; я виделся с ними достаточно регулярно и мог оценить, насколько успешно движется дело. Бой желал превратить ее в образцово-показательную жену молодого, восходящего к зениту светила на небосводе сахарной промышленности; работая быстро и упорно, он успел уже застолбить себе участки в производстве безалкогольных напитков, карамели и кондитерских изделий.

Он блистательно применял методику настолько простую, что ее не грех и описать: Бой брал в долг пять тысяч долларов на четыре месяца и организовывал маленькую единоличную компанию; имея для подстраховки собственные пять тысяч, он без труда рассчитывался с кредиторами. Затем он брал в долг десять тысяч и тоже вовремя расплачивался. Действуя таким манером, он быстро заслужил репутацию надежнейшего делового партнера, ведь все долги возвращались им точно в срок (но никогда преждевременно, что лишало кредитора возможности получить дополнительную прибыль). Банковские управляющие души не чаяли в юном предпринимателе, но вскоре он порвал отношения с филиалами и стал брать кредиты в центральной конторе. Всеми обожаемый херувим горнего мира финансов, он нуждался в жене, способной помочь ему вырасти до полновесного (применим ли этот термин к ангельским чинам?) ангела, а со временем – и как можно скорее – и до архангела. Поэтому Леола брала уроки тенниса и бриджа, научилась не называть свою служанку «девушкой», даже когда вокруг никого не было, и не заводила детей, ибо время еще не пришло. Хорошенькая как никогда прежде, она освоила достаточное количество расхожих фраз и мнений, чтобы умственно беседовать на любую тему, какую могли затронуть приятели Боя; мужа она обожала, но немного и побаивалась. Ведь он был такой умный, такой красивый, такой решительный! Думаю, Леолу всегда озадачивало, как это вышло, что она – его жена.

В 1927 году Бою подвернулась первая из его потрясающих удач – одна из тех случайностей, вернее, лучше именовать их синхронизмами, которые всегда приходят на помощь честолюбию, – событие, одним толчком поднявшее его в высшие сферы, и не на время, а навсегда. Бой сохранил связи со своим полком и регулярно участвовал в учениях; по его собственным словам, он уже подумывал о политике, а связи в ополчении могли обеспечить немалое количество дополнительных голосов. И когда принц Уэльский решил прокатиться по Канаде, кто, как не лучащийся молодостью Бой Стонтон с его энергией, представительностью и массой других превосходных качеств, был достоин войти в число сопровождающих? И не только сопровождающих по Торонто, но и на всю поездку наследника британского престола, от моря до моря.

Я видел лишь крошечную часть этого великолепия – когда высокий гость удостоил своим посещением нашу школу; она находилась под королевским попечительством, так что принц не мог не включить ее в свою программу. Мы, учителя, вырядились ради такого случая в мантии и капюшоны, солдаты Королевского корпуса стрелков вышагивали, как заводные игрушки, оглушительно орали приветствия и падали в обморок от жары, а шупленький потомок короля Артура, короля Альфреда и Карла Второго милостиво обратился к собравшимся с краткой речью. Я блистал Крестом Виктории, пришпиленным к мантии, а потому был представлен младежаму принцу персонально, однако в моей памяти сохранился не столько он, сколько Бой Стонтон, бывший, вне всяких сомнений, самой яркой фигурой этого сборища. Прошлый воспитанник школы и адъютант принца – это был для Боя великий день, а отеческая любовь, которую изливал на него наш тогдашний директор, едва умещалась в рамки приличия.

Тут же была и Леола; не имея, конечно же, возможности прямо сопровождать сопровождающего, она словно случайно оказывалась то в одной, то в другой точке Канады, избранной его высочеством для посещения. По настоянию Боя она научилась ловко делать реверанс (это в тогдашних-то юбках!), есть с почти неподвижным лицом, словно не пережевывала пищу, и

так далее и так далее – этим придворным фокусам несть числа. Я уверен, что для нее принц представлялся не более чем удобным поводом, позволявшим Бою явиться во всем своем блистательном великолепии. Ни до, ни после Леолы я не встречал женщины, столь самозабвенной в своей любви к мужчине, и я был рад за нее и желал ей полного счастья!

После отъезда принца Стонтоны стали – в скромной, приличествовавшей их молодости манере – звездами общества. Бой обогатил свою речь массой новых, соответствовавших его возросшему статусу слов и выражений и взял за обыкновение носить гетры. Для них с Леолой век джаза ушел в прошлое, теперь они были серьезными, ответственными молодыми супругами.

Через год у них родился первый ребенок, получивший старомодное и весьма значимое имя Эдуард Дэвид. Точно ко времени – ну *откуда* мог его королевское высочество узнать? – прибыла серебряная кружка от «Маппина и Уэбба» с соответствующей гравировкой: три перышка и надпись «*Ich dien*». Дэвид пользовался этой кружкой, пока не дорос до чашки с блюдцем, после чего она была переквалифицирована в хранилище для спичек и непринужденно обосновалась в гостинной посреди стола.

6

Док Стонтон и его жена ни разу не навещали Боя и Леолу на дому – по причинам, я бы сказал, религиозного свойства. Приезжая в Торонто (что случалось крайне редко), они непременно останавливались в дешевой, старомодной гостинице «Карлс-Райт» и приглашали Стонтонов-младших к себе на обед, наотрез отказываясь хотя бы ступить ногою в дом, где попирают законы государства и противятся явленной воле Господней, а попросту говоря – употребляют спиртное. Другой причиной их недовольства было конфессиональное отступничество Боя и Леолы, которые перешли из пресвитерианской церкви в англиканскую.

В процессе, успешно завершившемся к 1924 году, пресвитериане и методисты окончательно сформулировали *mysterium conjunctionis* и образовали Единую Канадскую церковь, в чьей доктрине (гладкой, как прибрежная галька) почти не осталось следа ни от суровости пресвитерианства, ни от провинциальной набожности методизма. Кое-кто из самых твердокаменных пресвитериан и самых истовых методистов продолжал держаться старого, но большинство восприняло этот союз как важную победу Царства Божия на земле. Как ни печально, святое дело не обошлось без чего-то сильно смахивавшего на базарную торговлю между богатыми пресвитерианами и бедными методистами, что навлекло на новорожденную Церковь множество насмешек; особенно изощрялись католики, отпускавшие типично ирландские шуточки насчет крупнейшего захвата недвижимости во всей канадской истории.

В период всех этих треволнений некоторые наиболее чувствительные индивидуумы бежали в объятия англиканства; само собой, тут же нашлись завистники и недоброжелатели, утверждавшие, что причиной всему большая аристократичность англиканской церкви и перебежчики попросту хотят повысить свой социальный статус. В те дни каждый канадец был обязан принадлежать, хотя бы номинально, к той или иной Церкви; чиновники, ведавшие переписью населения, напрочь отказывались записывать в графу «вероисповедание» непристойности вроде «агностик» или «никакого», на основании их докладов подбивалась оптимистическая статистика, дававшая совершенно преувеличенное представление о том, сколько солдат имеют под ружьем основные конфессии. Бой и Леола без излишнего шума стали прихожанами модного англиканского храма, чей настоятель каноник Артур Вудиуисс отличался такой широтой взглядов, что даже не потребовал от них конфирмации. Но Дэвид был со временем конфирмован, так же как и Каролина, появившаяся на свет двумя точно рассчитанными годами позже.

Я был настолько захвачен святыми, что все время сбивался на них в разговоре. Малопомалу мое увлечение начало беспокоить Боя. «Ты, Данни, смотри, а то еще сдвинешься на

этом деле, – повторял он мне, непременно добавляя: – Вот Артур Вудиуисс, он говорит, что для католиков святые в самый раз, у них же половина паствы неграмотные, но мы-то находимся на гораздо более высокой ступени развития». Дружеские увещания не остались втуне: теперь я поминал святых еще чаще и вполне намеренно, чтобы посмотреть на его реакцию. Бой мгновенно заводился и переходил на высокопарный слог. Он убеждал меня бросить учительство (не забывая при этом отметить, что это благороднейшая из профессий) и заняться своей судьбой. «Если ты не поспешишь и не покажешь жизни, чего ты хочешь, – сказал он как-то, – жизнь сама и очень скоро определит, что ты получишь». Но мне отнюдь не хотелось помыкать своей жизнью, как надсмотрщик рабом; по примеру древних греков я предпочитал отдаться на волю его величества Случая. Осенью 1928 года случай нашел наконец время заняться моими делами и увел меня с торной дороги на узкую тропку.

Наш тогдашний директор – не Ваш предшественник, а тот, что до него, – страстно стремился «распахнуть двери школы миру, а двери мира – школе», чем и объясняется, что каждую пятницу мы приглашали к утренней молитве какого-нибудь гостя, который рассказывал, что он делает в мире. Сэр Ачибальд Флауэр поведал нам о реставрации Шекспировского мемориального театра в Стратфорде-на-Эйвоне и получил на это благое дело по доллару почти с каждого из учеников; отец Джеллико рассказал о расчистке лондонских трущоб, что тоже обошлось большинству из нас в один доллар. Но это исключения, обычно же перед нами выступали канадцы, и вот однажды директор явился нашим очам, ведя за собой на буксире мистера Джоэла Серджонера.

Серджонер имел уже довольно широкую известность, хотя я его прежде не видел. Он возглавлял Торонтскую миссию благотворительной организации «[Лайфлайн](#)» и трудился не покладая рук на благо убогих и сирых, а также моряков, бороздивших воды Великих озер (в те времена это была не просто гольтьба, а гольтьба опасная). Серджонер выступил перед нами кратко, но весьма удачно; при всем очевидном отсутствии образования, он буквально завораживал слушателей своей бесхитростной искренностью – что не помешало мне сразу же заподозрить в нем ханжу и лицемера.

Он рассказал нам, что содержит миссию за счет подаяний, когда же подаяний мало или совсем нет, он молится о помощи, и не было еще случая, чтобы молитва не была услышана, все испрошенное появляется так или иначе: пища, одеяла – все это оставляют на ступенях миссии дарители, чаще всего анонимные, обычно вечером. Самодовольный осел, я с готовностью верил, что такие фокусы могли получаться у святого [Джованни Боско](#), когда тот взывал к небесам ради своих мальчиков, я мог даже поверить в рассказы, что нечто подобное случилось с [доктором Барнардо](#). Но ведь каждый настоящий канадец в глубине души твердо уверен в заштатности своей страны и своего народа; будучи канадцем до мозга костей, я и мысли не допускал, что подобные чудеса могут происходить в Торонто с человеком, которого я вижу собственными глазами; можно предположить, что по моему лицу гуляла скептическая улыбка.

Но тут стоявший ко мне спиной Серджонер повернулся. «Я вижу на вашем лице недоверие, – сказал он, глядя прямо на меня, – но ведь это правда, и, если вы зайдете к нам как-нибудь вечером, я покажу вам одежду, одеяла и пищу, пожертвованные добрыми людьми по наущению Господа, чтобы мы могли вести Его работу среди самых покинутых Его детей». По залу пробежал шепоток, два-три мальчика захихикали, директор обжег меня взглядом, а заключительные слова Серджонера были встречены бурей аплодисментов. Но мне было некогда задумываться о своем катастрофическом поражении: как только набожный благотворитель взглянул на меня, я узнал в нем бродягу, чье лицо когда-то выхватил из темноты фонарь моего отца.

Я не стал долго тянуть и заявился в «[Лайфлайн](#)» тем же самым вечером. Миссия занимала часть первого этажа в пакгаузе, стоявшем прямо на берегу озера. Все здесь буквально кричало о бедности; за неимением занавесок окна были наполовину замазаны зеленой краской, а надпись на них – «Миссия Лайфлайн. Входи» – была накарябана вкривь и вкось. Обстановка

внутри также не отличалась роскошью; две масляные лампы, призванные на помощь тусклым электрическим плафонам, справлялись со своей задачей из рук вон плохо. На скамейках, сложенных из горбылей и обрезков, сидели четверо-пятеро бродяг и примерно столько же бедных, но вполне приличных почитателей Сердженера. Судя по всему, я попал на вечернюю службу.

Сердженер молился о самых разнообразных вещах, из которых я сейчас помню только новую суповую кастрюлю; кроме того, он напомнил Богу, что дрова вот-вот кончатся. Разместив заказ (самое подходящее определение для этой молитвы), он заговорил с нами – в той же легкой, бесхитростной манере, что и утром со школьниками. Только теперь я заметил в его левом ухе громоздкий, какие уж тогда были, наушник слухового аппарата и провод, тянущийся за воротник, под встопорщенной спереди рубашкой угадывался большой угловатый предмет, наверняка микрофон с усилителем. Однако его ровный приятный голос ничем не походил на неконтролируемое криканье многих глуховатых людей.

Я ожидал, что Сердженер постарается найти мне какое-нибудь применение в своей службе – ну, скажем, представит собравшимся как образованного скептика и насмешника, но ничего подобного не случилось; поприветствовав меня степенным кивком, он начал рассказывать про то, как встретил однажды некоего матроса, известного безудержным богохульством, человека, оскорблявшего имя Господа в любой своей фразе. Матрос не слушал никаких увещаний, и Сердженер покинул его, скорбя о своем бессилии. Как-то раз Сердженер беседовал с некой старой женщиной, несказанно бедной, однако богатой духом Христовым; на прощание она вложила ему в ладонь цент, единственную монету, какая у нее была. Сердженер купил на этот цент душевспасительную брошюру, рассеянно сунул ее в карман и проносил так несколько дней, пока снова не встретил того богохульника. По какому-то наитию он предложил брошюру богохульнику, тот же принял ее со смехом и страшными ругательствами. Сердженер напрочь забыл об этой истории, но через два месяца он встретил матроса еще раз, совсем другим человеком. Бывший богохульник прочитал брошюру, пришел через нее к Христу и начал новую жизнь.

Я знал, что будет дальше: богохульник окажется сыном старушки, они разрыдаются после долгой разлуки и заживут дальше в полном благолепии, однако Сердженер не пошел на такие крайности. Я терялся в догадках, что тому причиной – целомудренное самоограничение истинного художника или скудость творческого воображения?

На закуску был исполнен без аккомпанемента один из самых популярных у евангелических сект гимнов; такого кошмара мои уши не слышали уже много лет.

Брось им веревку,
Брось им веревку,
Кто-то спасения ждет.
Брось им веревку,
Брось им веревку,
Кто-то уходит на дно... —

уныло тянули усталые, начисто лишённые слуха люди, после чего ждущие спасения отправились в соседнее помещение, служившее спальней, спасатели разошлись по домам, и я остался с Джоэлом Сердженером один на один.

– Да, сэр, я знал, что вы придете, но никак не ожидал увидеть вас так скоро, – сказал Сердженер; указав мне на ободранный стул, он экономно выключил электричество и сел по другую сторону стола. В комнате стало совсем темно – масляные лампы давали больше копоти, чем света.

– Вы обещали показать мне, что приносят миссии ваши молитвы, – напомнил я, почти не скрывая издевки.

– Все, что вы видите вокруг. – Сердjoner обвел рукой голые облупленные стены, взглянул на мое изумленное лицо, подошел к двери в соседнее помещение – это была двойная дверь с половинками, разъезжающимися на полозьях, какие встречаются на старых складах, – и широко ее распахнул. В слабом свете уходящего дня, сочившемся сквозь стеклянную крышу, я увидел убогую спальню с полусотней коек, на каждой из которых кто-нибудь лежал. – Все это принесла мне молитва; молитва, и упорный труд, и каждодневный сбор пожертвований – вот что обеспечивает им пищу и кров, мистер Рамзи. – Надо думать, он узнал мою фамилию в школе.

– По словам нашего казначея, сегодняшнее выступление принесет вам чек на пятьсот сорок три доллара, – сообщил я Сердjonerу. – У нас шестьсот учеников и штат в тридцать человек, так что результат весьма недурственный. На что вы потратите эти деньги?

– Приближается зима, моим подопечным потребуется много теплого белья. – Он прикрыл дверь, и мы снова остались в комнате, совмещавшей, по всей видимости, функции часовни, гостиной и конторы. – Этот чек вряд ли поступит к нам раньше чем через неделю, а нужды возникают ежедневно. Ежечасно. Вот пожертвования, собранные сегодня вечером на этой короткой проповеди.

На треснутом блюдечке лежало ровным счетом тринадцать центов. Лучшего момента для перехода в наступление нельзя было и придумать.

– Тринадцать центов за тринадцатисентовый треп, – ухмыльнулся я. – Да кто же поверит этим сказкам про ругательного матроса и лепту вдовицы? Вы что, их совсем за идиотов считаете?

Сердjoner ничуть не смутился.

– Я надеюсь, – сказал он, – что они поверят в дух этой истории, и я знаю по опыту, какие истории им нравятся. Это вы, образованные, сдвинулись на том, что вы называете истиной, подразумевая под этим словом унылые, как на суде, факты. Эти люди барахтаются в подобных фактах каждый божий день, с утра и до ночи, так неужели они захотят слушать их еще и от меня?

– И вы даете им романтику?

– По мере своих сил, мистер Рамзи, я даю им то, что утверждает их в вере. У меня нет ни ораторских талантов, ни образования, мои истории стары как мир и шиты на белую нитку, так что человек вроде вас, образованный, назовет их небылицами. Эти люди не ловят меня на слове, но это не значит, что они дураки. Они не смешивают мои жалкие, неумелые притчи с точными фактами. И я вам скажу: в работе вроде моей и в жизни, которую ведут эти люди, есть нечто такое, что смягчает самый твердый факт. Если вы считаете меня лжецом – а вы так и считаете, – вам стоило бы посидеть в этой комнате ночью и послушать исповеди моих подопечных. Фантастическое вранье; люди, которые обрели радость веры, но не превозмогли еще желания порисоваться перед миром, несут все, что им приходит в голову, раздувают свои грешки до чудовищных размеров. И чем лучше человек, тем хуже он стремится выглядеть. Мы приходим к Богу не прыжком, а маленькими шажками, и эта любовь к юридической истине, о которой вы так печетесь, приходит не в начале пути, а гораздо позже – если приходит вообще. Что есть истина? – спросил Пилат, и я никогда не притворялся, что смог бы ему ответить. Я просто радуюсь, когда пьяница бросает пить, или муж перестает бить свою жену, или жуликоватый парень пытается жить честно. И если это побуждает кого-нибудь малость побахвалиться – пускай его, это далеко не самое худшее. Вы, неверующие люди, подходите к нам, верующим, с чересчур жесткими, жестокими мерками.

– А почему вы думаете, что я неверующий? – удивился я. – И что заставило вас утром повернуться ко мне, ведь там было много людей?

– Должен признаться, – улыбнулся Сердjoner, – что это был трюк. Когда вот так говоришь перед людьми, очень полезно поближе к концу повернуться к кому-нибудь и обвинить его в неверии. Иногда ты замечаешь, что кто-нибудь смеется, но это необязательно. Лучше всего повернуться к кому-нибудь, кто сзади тебя, если есть такая возможность. Всем кажется, что у тебя будто есть глаза на затылке. Это, конечно, уловка, и не совсем чистая, но служит-то она хорошему делу и вреда серьезного от нее никому нет.

– Такая установка кажется мне насквозь жульнической, – заметил я.

– Может, так оно и есть. Но вы не первый, кого я использовал подобным образом, да и не последний, это уж я обещаю. Богу нужно служить, и я служу Ему так, как умею, теми средствами, какие знаю. Если я не обманываю Бога – а я стараюсь его не обманывать, – стоит ли мне мучиться совестью из-за одного-другого незнакомца?

– Я не такой уж незнакомец, – заметил я, а затем рассказал ему про нашу давнюю встречу. Даже не знаю, чего я тогда ожидал: возмущения, полного отрицания, чего-нибудь в этом роде. Однако Сердjoner повел себя совсем иначе.

– Я-то вас, конечно, не помню, – сказал он тем же ровным голосом. – Я не помню никого, кто был там той ночью, за исключением самой женщины. Ведь это она обратила меня к Богу.

– Когда вы ее изнасиловали?

– Я ее не насиловал, мистер Рамзи, и вы слышали это от нее самой. Я не говорю, что не мог бы – в тогдашнем моем состоянии я был способен на все. Я дошел тогда до предела. Ведь я был бродягой. Вы представляете себе, что это такое – быть бродягой? Бродяги – пропащие люди, и этого никто не понимает, почти никто. Я слышал и читал всякие глупости насчет того, что им нестерпимы оковы цивилизации, и они хотят дышать воздухом свободы, и что многие из них – образованные люди с великолепными принципами, и что им смешны люди, проводящие всю свою жизнь в упорном труде, – те самые люди, у которых они кланчат подавание, и все это чушь, чушь собачья, от начала до конца. Там же все больше психи, преступники да выродки, и бродяжничество делает их еще хуже, и все это от жизни на свежем воздухе. Ну да, конечно же, если у тебя есть еда и есть кров, под который ты можешь вернуться, тогда свежий воздух отличная штука, но если у тебя ничего этого нет, он доводит тебя до бешенства; голод и кислород – взрывчатая смесь для того, кто не привык к ней с младенчества, как, скажем, дикари. А эти люди не дикари. Слабаки по большей части, но слабаки злобные. Я попал в эту среду самым заурядным образом. Маленький самоуверенный всезнайка поцапался с папашей – он был строгий и изводил меня религией, – сбежал из дому, пробавлялся случайной работой, начал приворовывать и пить. Вы знаете, что употребляют бродяги вместо алкогольных напитков? К примеру, намазывают на ломоть хлеба гуталин, через час гуталин счищают, а хлеб, пропитанный растворителями, едят; от этой штуки можно сойти с ума. Или кладешь в жестянку сливы и ставишь на солнце, чтобы забродили, а потом тебя рвет черным, особенно если вся твоя еда – несколько сырых морковок, украденных в поле, или если вообще на пустой желудок. То же самое эта сахарная свекла, которую сажают вокруг Дептфорда, с нее такое бродило получается, что медный котел проест. И еще секс. Даже странно, каким диким он становится, когда тело голодное и измученное. Бродяги, они, почитай, все содомиты. Я был совсем мальчишка, а ведь там пользуют по большей части молодых и совсем старых, потому что они не могут толком драться. И это не салонные штучки, вроде как за что засадили этого англичанина, тут вообще думаешь, что отдашь концы, когда на тебя целая кодла бродяг. Но ничего, живешь дальше. Вот так я и лишился слуха, почти совсем, я сопротивлялся коdle, а они лупили меня по ушам моими собственными ботинками, пока не перестал сопротивляться. Знаете, как они говорят? «Побольше бухла да поставь кого-нибудь раком, а чего еще надо?» Вот такая их жизнь. И моя такая была – до великого милосердия этой женщины. Теперь я знаю, что Бог рядом с ними, ну как он рядом с нами в этот самый момент, не дальше и не ближе, но они Им пренебрегают, бедняги. А той ночью я был совсем как помешанный. Я соскочил с товарняка у этих дептфорд-

ских джунглей, увидел костер и подошел, их там было семеро, и у них была похлебка – кто-то поймал кролика, ну там пару морковин, то да се – и все в ведро. Пробовали такое? Жуткая гадость, но я-то был совсем голодный, съел бы что угодно, они сперва ругались и похабничали, а потом сказали, что дадут мне малость, но после того, что они хотят со мной сделать. Все мое существо восстало против, и я ушел от них, а они хохотали и кричали вслед: проголодаешься – вернешься. А потом я встретил эту женщину, одну. Я понимал, что она городская. Женщины редко уходят бродяжничать, у них здравый смысл. Она была чистая и казалась мне ангелом, но я начал угрожать ей и требовать деньги. Она сказала, что у нее нет денег, тогда я ее схватил. Она как-то не очень испугалась и спросила, чего я хочу. Я объяснил ей на бродяжьем языке, было видно, что она не понимает, но, когда я стал валить ее на землю и сдергивать одежду, она сказала: «Почему вы такой грубый?» – и тогда я заплакал. Она держала мою голову у себя на груди и говорила, тихо так говорила, хорошо, а я плакал еще пуще. Но только странное дело, я все еще ее хотел. Словно только это приведет меня в порядок, и ничто другое, понимаете? Ну, так я ей и сказал. И знаете, что она мне сказала? Она сказала: «Хорошо, если вы обещаете, что не будете грубым». Я так и сделал, а потом сразу пришли все вы. Теперь я вспоминаю и удивляюсь, ведь в этот момент со мной вроде было все кончено – должно было быть. А ведь все наоборот, в мою жизнь вошла благодать. Это было, словно я прошел через самое страшное адское пламя, а потом набрел на чистое, прозрачное озеро и омылся в нем и стал чистым. Я был заперт в своей глухоте и не знаю почти ничего, что там говорилось, но я видел, что она попала в ужасное положение, видел и ничем не мог ей помочь. Утром меня отпустили, и я убежал из этого города со смехом и криками, словно человек, которого Христос избавил от бесов. И ведь таким я и был. Господь выбрал своим орудием эту женщину, и она – благословенная небесная святая, ведь то, что она сделала со мной, – это чудо, я говорю вполне серьезно. Где она сейчас?

Откуда мне было знать? Меня часто осаждали мысли о миссис Демпстер, мысли эти были мучительные, и я заглушал их, изгонял как часть отринутого прошлого. Я хотел полностью выкинуть Дептфорд из головы, как то сделал Бой, и по той же самой причине: чтобы моя новая жизнь не была продолжением старой.

Мы говорили с ним и говорили, и я проникался к нему все большей симпатией. Уходя, я положил на стол десятку.

– Спасибо, мистер Рамзи, – улыбнулся он. – Вот мы и сможем купить суповую кастрюлю, а заодно и грузовик дров. Теперь-то вы видите, как Господь откликается на молитвы?

7

Мне не оставалось ничего иного, как съездить при первой же возможности в Дептфорд, благо предлог для этого был: посоветоваться с мистером Махаффи насчет прижимистого типа, который купил у меня «Знамя» и до сих пор не отдал даже половины оговоренной цены. Судья посоветовал мне потерпеть еще немного; толк вроде бы небольшой, но зато я получил то, за чем ехал: адрес тетки, забравшей миссис Демпстер после смерти Амазы. Мило Паппл ошибался, она была не вдовой, а старой девой. Мисс Берта Шанклин проживала в Уэстоне, Махаффи дал мне ее адрес, не вдаваясь в расспросы зачем и почему.

– Скверная история, – вздохнул он, – ведь такая была милая женщина. А потом раз – и сошла с ума. От удара снежком. Вы же, наверное, тоже не знаете, кто его бросил, как и все мы, верно? Да, конечно нет, знай вы это, давно бы сказали. Но ведь кто-то же виноват, в этом нет никаких сомнений. Сильно виноват. Не знаю уж, можно было сделать с этим что-нибудь или нет, но вы посмотрите на последствия! Мистер Маккосланд говорит, что это классический случай морального слабоумия, она полностью разучилась отличать плохое от хорошего, а в результате – эта кошмарная история в карьере. Да вы помните, вы ведь тоже там были. Жизнь ее мужа пошла под откос. А потом и мальчишка сбежал из дому, а ведь сколько там лет ему было,

совсем ребенок. Видели бы вы, как она убивалась, смотреть было больно. Маккосланд вколол ей лошадиную дозу морфия, и только тогда мисс Шанклин смогла ее увести, а то ни в какую, не хотела уезжать – и все тут. Никаких обвинений не выдвигалось, дело не возбуждалось, но ведь кто-то же это сделал. Вина неизвестно чья, но кто-то носит ее бремя и по сей день.

Горячность старика и то, какие взгляды бросал он на меня над и под маленькими, довольно грязными стекляшками своих очков, не оставляли сомнений: он думает, что я что-то скрываю, а может быть, даже сам являюсь непосредственным виновником. Рассказать ему, как все было? Я так и не простил Бою его вину, но не забывал и о своей: если бы не моя увертливость, злополучный снежок попал бы не в миссис Демпстер, а в меня. Несчастный случай, которого не поправишь никакими признаниями и сожалениями, – такая точка зрения представлялась мне наиболее удобной.

И все же беседа наново всколыхнула во мне чувство вины и ответственности за Пола; война и взрослая жизнь приглушили этот огонь, но отнюдь не загасили. В результате я сделал нечто очень глупое – навестил отца Ригана, который все еще не оставил свою здешнюю паству.

В той, прошлой дептфордской жизни я не общался с Риганом, но теперь мне нужен был человек для конфиденциального разговора, а у протестантов принято считать, что католические священники умеют держать язык за зубами. Позднее жизнь заставила меня расстаться с этим заблуждением, однако в тот момент мне нужен был человек, живущий в Дептфорде, но, как бы это сказать, не полностью ему принадлежащий, и кандидатура напрашивалась сама собой. Я простился с Махаффи и минут через пятнадцать уже сидел на удивительно неудобном стуле, какие можно найти в гостиной каждого католического священника в любой точке земного шара, и нигде кроме.

Риган сразу справедливо заподозрил меня в некоем тайном умысле и вел себя поначалу очень настороженно, однако, когда умысел мой из тайного стал явным, он расхохотался коротким, скрипучим хохотком человека, мало привычного к шуткам.

– Святая, говорите? Далеко вы замахиваетесь, очень далеко. Поиски святых не входят в мою компетенцию. Точно так же я не могу сказать, что является чудом, а что не является. Епископ, это, скорее, по его части, но с такими доводами, как у вас, вы вряд ли услышите от него что-нибудь ободряющее. Перевоспитанный бродяга? Я и сам перевоспитал пару бродяг, этим людям совсем не чужды позывы к раскаянию, как и любым другим. А этот ваш парень, он сильно смахивает на фанатика, доходит в своем рвении до таких же крайностей, как прежде в грехе. Мне такое никогда не нравилось. А эта история с воскрешением, как изволите вы выражаться, вашего брата из мертвых, о ней тогда много говорили. Доктор Маккосланд утверждает, что это была просто кома, а профессионалам принято верить. Несколько минут без признаков жизни. Далековато до Лазаря, вы согласны? А ваш личный опыт после ранения – помилуйте, но вы же были тогда не в себе. Извините, но мне приходится говорить это прямо, без экивоков. Так что вам лучше выкинуть эту дурацкую идею из головы, забыть и не вспоминать. Вы и в детстве были большим фантазером, и с возрастом не изменились. Опасная это вещь фантазия, вы бы с ней поосторожнее. Вот вы говорите, что очень интересуетесь святыми. У меня нет миссионерского зуда, и я не знаю, собираетесь вы обратиться или нет, но если да, вам стоило бы получше присмотреться к религии, дающей миру святых. Можно спорить, что, присмотревшись, вы отпрянете от нее как от огня. Такие вот сообразительные, с воображением ребята сплошь и рядом рвутся пофлиртовать с Матерью Церковью, но она отнюдь не легкомысленная особа и не склонна к флирту, – это уж вы мне поверьте. Вы любите романтику, но не можете тянуть ярмо. В вас засела эта идея, что [три чуда делают святого](#), вот вы и набрали три чуда для бедной женщины, которая настолько повредилась умом, что перестала различать, что хорошо, что плохо. Очнитесь! Послушайте, мистер Рамзи, все это предельно просто: в мире очень много очень хороших людей, в мире очень много такого, чему мы не видим объяснений, и лишь одна Церковь способна дойти до самой сути и сказать, где чудо, а где нет, кто

святой, а кто нет, вы же вместе с несчастной женщиной, о которой вы говорили, находитесь вне этой Церкви. Вы не можете навязать миру некоего самопального святого, а потому послушайте моего совета и бросьте все это дело. Удовлетворитесь фактами, которыми вы обладаете – или думаете, что обладаете, – и не лезьте дальше, а то, не ровен час, и сами тронетесь. Я очень стараюсь уберечь вас от беды, потому что восхищался вашими родителями и продолжаю ими восхищаться. Прекрасные люди, а ваш отец обладал к тому же редкой широтой взглядов, был открыт для любой веры. Но существуют духовные опасности, о которых вы, протестанты, даже не подозреваете, и это бездумное баловство со сложными святыми вещами – самый верный способ вляпаться в крупные неприятности. Вот я помню, как в семинарии нас однажды предостерегали об опасности так называемых малоумных святых. Вам доводилось слышать о таких? Думаю, нет. Вообще-то, это еврейская концепция, а евреи, они не дураки. Малоумный святой полон благочестия, он всех любит и неустанно творит добро – по своему разумению. Но ему не хватает ума, а потому все его старания кончаются ничем – или хуже, чем ничем, ведь когда добродетель запятнана безумием, от нее можно ждать чего угодно. Вам известно, что благоразумие названо одной из семи добродетелей? Вот в том-то и беда всех малоумных святых – ни капли благоразумия. И общение с ними не сулит человеку ничего, кроме уймы невезения. Вы знаете, что невезением можно заразиться? Для этого есть даже какой-то теологический термин, но у меня вылетело из головы. Да, многие святые делали очень странные вещи, но я что-то не припомню, чтобы кто-нибудь из них слонялся по улицам с корзинкой вялого салата и гнилой картошки или позорился на весь город своими бесстыдными поступками. Об истинной святости тут и говорить не приходится, в крайнем случае эту несчастную можно назвать малоумной святой, и я вам настоятельно советую: держитесь от нее подальше.

Покидая отца Ригана, я имел в активе полный разнос и добрый совет. Передо мной открывались две дороги: либо послушаться совета, либо возненавидеть доброжелательного Ригана. Зная мою гордыню, вы легко угадаете сделанный мною выбор. Не прошло и недели, как я оказался в Уэстоне и снова увидел свою малоумную святую.

8

Она выглядела моложе своих сорока лет и могла показаться ничем не примечательной, этакой серой мышкой, если бы не удивительно теплое, приветливое выражение лица; ее платье имело очень простой покрой и было значительно длиннее, чем приказывала мода того времени, так что я решил, что его выбирала, а может быть, даже и шила тетя. Миссис Демпстер меня не узнала, а первое же упоминание имени Пола вызвало у нее такую болезненную реакцию, что уже минут через десять после начала нашего разговора тете пришлось вмешаться и увести ее из комнаты.

Поначалу мисс Берта Шанклин не хотела даже пускать меня в дом, потому что я свалился ей на голову без всякого предупреждения. В этой миниатюрной женщине чувствовались хорошее воспитание и провинциальная мягкость. От ее уютного, симпатичного дома веяло старомодной культурой, здесь было много вещей в уродливом, полувековой давности стиле, но не было аляповатой дешевки; несколько мозаичных шкатулок и две тусклые картины маслом, пейзажи итальянской Кампаньи с непременно для этого жанра античными руинами и живописными пейзажами явно свидетельствовали, что кто-то из этой семьи посещал в свое время Италию. Когда мисс Шанклин увела миссис Демпстер, я не сдвинулся с места, хотя человеку приличному полагалось бы встать и откланяться.

– Я не сомневаюсь, что вы пришли к нам из самых лучших побуждений, – сказала она, вернувшись в гостиную, – но вы сами видите, мистер Рамзи, что моя племянница не в состоянии принимать гостей. Нет никакого смысла напоминать ей о днях минувших, это только приводит ее в волнение. Так что мне остается только поблагодарить вас за визит.

Вместо того чтобы удалиться, я стал пространно объяснять, чем вызван мой приезд, говорить о своей глубокой озабоченности судьбой миссис Демпстер, которой я многим обязан. Беседуя с мисс Шанклин, я и словом не заикнулся о святых, разумно полагая, что это не по ее части. Зато я подробно описал свое детское знакомство с миссис Демпстер, рассказал, как беспокоилась и заботилась о ней моя мать, как я мучаюсь виной, что не разыскал ее прежде. В конце концов мисс Шанклин немного оттаяла.

– Это очень любезно с вашей стороны. Я знаю, что в Делфтфорде происходили совершенно ужасные вещи, и очень рада, что не все забыли бедняжку Мэри. Теперь уже никому не повредит, если я вам признаюсь, что всегда считала этот брак ошибкой. Я ничуть не сомневаюсь, что Амоса Демпстер был вполне достойным человеком, но Мэри привыкла к более обеспеченной жизни – без всяких, конечно же, глупостей, но и без необходимости считать каждый цент. Я не стану притворяться, что встретила предложение Амосы с восторгом, так что часть вины лежит и на мне. Они не то чтобы сбежали из дома, но вели себя так, словно, кроме них, на свете никого и нет, и мне было очень больно. Я могла ей помочь, но Амоса и слышать о таком не хотел, мысль, что у Мэри будут свои деньги, уязвляла его гордость, так что я махнула рукой и сказала: ладно, пусть они тащат свою ношу сами, если уж им так хочется. Я никогда не видела Пола, но знаю, что непременно сделала бы для этого малыша все возможное, если бы сумела помириться с его отцом. Но мои очень скромные деньги делали меня непомерно заносчивой, у него была своя заносчивость, заносчивость религиозного человека, а потом было уже поздно. Дело в том, что я очень люблю Мэри; кроме нее, у меня нет никакой семьи. А любовь способна побуждать к самым низким поступкам – если тебе кажется, что тобой пренебрегли. Мое тогдашнее поведение было омерзительным, другого слова и не подберешь. Теперь я делаю все, что в моих силах, но какой от этого толк, раньше надо было, раньше.

Мисс Шанклин заплакала – нет, не навзрыд, а тихо и благопристойно; смахнув платочком набежавшие слезы, она извинилась передо мной и пошла на кухню заказать чай. К тому времени, как чай был доставлен – «наемной служанкой», чье расслабляющее влияние на Мэри Демпстер столь часто обсуждалось (и осуждалось) почтенными прихожанками ее мужа, – между нами с мисс Шанклин установились теплейшие отношения.

– Я рада слышать от вас, что Мэри была такой милой и доброй, даже после этого ужасного случая – ведь это был несчастный случай, верно? Сотрясение мозга? Она упала, да? – и что вы вспоминали о ней даже там, на войне. Я возлагала на нее такие надежды. Нет, я не собиралась вечно держать ее при себе, и все равно... Я понимаю, она любила Амосу Демпстера, а любви все дозволено, так считают. Но я уверена, что нашлись бы и другие молодые люди, и вряд ли ей пришлось бы хуже с кем-нибудь из них, да куда уж там хуже. Ее жизнь с Амосой Демпстером представляется мне такой безрадостной, такой тусклой и безнадежной. А ведь Мэри была полна надежд – до своего замужества. Теперь она почти ничего не помнит, и это к лучшему, ведь когда она вспоминает, то сразу начинает думать о Поле. Я боюсь и представить, что могло случиться с таким вот совсем маленьким мальчиком, когда он сбежал с этими циркачами. Вполне возможно, что он давно умер, и это еще не самое худшее. Ну а Мэри, она, конечно же, думает, что он так и остался маленьким. Она же утратила представление о времени. Вы бы знали, какой это ужас, когда она вдруг вспоминает о Поле, как она рыдает и убивается. А я не могу избавиться от мысли, что, будь у меня чуть побольше выдержки и здравого смысла, все могло повернуться иначе, совсем иначе... Я хотела попросить вас не приходить больше никогда, но теперь не стану. Приходите, встречайтесь с Мэри, только пообещайте познакомиться с ней наново, словно вы впервые ее увидели. Прошлое для нее исчезло, за исключением ужасных, путаных воспоминаний о том, как ее привязывали, как исчез Пол, и еще Амоса... она всегда вспоминает одно и то же – как он синими, полумертвыми губами молил Господа простить ее за то, что она разбила ему жизнь. Амоса молился до последней секунды – вы это знали?

9

А в мае следующего – рокового – 1929 года мне позвонил Бой – случай необычный сам по себе, но еще необычнее было то, что он мне сказал:

– Данни, тебе нужно сбыть с рук кое-что из твоего хозяйства; это не слишком горит, но и тянуть тоже не стоит, уложись недели в две, не больше.

При покупке акций я всегда следовал советам Боя, поэтому он точно знал, что у меня есть, и, ничего не спрашивая, перечислил с полдюжины фирм. Я был поражен.

– Но они же растут от недели к неделе!

– Да, – сказал он, – а теперь продай их и вложи деньги во что-нибудь надежное. Я помогу тебе разжиться еще одним приличным пакетом «Альфы».

Я последовал рекомендации Боя, чем и завоевал себе среди школьных коллег репутацию весьма ушлого бизнесмена. Миллионы жителей Северной Америки – в том числе и почти каждый наш учитель – вкладывают деньги в акции; в большинстве своем они играли на марже и уже к Рождеству проигрались вчистую, я же пережил крушение фондового рынка вполне благополучно, благодаря тому что Бой считал меня в некотором смысле своим подопечным.

Более того, в период всех этих потрясений у меня и мысли не было о деньгах, я с нетерпением предвкушал конец учебного года, когда можно будет сесть на корабль, пересечь океан и отправиться по маршруту, начинавшемуся в Англии, пролежавшему через Францию, Португалию, Швейцарию и Австрию, чтобы закончиться в Чехословакии. Это был первый из моих ежегодных походов, прерванных только на период войны 1939–1945 годов, мой первый опыт в поиске, идентификации и описании святых, первая из охотничьих экспедиций, давших мне материал для книги «Сто святых для путешественников», которая издана с того времени на шести языках и все еще бойко расходуется, не говоря уж о прочих книгах и некотором количестве статей. В тот раз меня влекла к себе крупная дичь – святая, чей секрет я надеялся раскрыть, проявлялась в целом ряде разнообразных форм и никем еще не была удовлетворительно описана.

Сколь ни многообразны возможные житейские ситуации, едва ли не к каждой из них приписан свой отдельный святой, я же в тот раз выслеживал весьма экзотичную представительницу этого племени (вернее – сонма), чьего заступничества ищут девушки, стремящиеся отшить постылого воздыхателя. Ее, так сказать, исходной территорией являлась Португалия; согласно легенде, она была дочерью португальского короля – закоренелого язычника, который обещал ее в жены королю Сицилии, однако она не желала идти замуж ни за каких королей, потому что была христианкой и дала обет безбрачия. Стремясь соблюсти свой обет, принцесса взмолилась к небесам и обрела чудесное избавление – у нее выросла длинная густая борода; сицилианский король не захотел жениться на такой страхолюдине, после чего разгневанный отец велел ее распять.

Я намеревался посетить каждое место поклонения этой святой, собрать и сравнить все варианты легенды, доказать или опровергнуть аутентичность молитвы от докучливых кавалеров (которая, как считается, получила в XVI веке одобрение епископа Руанского), а также вообще посовать свой нос во все, что могло бы пролить хоть какой-нибудь свет на эту темную историю. Жизнь и посмертная слава португальской великомученицы изобиловали трудностями, столь привлекательными для человека моего темперамента. Чаще всего ее почитают под именем Вильгефортис, произведенным, по мнению специалистов, от *Virgo-Fortis*², но иногда как Либерату, Куммернис, Онткоммену, Ливраде, а в Англии (известно, что в соборе Святого Павла была ее часовня) как Анкамбер. Агиологи консервативного толка пренебрежительно

² Стойкая Дева (лат.).

отмахиваются от Вильгефортис, списывая ее появление на забавную ошибку невежественных крестьян, неверно истолковавших один из бесчисленных святых образов от Луки. На этой картине, написанной, по преданию, апостолом Лукой, изображена длинноволосая бородатая фигура в длинном одеянии, висящая на кресте; это, конечно же, Христос, однако на многих позднейших копиях он сильно смахивает на бородатую женщину.

Первоначальное знакомство с Анкамбер навело меня на некоторые мысли, и мне не терпелось их проверить. Во-первых, легенда о бородатой принцессе могла быть отголоском культа гермафродитичной Великой Матери, широко почитавшейся в древнем Карфагене и на Кипре. Ранние – да и не очень ранние – христиане подобрали за уходящими в прошлое язычниками уйму весьма полезных по хозяйству чудотворцев – зачем добру зря пропадать. Кроме того, меня заинтересовали публикации доктора Мозеса и доктора Ллойда, врачей из Нью-Йоркского городского университета, об аномальном росте волос у чрезмерно эмоциональных женщин; в частности, они приводили целый ряд случаев быстрого отрастания бороды у обманутых в любви девушек; в другой, уже британской статье описывался случай, как у девушки, чей жених сбежал из-под венца, выросла густая борода. Не приключилось ли нечто подобное и с Анкамбер?

Ведомый этими бредовыми идеями, я пересек океан и теперь весело раскатывал по Старому континенту, вынюхивал Анкамбер как в глухих деревушках, так и в уютных городках вроде Бове и Виссана; мне даже удалось опознать в одной из так называемых Анкамбер (Вильгельфорте, говоря по-местному; приходской священник явно ее стеснялся) святую Галлу, небесную покровительницу вдов, – ее тоже изображают иногда бородатой. И только в августе, когда времени до возвращения осталось всего ничего, поиски очередной Анкамбер привели меня в тирольскую деревню, располагавшуюся в тридцати милях к северу от Инсбрука. Деревня была размером с Дептфорд, североамериканцы были редкими гостями трех ее постоянных дворов, ведь все это происходило задолго до того, как орды любителей зимнего спорта захлестнули Тироль и в каждой захолустной гостинице, на каждом постоялом дворе появилось некое подобие современной сантехники. Я поселился в неизбежном «Рыжем коне» и начал осматриваться.

И сразу же выяснилось, что я не единственный в деревне чужак.

На базарной площади стоял брезентовый балаган с выцветшей вывеской: «Le grand Cirque forain de St. Vite»³. Кто-кто, а уж я-то точно не мог пройти мимо цирка, посвященного святому Виту, покровителю бродячих балаганщиков, к чьей помощи зывали (а в деревнях и по сю пору зывают) при хорее (она же витова пляска), параличе и прочих телесных трясучках. На афишах не было ни петуха, ни собаки, полагающихся святому Виту по чину, зато они обещали человека-лягушку, *Le plus grand des Tyroliens*, *Le Solitaire des forêts*⁴ и – какая удача! – *La Femme à barbe*⁵. Я твердо решил, что посмотрю эту бородатую леди и – буде представится такая возможность – выясню, не была ли она жестоко обманута в любви.

Цирк оказался крайне жалким, в нем почти физически витал дух поражения и убожества. Не было никакой программы, никакой логики выступлений; время от времени, когда зрителей набивалось побольше, два мрачных, словно свет им не мил, акробата что-то такое прыгали, кувыркались и ходили по свободному канату. Человек-лягушка сидел на собственной голове; судя по кислой физиономии, это занятие не доставляло ему ни малейшего удовольствия. Дикарь рычал и не очень убедительно грыз кусок сырого мяса с клочком шерсти на краю; поясняющий мрачно намекал, что сегодня ночью не стоит выпускать собак на улицу, однако

³ «Большой ярмарочный цирк святого Вита» (фр.).

⁴ Величайший из тирольцев, лесной нелюдим (фр.).

⁵ Бородатая женщина (фр.).

никто, похоже, не боялся ни за свою собаку, ни за себя. Когда вокруг дикаря не было зевак, он мирно сидел на стуле и – судя по движению челюстей – утешался порцией жевательного табака.

Унылый лилипут танцевал на бутылочных осколках, в его босые ступни въелась несмываемая грязь, осколки обкатались от долгого использования почти как пляжная галька. Гвоздем показа был несчастный Ринальдо Гетерадельф; когда Ринальдо снял рубаху, мы увидели у него на животе тошнотворный, чуть подрагивающий ком; при большой силе воображения да с помощью поясняющего можно было различить маленькие ягодицы и нечто вроде недоразвитых, совсем без ступней ножек. Асимметричные сиамские близнецы... Бородатая женщина сидела и вязала; глубокий вырез на ее платье являл взору подножия огромных холмов, с места отбрасывая любые подозрения в фальсификации.

Кривляния карлика и аромат тирольских *ледерхоzen*⁶ были тяжким испытанием даже для человека, привыкшего находиться в одном помещении с целой бандой школьников; я решил, что хорошенького понемножку, и повернулся к выходу, но в этот самый момент на помост гибко вспрыгнул молодой парень, он встал рядом с *Le Solitaire des forêts* и начал показывать карточные фокусы; его пальцы двигались быстро и безукоризненно точно. Это был Пол Демпстер.

Я давно уже молча согласился с мнением мистера Махаффи и мисс Шанклин, что Пол, скорее всего, умер и уж во всяком случае пропал навсегда. И все же сейчас у меня не возникло никаких сомнений, никаких «не верю собственным глазам». В 1915 году, когда я видел Пола последний раз, ему было семь лет, за четырнадцать лет он превратился из ребенка в мужчину и мог, казалось бы, неузнаваемо измениться, однако я узнал его с первого взгляда. Да и то сказать, кто, как не я, учил его когда-то высокому искусству престижитажества и пристально, с ревнивым восхищением смотрел, как он демонстрирует недостижимые для меня чудеса ловкости. Да, Пол изменился и повзрослел, но его руки, его стиль работы с предметами нельзя было перепутать ни с чем.

Он выдавал сопроводительный треп по-французски, перескакивая иногда на австрийского образца немецкий. Работал он очень хорошо, даже великолепно – слишком хорошо для этих зрителей. Конечно же, многие из них поигрывали в карты, но провинциальные картежники играют неспешно, выкладывают карту на трактирный стол так, словно в ней фунт веса, и долго, прилежно тасуют колоду; молниеносные пассы и блестящие манипуляции ослепляли их, ничуть не просветляя.

Затем в ход пошли монеты. Я не мог не вспомнить обескураживающую фразу: «Возьмите шесть монет по полкроны и спрячьте их в ладони», – именно это Пол и делал, только не с полукронами, а с массивными австрийскими шиллингами, вынимая их из бород степенных крестьян, выдавая из детских носов или выхватывая из корсетов хихикающих девушек. Эти простейшие, но в то же время и самые трудные из трюков, где все держится на виртуозном владении пальцами, выполнялись им с бесподобной чистотой и элегантностью, под стать лучшим мастерам сценической магии, – я говорю с такой определенностью потому, что сохранил свое старое увлечение и хожу на всех фокусников подряд.

Я был одет совершенно иначе, чем местные зрители, и резко выделялся на их фоне, однако Пол ни разу не посмотрел в мою сторону; сколько я ни старался, мне никак не удавалось поймать его взгляд. Когда потребовались часы для разбиваний, я снял с руки свои, однако он пренебрег ими в пользу большой серебряной луковицы, предложенной неким зажиточным тирольцем. Часы были разбиты на мелкие кусочки, кусочки загадочным образом исчезли, крупная, цветущего вида крестьянка с удивлением обнаружила целехонькие часы в своем мешочке с вязанием, на чем представление и закончилось, тирольцы тяжеловесно затопали к выходу.

⁶ Lederhosen (нем.) – кожаные штаны на помочах.

Я задержался в палатке и заговорил с Полом по-английски. Он ответил по-французски. Когда я перешел на французский, он перешел на немецкий. Но я и не думал сдаваться. Наша беседа текла медленно и неловко, заняла довольно много времени, но в конце концов я вытащил из него признание, что он – Пол Демпстер, во всяком случае был таковым первые десять лет своей жизни. Теперь он Фаустус Легран и носит это имя дольше, чем то, старое. Я заговорил о его матери, сказал, что видел ее незадолго до отъезда. Пол не ответил.

И все же мало-помалу наши отношения смягчились, в первую очередь из-за остальных участников труппы, которые столпились вокруг и глазели на нас с откровенным недоумением, не в силах понять, что может быть общего у такого чужака, как я, с одним из них. Я сказал любопытствующим циркачам, что мы с Полом родом из одного города, а затем, с помощью мелких хитростей и уловок, помогавших мне вытащить из неразговорчивых священников и ризничих сведения о местных святынях и деяниях святых, дал им понять, что сочту для себя за честь поставить друзьям Фаустуса Леграна выпивку, а возможно, и не одну.

Это сразу же разрядило атмосферу; бородатая женщина, бывшая у них за главную, повесила на двери балагана картонку «Закрывается по техническим причинам» и отрядила гонцов в ближайшую лавку. Тут же выяснилось, что все они не дураки выпить, единственным исключением оказался *Le Solitaire des forêts*, предпочитавший, судя по глазам, наркотики; не прошло и четверти часа, как мы уютно устроились вокруг двух бутылей, содержащих картофельный спирт, облагороженный жженым сахаром; сей напиток известен в Австрии как Rhum (не путать с ромом). Оборудовав исходные позиции, я ринулся в атаку – завоевывать доверие и благорасположение.

Завоевать расположение людей совсем не трудно, если ты готов говорить с ними об их проблемах, и тут все равно, находишься ты в компании самых обыкновенных канадцев или в центральноевропейском паноптикуме. За следующий час я подружился со всеми. Гетерадельф рассказал мне о своей дочке, хористке из венской оперетты, и жене, которая ни с того ни с сего ополчилась на тот самый нарост на животе, который всех их кормит. Я заботливо следил, чтобы недалеко, застенчивому карлику наливали вровень с остальными, за что и удостоился его расположения. Человек-лягушка оказался немцем, он с пеной у рта рассуждал о грабительских репарациях – и получил мои заверения, что все канадцы готовы подписаться под его словами. И я не кривил душой, просто мои собеседники хотели, чтобы в нерабочее время к ним относились как к нормальным людям, и я был рад им услужить. Я тактично избегал малейших намеков на их телесные аномалии – за единственным исключением. Печальная судьба Анкамбер привела бородатую женщину в такой восторг, что мне тут же пришлось повторить рассказ для всех. Она восприняла почитание бородатой святой как законную дань уважения всем бородатым женщинам и тут же загорелась идеей принять сценическое имя «мадам Вильгефорте» и нарисовать новую афишу: она сама, распятая на кресте, сурово взирает вслед устыженно удаляющемуся жениху-язычнику. Правду говоря, эта история была моим главным козырем: бредовая погоня за бородатой святой давала все основания усомниться в моей нормальности, а значит, делала равноправным экспонатом их паноптикума.

Когда Rhum окончился, я подстроил так, чтобы за добавкой послали Пола, разумно полагая, что остальные члены труппы тут же бросятся обсуждать отсутствующего коллегу. Так оно и вышло.

– Ну что его к нам привязывает? – вздохнула бородатая женщина. – Только *Le Solitaire*, а так он давно бы ушел. Не стану скрывать от вас, месье, что *Le Solitaire* не совсем здоров и не может путешествовать в одиночку. Фаустус ведет себя очень достойно и не забывает старого добра, ведь это теперь *Le Solitaire* стал настолько беспомощным, что вынужден выступать в таком неприятном амплуа, как «un solitaire», а раньше у него была своя труппа, много артистов, в том числе и Фаустус, так что Фаустус считает его своим артистическим отцом, это

у нас такое профессиональное выражение. Не знаю точно, но вроде бы *Le Solitaire* и в Европу его привез из этой вашей Америки.

Вечер прошел очень весело, я даже немного потанцевал с бородатой женщиной под музыку карлика, который насвистывал польку и отбивал такт босыми пятками; Rhum сделал артистов захудалого цирка непомерно смешливыми, так что вид деревянноногого танцора вызвал у них бурю веселья. Когда все остальные разошлись, я поговорил с Полом один на один.

– Можно мне рассказать вашей матери, что я вас видел?

– Я не вижу в этом никакого смысла, однако бессилён вам помешать, месье Рамзи.

– Когда вы пропали, скорбь об утрате сильно отразилась на ее здоровье.

– Я собираюсь так и оставаться пропавшим, а потому известие, что вы меня видели, не принесет ей добра.

– Меня удивляет и огорчает, что вы относитесь к ней так бесчувственно.

– Она – часть прошлого, которое не вернуть и не исправить, что бы я сейчас ни делал. Отец непрестанно мне вдалбливал, что мое рождение лишило ее рассудка. Чуть ли не с младенческого возраста мне приходилось нести на себе бремя материнского сумасшествия, словно я сам злонамеренно его причинил. И мне приходилось выносить жестокость людей, считавших ее сумасшествие смешным – чем-то вроде похабного анекдота. Что касается меня, со всем этим покончено, а если она умрет – кто усомнится, что это не в пример лучше, чем жить в безумии?

На следующее утро я продолжил свои агиологические изыскания, но лишь после того, как принял необходимые меры для получения очередного денежного перевода. Кто-то из вчерашних собутыльников украл мой бумажник, и все определенно указывало на Пола.

IV Гигес и царь Кандавл

1

Великая депрессия принесла Бою Стонтону уйму денег, и все потому, что он торговал утешениями. Когда человеку крупно не везет, он способен поглотить немыслимое количество кофе и пончиков. Сахар в его кофе был от Боя, и пончики тоже от Боя. Когда измученная женщина, у которой не хватает денег, чтобы прилично накормить детей, хочет дать им что-нибудь объемистое, сладкое и достаточно привлекательное, чтобы хоть минутку не ревели, она, по всей вероятности, купит какой-либо прохладительный напиток – и это будет прохладительный напиток от Боя. Когда благотворительная организация хотела хоть как-нибудь скрасить горький вид бесплатной корзинки с продуктами первой необходимости, туда клали пакетик конфет для детей – и это были конфеты от Боя. За горами дешевых конфет, карамелек, ирисок, драже, печенья и бисквитов, равно как и за омывающими их подножия океанами сладкой шипучей воды, загризированной под яблочную, лимонную, да какую угодно, синтетическими фруктовыми эссенциями, стоял Бой Стонтон, хотя знали об этом немногие. Он являлся президентом и управляющим директором корпорации «Альфа», весьма уважаемой компании, которая не производила ничего, но зато контролировала деятельность многочисленных производящих компаний.

Бой был энергичен и не чурался риска. Когда он впервые занялся хлебом – потому что подвернулась возможность задешево купить одну из крупнейших в этой сфере компаний (она увязла в долгах), я спросил, почему бы ему не попытать счастья с пивом.

– Возможно, я так и сделаю, – сказал Бой, – когда экономика придет немного в норму. Сейчас же я обязан, как мне кажется, позаботиться, чтобы люди имели самое необходимое.

Мы задумчиво приложились к стаканам великолепного виски с содовой (ставил, естественно, он).

Хлебная кампания Боя наделала много шороху широко растиражированными обещаниями сохранить цены на прежнем уровне. Обещание было выполнено, хотя буханки стали при том же объеме вроде как попышнее, повоздушнее. Этот хлеб подавали у нас в школе, так что я знаю, о чем говорю.

Бой руководствовался в своем решении не только альтруизмом, но и сыновней почти-тельностью. Досада дока Стонтонна на шибко поворотливого сына быстро сдалась перед алчностью, и теперь он был крупным держателем акций «Альфы». Связав папашу с пивом, Бой нарвался бы на неприятности, а он никогда не искал неприятностей.

– «Альфа» занимается самым необходимым, – благодушно объяснял Бой. – В такие времена люди остро нуждаются в дешевой, полноценной пище. Если мясо людям не по карману, они могут перейти на наши витаминизированные галеты.

И переходили – в таком количестве, что вскоре Бой стал настоящим богачом, то есть одним из людей, чей личный доход, как бы ни был он велик, является лишь крошечной частью их огромного, почти мистического богатства, которое не поддается подсчету, но лишь примерной оценке.

Несколько сдвинутых политиков из самой радикальной партии попытались оценить богатство Боя, дабы неким образом показать недопустимость существования его и таких, как он, в стране, где тысячи людей бьются в беспросветной нужде. Подобно большинству идеалистов, эти политики не понимали сущности денег, а потому, разнеся на своей сходке Боя в пух и прах и пообещав при первой же возможности конфисковать все, что у него есть, они разо-

шлись по дешевым ресторанчикам, чтобы есть там его сахар и пить его сахар, а также курить сигареты, обогащая кого-то еще из столь ненавистных им мироедов.

Некоторые наши учителя, из тех, что помоложе, крыли его последними словами. Англичане либо канадцы, учившиеся в Англии, они были преисполнены мудрости [Лондонской школы экономики](#) и теорий журнала «Ньюстейтсмен», номера которого появлялись у нас в учительской примерно через месяц после выхода. Я никогда не имел каких-то определенных политических воззрений (исторические исследования, а также любовь к мифам и легендам сильно притупляют интерес к современной политике), и меня очень забавляло, как эти бедняги, работающие за жалкие гроши, обзывают Боя и иже с ним «[ка-питтл-истами](#)», непременно выделяя середину слова; насколько я понимаю, такое модное по тем временам произношение особо подчеркивало низость и презренность богачей. Я никогда не встревал в их разговоры, и никто из них не знал о моем близком знакомстве с ка-питтл-истом, чья привлекательная внешность, элегантный стиль жизни и несколько даже чрезмерное преуспеяние делают их пиджаки с кожаными заплатками на локтях, их дышащие на ладан брюки и их добываемый в поте лица хлеб воистину жалкими. Мне казалось, что Бой, которого они ненавидят не зная, никак не связан с тем Боем, которого я вижу не реже двух раз в месяц, а зачастую и чаще, так что не было никакого смысла вставать на его защиту.

Я был обязан своим положением в жизни Боя тому факту, что только со мною он мог говорить о Леоле откровенно. При всех своих стараниях она никак не могла поспеть за стремительным социальным ростом мужа. Бой был гением, то есть человеком, способным великолепно, без малейших усилий делать то, для чего большинству людей требуется предельное напряжение. Он гениально делал деньги, такие люди рождаются ничуть не чаще больших художников и поэтов. Простота его методов и виртуозность, с какой они применялись, ошеломляли, завистники говорили, что ему просто везет, а люди вроде моих молодых коллег попросту называли его мошенником, однако Бой сам создавал свое везение, и на него ни разу не падала даже тень финансового скандала.

Честолюбие Боя не ограничивалось сферой финансов, и он максимально использовал свои отношения с принцем Уэльским; поздравительная открытка на Рождество – вот, собственно говоря, и все эти отношения, однако Бой искусно, не переходя на бессмысленное бахвальство, представлял их как нечто более значительное. «В этом году его не будет с ними в [Сандрихеме](#), – говорил он в преддверии Рождества. – Да и понятно, скучноватая там атмосфера». Создавалось впечатление, что он получает информацию неким конфиденциальным образом, возможно из личной переписки, хотя любой желающий мог прочитать то же самое в газете. Все приятели Боя мгновенно понимали, кто он такой, этот «он», – либо мгновенно переставали быть его приятелями. В молодом человеке, не столь блестяще преуспевающим, все это выглядело бы несколько комично, но среди знакомых Боя не было людей, склонных смеяться над несколькими миллионами долларов. И вот после рождения Дэвида стало ясно, что Леола не поспевает за мужем в восхождении по социальной лестнице.

Смазливое личико – хорошее приданое, но ненадежный капитал, замужней женщине его хватает ой как ненадолго. Леола, Бой и я – все мы были уже не первой молодости, мне давали даже чуть больше моих тридцати двух лет, Бою – чуть меньше (он и вправду был младше, но всего на два месяца). Леола была младше нас на какой-то неполный год, но все еще сохраняла повадки юной девушки, мало соответствовавшие ее возрасту и положению. Она не ленилась на уроках по бриджу, маджонгу, гольфу и теннису, каждый месяц она через силу, но все-таки домучивала очередную «книгу месяца», и только четырехтомная «Кристин, дочь Лавранса» оказалась свыше ее сил; она с озадаченным видом слушала пластинки «Весны священной» и с каким-то не таким, как надо, восторгом «Болеро» Равеля, но все это было как горох об стенку, никакие премудрости в голове Леолы не откладывались, а только порождали у нее недоумение и горькое ощущение собственной никчемности. Леола сломалась на безнадежных попытках

развить у себя утонченный вкус, стать культурной, современной, живо на все откликающейся женщиной, достойной своего мужа. Она любила ходить по магазинам, но совершенно не умела одеваться; обожая «симпатичные» вещи, она разукрашивала свои платья девчоночьими оборками и кружавчиками, в то время как в моду входили простые, строгие линии и общий дух жизненной искушенности. Если Бой отпускал Леолу за покупками одну, она непременно возвращалась с «очередной мэрипикфордской тряпкой» (его выражение), а совместные походы по парижским магазинам заканчивались обычно морем слез, потому что он брал сторону опытной продавщицы против застывшей в нерешительности жены, у которой при близком контакте с любым франкоговорящим существом тут же вылетал из головы весь потом и кровью оплаченный французский. Да и по-английски она изъяснялась далеко не с той изысканностью, каковая подобает супруге человека, коротко знакомого с принцем. «Если уж тебе *никак* не обойтись без деревенских выражений, – поучал ее однажды Бой, – так говори хотя бы: „Господи Иисусе“, а не „Господи Иисусе“. И не называй ты кружку бокалом, а бокал большой рюмкой, неужели это так трудно? И не говори „про его“, сколько раз тебе говорить, что нужно говорить „про него“».

Поначалу Леола взвивалась от таких поучений и давала им достойный отпор, она не понимала, с какой это стати она должна равняться на всех этих напыщенных задавак и говорить не как все нормальные люди, а как-то там по-другому и что такого плохого в естественном поведении, чего это она должна манерничать как не знаю кто. В подобных случаях Бой утихомиривал ее «игрой в молчанку»; он ничего не говорил, но Леола слышала в его молчании ответы на все свои святотатственные дерзости: нет *ничего* напыщенного в том, чтобы вести себя в соответствии со своим общественным положением, среди людей нашего круга принято говорить *иначе*, чем в Делфтфорде, а что касается естественного поведения, ты же вроде хочешь, чтобы гувернантка отучила маленького Дэвида есть руками и писать на пол, хотя такое поведение для него вполне естественно, так что бросим эти глупые разговоры насчет «естественности». Правда Боя не вызывала сомнений, поэтому Леола поднимала белый флаг и снова старалась стать такой, какой он хотел ее видеть.

Ему же все это удавалось с необыкновенной легкостью. Он никогда не забывал ничего, что могло бы ему пригодиться, его собственные манеры и речь день ото дня становились все более отточенными. Нет, Бой не растерял своей мужественности и молоджавости, только теперь они сидели на нем, как отлично сшитый костюм, словно он был одним из этих изумительных английских артистов (типа, скажем, Клайва Брума), которые соединяют в себе мужественность и аристократизм – способность, почти недоступную канадцам.

В этой ситуации не было ничего неожиданного, она назревала все шесть лет их семейной жизни, за какое время Бой изменился радикально, Леола же почти нисколько. На нее не повлияло даже материнство: исполнив свой биологический долг, она не то что не встала крепче на ноги, но еще больше расслабилась.

Я никогда не пытался защищать Леолу, ссоры в этой семье казались редкими и несущественными, и только потом, задним числом, я осознал, что это были не случайные эпизоды, а наиболее яркие вспышки подспудной, ни на секунду не затихавшей войны. Если по-честному, я должен признаться, что мне и не хотелось взваливать на себя бремя миротворца; Бой не позволял мне забыть, что он – как ему казалось – увел у меня Леолу, он любил шутить на эту тему, а иногда даже позволял себе вскользь намекнуть, что, может, оно было бы и к лучшему, повернись все иначе. В действительности я давно уже не испытывал к Леоле никаких чувств, кроме жалости. Взяв хоть однажды сторону Леолы, я оказался бы в роли ее рыцарственного защитника, а человек, защищающий жену от ее собственного мужа, должен, как минимум, иметь к тому серьезные личные основания.

У меня таких оснований не было – ни серьезных, ни несерьезных. Я часто навещал Стонтонов – потому что они меня звали и потому что меня завораживали блестящие деловые операции Боя. Мне доставляла удовольствие роль друга их семьи, притом что я ничем не походил

на лощеных, богатых, подчеркнута моложавых людей, входивших в их «круг». Прошло порядочно времени, прежде чем меня осенило, что я нужен Бою как человек, в чьем присутствии он может размышлять вслух, и что значительная часть его размышлений посвящена вопиющей неадекватности женщины, избранной им себе в спутницы на пути к сияющим вершинам.

Лично мне не казалось, что Леола так уж плохо справляется со своими обязанностями, она отчасти компенсировала чрезмерно сверкающую безупречность Боя, но он-то сам считал, что его жена должна обладать красотой и манерами леди Дианы Мэннерс вкупе с умом и острорословием Марго Аскуит. Бой говорил мне, что женился по любви и только по любви; я понимал это как вполне прозрачный намек, что он имеет на Купидона здоровенный зуб.

Было всего два случая, чтобы я вставал между Боем и Леолой. Первый относится к самому началу их семейной жизни; году в 1926-м или около того Бой открыл для себя Эмиля Куэ, врача, о котором шумели в Европе начиная с 1920 года; до Канады волна докатилась заметно позже, когда слава его сходила уже на нет.

Как Вы помните, доктор Куэ пропагандировал самовнушение. Его методика была предельно проста и годилась на все случаи жизни – качества, против которых Бой при всей своей практичности просто не мог устоять. Достаточно засыпать, бормоча себе под нос: «Мне хорошо, мне хорошо, с каждым днем мне становится все лучше и лучше», – и с вами происходят истинные чудеса. Запоры уходят в прошлое, капризная матка не болит, дерматит исчезает буквально на следующие сутки, вчерашний заика тараторит со скоростью ярмарочного зазывалы, ослабевшая было память начинает быстро восстанавливаться, вонь изо рта сменяется райским благоуханием, давешняя перхоть кажется дурным сном. Ну и самое главное: следуя рекомендациям доктора Куэ, ты насыщался «моральной энергией», как губка водой. Бой же истово верил во все и всяческие энергии.

Он хотел, чтобы Леола поднакопила моральной энергии, после чего умение вести себя в обществе, ум и аристократичность придут сами собой. Она послушно твердила чудодейственную формулу шесть недель подряд, и засыпая, и при каждом удобном случае, однако никакого особого результата не замечалось.

– Ты просто не стараешься, Лео, – сказал Бой как-то вечером. – Старайся лучше, и все получится.

– А может, наоборот, она слишком старается? – вмешался я.

– Не говори ерунды, Данни. В любом деле надо стараться изо всех сил, стараться слишком – невозможно.

– Очень даже возможно. Ты слышал когда-нибудь про закон уменьшающейся отдачи? Чем сильнее ты стараешься, тем вернее дашь маху.

– В жизни не слышал такой белиберды. Кто это говорит?

– Уйма умнейших людей, в том числе и этот твой доктор Куэ. Не стискивай зубы, не разбивайся в лепешку, иначе все будет работать против тебя и ты ничего не добьешься, – вот как он говорит. Психологический факт.

– Чушь. В моей книжке он ничего такого не говорит.

– Бой, ты же всегда хватаешь по верхам. Эта твоя тощая брошюрка дает самое превратное представление о куэизме. Ты почитай «Внушение и самовнушение» Бодена и сразу все поймешь.

– Сколько там страниц?

– Я не считал страницы. Ну так, довольно солидная книга.

– У меня нет времени на толстые книги. Я стараюсь ухватить основное зерно, суть вещей. Если стараться вредно, почему же у меня-то все с Куэ получается? Ведь я прикладываю массу усилий.

– Да ничего у тебя такого не получается. Тебе просто не нужен никакой Куэ. С каждым днем тебе становится все лучше и лучше – как бы ты ни понимал слово «лучше» – не из-за бормотания под нос, а потому что такой уж ты человек. Ты прирожденный удачник.

– Ладно, принеси тогда эту свою книжку и дай Лео. Заставь ее прочитать, а что не поймет – объясни.

Что я и сделал – с нулевым результатом. Несчастной Леоле не становилось все лучше и лучше, потому что она абсолютно не представляла себе, что и как должно становиться лучше. Она не могла понять, чего именно хочет от нее Бой. Ни до, ни после я не встречал настолько глупой милой женщины. Так что доктор Куэ не смог ей помочь, как не смог он помочь и многим-многим другим – в чем, впрочем, я его ничуть не виню. Его магические формулы являлись, по сути, секуляризированными, своекорыстными молитвами, начисто лишенными достоинства, какое пробуждает в человеке даже самая скромная молитва. Подобно всем попыткам привести хронических неудачников к удаче, эта система быстро увяла и сошла на нет.

Второй случай был значительно серьезнее. В 1927 году, вскоре после канадского турне принца Уэльского, Бой попросил меня проявить несколько фотоплёнок. Это было вполне естественно, ведь в своих европейских экспедициях я научился прилично фотографировать и теперь руководил школьным фотокружком – нагрузка, взваленная на меня взамен руководства спортивными играми. Я был всегда готов оказать услугу Бою, чьим советам я был обязан своим скромным капиталом; когда же он сказал, что не хотел бы доверять эти пленки коммерческой фотолаборатории, я вполне естественно решил, что там сняты эпизоды все того же турне, а возможно, даже сам принц.

Так оно и оказалось – за исключением двух плёнок с дилетантскими, но весьма претенциозными снимками Леолы. Леола лежала на диване, строила глазки из-под приподнятой вуали, стояла на коленях перед горящим камином, грозила пальчиком большому плюшевому медведю, выбирала шоколадку из огромной, украшенной бантами коробки, – короче говоря, принимала всевозможные сентиментальные позы, соответствовавшие тогдашней моде на «хорошенькие» фотографии. И на всех без исключения снимках она была в чем мать родила. Будь Леола опытной натурщицей, а Бой хорошим фотографом, все это было бы похоже на иллюстрации из тех журналов, что посмелее, однако бесталанность и неопытность породили снимки из разряда тех, какие делают сотни семейных пар, – делают, но имеют достаточно здравого смысла, чтобы никому их не показывать.

Даже не знаю, почему это меня так взбесило. Неужели я такое ничтожество, что со мной можно совсем не считаться, как с евнухом из гарема? А может, Бой избрал такой весьма своеобразный способ показать мне, как много я потерял? Или это нечто вроде намека, что Бой не станет возражать, буде я захочу (согласусь?) избавить его от Леолы? Он уже давал мне понять, что Леола излишне консервативна (то бишь пресновата) в постели и не может удовлетворить его активную, ищущую натуру. Как бы там ни было, я взбесился и даже хотел было уничтожить эти пленки (должен признаться, что позднее, изготовив отпечатки, я рассматривал их весьма внимательно, даже с некоторым вождением – и оттого бесился еще сильнее).

Я поступил вполне в своем духе: аккуратно отпечатал все кадры, увеличил лучшие из них (в том числе и все снимки Леолы), молча отдал отпечатки Бою и начал ждать, что же будет дальше.

В следующий мой приход к Стонтонам Бой достал снимки и начал подробно рассказывать, что говорил ЕКВ в тот или иной запечатленный на фотобумаге момент. В конце концов очередь дошла до «этюдов» с Леолой.

– Ой, эти не надо!

– Почему?

– Потому.

– Тоже мне секрет, ведь Данни сам их и печатал. Да он наверняка и для себя комплект сделал.

– Нет, – сказал я, – ничего я для себя не делал.

– Ну и дурак. Посмотри, какая хорошенькая девушка; где ты еще такую найдешь?

– Бой, убери их, пожалуйста, а то я уйду наверх. Я не хочу, чтобы Данни видел их, пока я здесь.

– Вот уж никогда не думал, что ты такая ханжа.

– Бой, это неприлично.

– Прилично, неприлично! Ну конечно же это *неприлично!* Только идиоты заботятся обо всяких *приличиях*. А теперь садись сюда и гордись, какая ты потрясная баба.

Леола почувствовала в его голосе назревающую грозу и села между нами, Бой же принялся демонстрировать ее фотографии, пространно объясняя, с какой диафрагмой это снималось, и как он ставил свет, и как он добивался тех или иных «эффектов» (из-за которых, к слову сказать, нежная кожа Леолы стала похожей на шкуру гиппопотама, а ее соски сверкали, как надраенные солдатские пуговицы). Это был очередной урок; он, Бой, вдалбливал Леоле, что ее красота имеет не только частную, но и общественную значимость. Леола не знала куда девать глаза, а он буквально упивался ее смущением. В качестве дополнительного дидактического материала он, полностью перефразировав сопутствующие обстоятельства, привлек рассказ Марго Аскуит, как она принимала посетителей в ванной (Бой никогда не был внимательным читателем).

Где-то к концу этого спектакля он взглянул на меня, широко ухмыльнулся и спросил:

– Надеюсь, старик, тебе не слишком жарко?

Если мне и было жарко, то не по той, как он думал, причине. При появлении снимков Леолы моя прежняя ярость вспыхнула с удвоенной силой. Однако я сказал, что нет, мне не жарко.

– О! Я просто подумал, что тебе такая ситуация может показаться малость необычной – ну как ей, Леоле.

– Необычная, но отнюдь не беспрецедентная. Можно назвать ее исторической или даже мифологической.

– Почему это?

– Видишь ли, такое случалось и прежде. [Ты помнишь историю о Гигесе и царе Кандавле?](#)

– В жизни о таких не слышал.

– Как я и думал. Так вот, Кандавл был когда-то царем Лидии, он так гордился красотой своей жены, что буквально силой заставил своего друга Гигеса подсмотреть, как она раздевается.

– Нежадный парень. А что потом?

– Существуют две версии. Согласно первой – королева увлеклась Гигесом, и они на пару спихнули Кандавла с престола.

– Да? Ну, в нашем случае такого можно не бояться, верно, Лео? А тебе, Данни, мой престол показался бы малость великоват.

– А по второй – Гигес убил Кандавла.

– Нет, Данни, не думаю, чтобы ты пошел на такое.

Я тоже так не думал. Однако очень похоже, что моя история пробудила в Бое некий супружеский пыл; девять месяцев спустя я провел тщательный расчет и пришел к почти однозначному выводу, что именно той ночью и был зачат маленький Дэвид. Бой был весьма простым человеком, и я совершенно уверен, что он любил Леолу. Ну а в том, что Леола любила его всем своим нерассуждающим сердцем, вообще не может быть никаких сомнений. И никакие его поступки не могли этого изменить.

2

На протяжении всего учебного года я каждую вторую субботу садился утром на местный поезд и ехал в Уэстон, чтобы пополдничать с мисс Бертой Шанклин и миссис Демпстер. Дорога занимала менее получаса, так что я успевал до поездки посмотреть, как делают уроки живущие при школе ученики (моя субботняя нагрузка), и возвращался к трем. Я мог бы задержаться и подольше, однако мисс Шанклин дала мне понять, что это было бы утомительно для бедняжки Мэри. То есть в действительности для нее самой, – подобно многим людям, ухаживающим за больными, мисс Шанклин проецировала на предмет своих забот свои собственные чувства; она говорила за миссис Демпстер, как жрец, переводящий на людской язык мысли и пожелания туповатого и немногословного божка. Однако старушка была предупредительна и великодушна, мне особенно нравилось, что она одевает племянницу в аккуратные, симпатичные платья и поддерживает ее прическу в идеальной чистоте и порядке – в разительном отличии от дептфордских дней, когда та сидела на привязи, одетая в грязное тряпье.

Во время моих визитов миссис Демпстер почти не разговаривала; не вызывало сомнений, что она узнает меня как некоего регулярного посетителя, однако ни с ее, ни с моей стороны не было ни малейших намеков на воспоминания о Дептфорде.

Как и просила мисс Шанклин, я притворился ее новым знакомым, то есть персонажем весьма привлекательным, ведь мужчины редко бывали в этом доме, а почти все женщины, не исключая и самых закоренелых старых дев, предпочитают мужскую компанию.

За все это время я встречал у мисс Шанклин одного-единственного мужчину, да и то это был ее адвокат Орфеус Уэттенхолл. Я так никогда и не узнал, почему родители наградили его таким претенциозным именем; возможно, оно передавалось в семье из поколения в поколение. Уэттенхолл попросил, чтобы я называл его просто Орфом – меня, сказал он, все так зовут. Наиболее яркими чертами этого щуплого, низкорослого человека были роскошные моржовые усы и очки в серебряной оправе.

Им владела одна всепоглощающая страсть – охота. Как только открывался сезон отстрела или отлова тех или иных живых существ, Орф был тут как тут, в промежутках же между сезонами он стрелял сурков и прочую не защищенную законом живность. Когда открывался сезон ловли форели, его блесна погружалась в воду ровно через минуту после полуночи; когда разрешалась охота на оленей, он жил в лесу, что тебе твой Робин Гуд. Все городские охотники сталкиваются с одной и той же проблемой: куда девать умерщвленную живность; жена Орфа чуть не ежедневно закатывала ему сцены из-за принесенной в дом дичи. Время от времени он заявлялся к мисс Шанклин, бесцеремонно распахивал дверь, кричал: «Берта! Смотри, какую прелесть я тебе приволок!» – и тут же вваливался в комнату с чем-нибудь мокрым или окровавленным. Мисс Шанклин по доброте душевной шумно восторгалась добротой Орфа и столь же шумно ужасалась видом той или иной твари, собственноручно умерщвленной сим отважным мужем; тем временем служанка уносила его дары.

Мне нравился крошечный, никогда не унывающий Орф, нравилось его искреннее внимание к мисс Шанклин и миссис Демпстер. Он постоянно подбивал меня составить ему компанию в уничтожении живых существ, но мне каждый раз удавалось отбиться от его приглашений ссылками на мою деревянную ногу. За годы войны я настрелялся более чем вдоволь.

Мои поездки в Уэстон начались осенью 1928 года и продолжались по февраль 1932-го, когда мисс Шанклин заболела воспалением легких и умерла. Я не знал об этом, пока не получил от Уэттенхолла приглашение на похороны, завершившееся словами, что потом нам с ним нужно будет побеседовать.

В день похорон стояла мерзкая, обычная для февраля погода; после кладбищенской слякоти крошечная, жарко натопленная контора Уэттенхолла казалась истинным раем. По случаю траура адвокат надел черный костюм, прежде я видел его исключительно в спортивной одежде.

– Знаете, Рамзи, давайте сразу по делу, – сказал он, щедрой рукой разливая виски в мутные, с отпечатками чьих-то губ стаканы. – Все предельно просто: Берта назначила вас своим душеприказчиком. Все отходит Мэри Демпстер, за исключением нескольких небольших сумм – мне, старому приятелю, за то, что хорошо управлял ее состоянием, ну и там другим. Вы получите пять тысяч в год при определенном условии. Условие состоит в том, что вы возьмете опеку над Мэри Демпстер, будете заботиться о ней и управлять ее состоянием до конца ее дней. Я должен утрясти этот вопрос с государственным попечителем. После Мэри все отходит к вам. За вычетом долгов и налогов Бертино наследство будет... ну, не меньше четверти миллиона, а может, и все триста тысяч. Если вы не желаете лишних хлопот, можете отказаться от этой ответственности, а заодно и от наследства. Не спешите, подумайте пару дней.

Я согласился подумать, хотя думать было, собственно, не о чем, про себя я уже принял опеку. Затем я добавил несколько затертых, но тем не менее искренних фраз о том, как мне нравилась мисс Шанклин и какой утратой стала для меня ее смерть.

– И для вас, и для меня, – вздохнул Орф. – Я любил Берту – в самом, конечно же, пристойном смысле – и просто не знаю, что же будет теперь без нее.

Я взял у него копию завещания и вернулся в город; в тот день мне так и не пришлось увидеть миссис Демпстер – на кладбище ее, конечно же, не было. Но это могло и подождать, сперва нужно было разобраться с бумагами.

На следующий день я занялся расспросами, что нужно делать, чтобы взять на себя опеку над Мэри Демпстер. Процесс оказался не слишком сложным, но продолжительным. Я испытывал удивительный подъем духа, объяснением чему могло быть лишь то, что мне удалось избыть свою вину. В детстве я непрерывно ощущал бремя ответственности перед миссис Демпстер, но потом мне начало казаться, что война покончила с этим непосильным гнетом: нога в уплату за неправый поступок – неужели мы не квиты? Рассуждение вполне первобытное, и я вполне им удовлетворился, как мне казалось. Но вина не исчезла, а только ушла вглубь, ибо вот она во всей своей прежней силе вернулась и требует воздаяния, раз уж подвернулась такая возможность.

Был еще один момент, требовавший внимания, сколько я ни старался о нем забыть: если миссис Демпстер святая, она неизбежно становится *моей* святой. Святая ли она? Рим, единственно уполномоченный решать, кто святой, а кто нет, выдвигает обязательное требование: три надежно засвидетельствованных чуда. На счету миссис Демпстер имеются спасение Серджонера актом милосердия безусловно героическим, если принять во внимание дептфордские нравы, воскрешение Вилли и, наконец, ее чудесное явление мне, когда мои жизненные силы были совсем на исходе.

Теперь я смогу посмотреть, что же такое святость на самом деле и даже изучить святую без всякой помощи Рима, привлечь которую я не вправе и не в силах. Меня обуяла идея хотя бы *попытаться* внести серьезный вклад в психологию религии и – возможно – продвинуть работу Уильяма Джеймса на шаг дальше. Вряд ли я был слишком уж хорошим учителем в тот день, когда все это бурлило в моей голове.

Еще худшим учителем был я через два дня, когда полиция известила меня по телефону, что Орфеус Уэттенхолл застрелился и что с моей стороны было бы очень любезно зайти для разговора.

Это дело велось в полном секрете. Люди уверенно рассуждают о самоубийстве и о праве человека самому выбирать время своей смерти лишь тогда, когда все это – абстракции, не имеющие к ним прямого касательства. Когда же самоубийство становится близким, осязаемым фактом, чуть не каждого из нас охватывает леденящий ужас, тем более если дело происходит

в маленькой, тесно спаянной общине. Полицейские, коронер и все остальные, хоть немного причастные к расследованию, сделали все возможное, чтобы утаить правду. Пустые старания. История Орфа оказалась предельно простой и старой как мир.

Он был семейным адвокатом старой школы: присматривал за состоянием целого ряда фермеров и людей вроде мисс Шанклин, так и не сумевших освоиться в мире современного бизнеса. Слово Орфа было надежнее любой расписки, так что никому и в голову не приходило вести с ним дела под расписку. Год за годом он платил своим клиентам приличные стабильные проценты, вкладывая тем временем их деньги в акции с большим доходом для себя. Обвал фондового рынка застал Орфа врасплох, но он кое-как держался на плаву, расплачиваясь с клиентами из собственных (если можно так выразиться) средств. После смерти Берты Шанклин и эта игра стала невозможной.

Людям рассказали сказку, что Орф, имевший дело с оружием всю свою жизнь, чистил заряженный, со взведенным курком дробовик; в какой-то момент он непонятным образом засунул конец ствола себе в рот и так удивился, что нечаянно наступил на спусковой крючок и снес себе половину черепа. Случайная смерть, случайнее и не бывает.

Если кто-нибудь в это и поверил, то лишь пока не стало известно катастрофическое состояние его дел; пару дней спустя можно было видеть, как по улицам Уэстона бесцельно бродят пожилые мужчины и женщины, не в силах понять, за какие грехи им такое несчастье.

Но у кого же достанет времени и жалости на таких второстепенных персонажей жизненной драмы? Все внимание, все сочувствие общественности были сосредоточены на Орфе Уэттенхолле. Какие душераздирающие муки испытывал этот человек перед тем, как добровольно уйти из жизни! Разве не примечательно, что он отправил себя в мир иной, глядя на громадную голову лося, собственноручно убитого им лет сорок назад! А следующей осенью, когда откроется охота на оленей, кому достанет смелости занять его место? А как ловко и быстро драл он шкуру с дичи, где найдешь ему равных? О том, с какой ловкостью драл он шкуру с клиентов, почти не говорили, ну разве что кто-нибудь замечал, что, ясное дело, старик Орф намеревался при первой же возможности возместить пострадавшим все их потери.

В воздухе витало общее невысказанное мнение, что Берта Шанклин поступила не совсем порядочно, ведь если бы не ее преждевременная смерть, местный Нимрод не оказался бы в таком неприятном положении. *«Лишь милостью Божьей я здесь, а не там»*, – сказали некоторые; подобно большинству людей, цитирующих это неоднозначное высказывание, они никогда не задумывались над его смыслом. Что же касается Мэри Демпстер, ее имя ни разу не упоминалось. Таким образом я усвоил два урока: что популярность никак не связана с добропорядочностью и что сострадание замутняет мозги быстрее любого виски.

Вся наличность, обнаруженная мною в доме мисс Шанклин, составила двадцать один доллар, на ее банковском счете, куда ежеквартально поступали переводы от Уэттенхолла, осталось всего двести долларов, все остальное было истрачено на ее лечение и похороны. Поэтому я сразу взял содержание миссис Демпстер на себя, это продолжалось до самой ее смерти, последовавшей в 1959 году. А что было делать?

Как душеприказчик я имел право продать дом и обстановку, однако они ушли за неполные четыре тысячи, депрессия – не лучшее время для аукционов. Со временем я был официально утвержден в качестве опекуна миссис Демпстер. Однако сразу возникала проблема: где и как ей жить? Если поместить ее в частную клинику, я мгновенно останусь без гроша. Всех учителей Колборна попросили отдавать часть жалованья, чтобы сохранить школу на плаву, и мы дружно согласились; родители многих ребят либо совсем не могли платить за обучение, либо просили подождать до когда-нибудь потом, а исключать таких учеников было не в обычаях нашей школы. Мои деньги были вложены много лучше, чем у подавляющего большинства людей, но в тот момент даже «Альфа» почти не платила дивидендов – Бой сказал, что в такое время это выглядело бы не слишком прилично, так что компания несколько раз выпускала

дополнительные акции, и значительная часть доходов возвращалась в производство, с расчетом на будущее. Как одинокий холостяк я был обеспечен весьма недурно, но на содержание беспомощного иждивенца моих денег катастрофически не хватало. Поэтому мне пришлось скрепя сердце поместить миссис Демпстер в общественную больницу для умалишенных здесь же, в Торонто, так что я мог постоянно ее навещать.

День, когда я сдал ее в больницу, был черным для нас обоих. Персонал производил приятное впечатление, только его явно не хватало, а уж здание было хуже некуда. Его построили лет восемьдесят назад, когда психически нездорового пациента сразу же укладывали в кровать, чтобы чего-нибудь не натворил, да так и держали до выздоровления – или смерти. Поэтому комнат отдыха в больнице почти не было и пациентам только и оставалось, что бродить по коридорам, сидеть в тех же коридорах или лежать у себя в палатах. Архитектура здания была того сорта, что выглядит снаружи гораздо лучше, чем изнутри, купол и масса зарешеченных окон делали его похожим на сильно запущенный замок.

Потолки в палатах были высокие, но освещение плохое, а вентиляция ненадежная, несмотря на многочисленность окон. Больница насквозь пропахла дезинфекцией, а еще больше – отчаянием; этот трудноопределимый, но безошибочно узнаваемый запах неизменно господствует в тюрьмах, судах и сумасшедших домах.

Миссис Демпстер получила место в длинной узкой палате; когда я уходил, она стояла рядом с кроватью в компании симпатичной, дружелюбной сестрички, заботливо объяснявшей, как ей следует распорядиться содержимым своего чемодана. За какие-то минуты ее лицо успело принять выражение, знакомое мне по худшим дептфордским дням. У меня не хватило духу обернуться, и я чувствовал себя полным мерзавцем. Но что еще было мне делать?

3

Я учил ребят, с сожалением наблюдал, как Бой, по своему недомыслию, гробит Леолу, привыкал к новой – на этот раз полной – ответственности за миссис Демпстер, и все же отнюдь не вышеперечисленные занятия сделали этот период самым важным, самым напряженным в моей жизни. Дело в том, что именно тогда я установил связь с болландистами – иначе говоря, попал в самое русло исследований, принесших мне в дальнейшем не только массу удовольствия, но и известность в определенных, довольно узких кругах.

Всю свою жизнь я только и делаю, что объясняю всем по очереди, кто такие болландисты, а потому, директор, хотя в школе и считается, что Вы знаете ответ на любой вопрос, я осмелюсь Вам напомнить, что это – группа иезуитов, на которую возложена задача собирать всю доступную информацию о святых и публиковать ее в великих *«Acta Sanctorum»*⁷, издание которых было начато Йоханнесом ван Болландом в 1643 году и продолжается по сей день, изредка прерываясь на время светских или религиозных распрей. С 1837 года болландисты работают почти без перерывов; начав со святых, чей день отмечается в январе, они издали уже шестьдесят девять томов и добрались до ноября.

В дополнение к долгой титанической работе, с 1882 года они начали издавать *«Analecta Bollandiana»* – ежегодные подборки материалов, связанных с их исследованиями, но не могущих быть включенными непосредственно в *«Acta»*. При всей скромности своего названия, *«Analecta»* представляют огромный интерес как в плане непосредственно агиографическом, так и в историческом.

Как историку, мне всегда казалось крайне любопытным, кто имеет большие шансы стать святым в ту или иную эпоху. Некоторые века предпочитают чудотворцев, а другие – талантливых организаторов, чья деловая активность приносит результаты, оставляющие полное впечат-

⁷ «Деяния святых» (лат.).

ление чуда. В последние годы добрые старые святые, вызывавшие любовь даже у протестантов, постепенно уступают место личностям значительно меньшим, родившимся, на свое счастье, с черной, желтой или красной кожей, – расовое равноправие, провозглашенное в сей юдоли скорбей, переносится и на мир горний. Мои болландистские друзья ничуть не боятся признать, что в отборе святых гораздо больше политики, чем могло бы показаться неискушенным верующим.

Скромность моих доходов не позволяла даже думать о покупке «*Acta*», однако я часто – до двух-трех раз в неделю – работал с ними в университетской библиотеке. Зато я однажды наткнулся на полный комплект «*Analecta*» и не смог пройти мимо, несмотря на его безумную, по меркам Великой депрессии, цену. Эти объемистые, в явно иностранных переплетах тома вызывали почтительное удивление практически у каждого, кто впервые заходил в мой школьный кабинет.

Узнав, что я действительно читаю по-французски, по-немецки и на латыни, ребята выпучивали глаза; думаю, им было полезно воочию убедиться, что эти языки действительно существуют, а не придуманы нарочно, чтобы мучить школьников. Кое-кто из коллег поглядывал на мои книги иронически, а находились и надутые дураки, распускавшие слухок, что я «переметнулся к Риму»; старик Игл (это было задолго до Вашего времени) посчитал своей обязанностью предостеречь меня против блудницы вавилонской и риторически спросил, ну как я могу «проглотить Папу». С того времени миллионы людей проглотили Гитлера и Муссолини, Сталина и Мао, да и мы не поперхнулись некоторыми демократическими лидерами, так что уж там говорить про Папу. Но вернемся в 1932 год, когда я только что подписался на «*Analecta*» и жадно их читал, а кроме того, усиленно изучал греческий (не древнегреческий Гомера, а диковатый язык средневековых монахов-летописцев), чтобы расширить круг доступного мне материала.

Именно тогда у меня появилась наглая идея послать заметки по Анкамбер главному редактору «*Acta*», великому Ипполиту Делэ, который в худшем случае мог проигнорировать их либо вернуть с парой слов благодарности. Но во мне-то все еще жили протестантские представления, что католики норовят при первой же возможности плюнуть тебе в лицо, а уж с этих иезуитов, искушенных в обмане и двуличии, вполне станется украсть мою работу, а затем, чтобы и концы в воду, взорвать меня бомбой. Но я решил рискнуть.

Через месяц с небольшим я получил письмо следующего содержания:

C. er Monsieur Ramsay,

Ваши заметки по образу Вильгефортис-Куммернис были прочитаны некоторыми из нас с определенным интересом; хотя содержащуюся в них информацию нельзя назвать совершенно новой, интерпретация и обобщения проведены настолько убедительно, что мы просим вашего согласия на публикацию работы в ближайшем выпуске «*Analecta*». Время поджимает, поэтому я буду крайне благодарен, если вы ответите на это письмо при первой же возможности. Если вам доведется попасть в Брюссель, мы были бы очень рады видеть вас у себя. Нам всегда приятно познакомиться с серьезным агиографом, а особенно с таким, который, подобно вам, занимается

исследованиями не по профессиональной обязанности, но из любви к предмету.

*Avec mes souhaits sincères*⁸,

Innohim Делэ, О. И.

Société des Bollandistes

24 Boulevard Saint-Michel

Bruxelles

Немногие вещи приводили меня в такой восторг, как это письмо; я храню его и по сей день. Со времен войны я приучил себя не говорить о своих радостях, если собеседники не готовы их разделить – как чаще всего и бывало, после чего я обижался и радость моя блекла; ну почему каждый раз оказывается, что то, что интересно мне, глубоко безразлично окружающим? Но на этот раз мне было не сдержаться. Когда я вскользь заметил в учительской, что мою статью приняли в «Analecta», коллеги посмотрели на меня, как коровы на проезжающий мимо поезд, и вернулись к разговору о гольфе – какой-то там Бребнер уложил вчера мяч в лунку с одного удара, это просто потрясающе...

Затем я похвастался Бою; до его мозгов дошло только одно: статья написана по-французски. Честно говоря, я не стал рассказывать ему историю про Анкамбер и ее бороду, психологически-мифологические сплетни подобного рода могут вызвать интерес только у бесхитромого верующего или у изошренного интеллектуала. Бой не был ни тем ни другим, зато он хорошо подмечал класс, как в вещах, так и в людях; теперь меня приглашали к Стонтонам заметно чаще, и не в одиночку, а отобедать вместе с его влиятельными друзьями. Иногда я слышал краем уха, как Бой характеризует меня какому-нибудь банкиру или брокеру: «Очень способный парень, свободно говорит на нескольких языках, много печатается в европейских изданиях, немного чудаковат, уж что есть, то есть, но со старого приятеля какой спрос?»

Думая, что я пишу о «злободневных проблемах», приятели Боя часто интересовались моим мнением, чем и когда кончится депрессия. Я с умным видом говорил, что она близится к завершению, однако это совсем не значит, что завтра наступит улучшение, вполне возможно, что самое худшее еще впереди, – иначе говоря, выдавал ту смесь надежды и мрачных опасений, которая кажется финансистам наиболее бодрящей. Я считал их жуткими олухами, ничуть не отрицая за ними некие невидимые мне достоинства, иначе как бы они сумели стать богатыми? При всей моей любви к деньгам я не согласился бы иметь такие, как у них, мозги ни за такие, как у них, деньги, ни за много бóльшие.

При всей своей странности и тупости эти денежные, влиятельные друзья Боя были очевидным образом интересны друг для друга. Они много рассуждали о «политике», не связывая это слово ни с какими тактическими или стратегическими планами; кроме того, они очень беспокоились о нуждах рядового человека – «обычного, среднего парня», если говорить их языком. У этого среднего парня имелись два существеннейших изъяна: он не умел рационально мыслить и все время норовил жать там, где не сеял. Ни один из этих ка-питтл-истов не проявлял хотя бы самой зачаточной способности к рациональному мышлению, и я был вынужден прийти к заключению, что они действительно жнут там, где посеяли, однако сеяли они не упорный труд и отказ от многих жизненных радостей, как казалось им самим, но талант, талант довольно редкий, талант такого свойства, что никто, даже его обладатели, не хочет признавать его талантом, чем-то таким, чего если нет, то и не будет, сколько ты ни трудись. В отличие от большинства своих сограждан они имели талант к денежным махинациям.

Сколько света и радости вошло бы в жизнь этих людей, признай они сами, а вслед за ними и мир, умение ловко загребать под себя даром свыше, сродни талантам музыканта, живописца и скульптора. Но это было не в их обычаях, они упорно низводили свой дар на будничные уро-

⁸ С наилучшими пожеланиями (фр.).

вень трудолюбия и благоприобретенных знаний. Они хотели выглядеть людьми умудренными в жизненных делах и проницательными в политике, хотели демонстрировать своим примером, чего мог бы добиться каждый средний парень, научись он мыслить рационально и жать только там, где сам же и сеял. Друзья Боя и их супруги (сильно смахивавшие в большей своей части на попугаев либо на бульдогов) были настолько скучны и сварливы, что «обыкновенному парню» вряд ли стоило так уж стремиться быть похожим на них.

Мне казалось, что они знают о рядовом человеке значительно меньше моего, потому что я сражался на войне как рядовой человек, эти же люди были, как правило, офицерами. Я видел и героизм рядового человека, и его зверство, его чуткость и его бездушную жестокость, однако я не замечал за ним особого умения разработать и осуществить какой-либо связный, далеко идущий план; он был таким же заложником своих чувств, как и эти богатые мудрилы. Где найти мудрость, где найти понимание? Не в среде Стонтоновых дружков – ка-питл-истов, но и не у нищих доктринеров из нашей учительской, и не у социалистов-коммунистов, которые регулярно организовывали в городе митинги, столь же регулярно разгоняемые полицией. Создавалось впечатление, что у всех – кроме меня – есть свои проекты, как поставить мир на ноги и высушить слезы всех страждущих. Стоит ли удивляться, что я чувствовал себя пришельцем в земле родной.

Стоит ли удивляться моему желанию хоть где-нибудь чувствовать себя своим; до первого своего визита в брюссельский коллеж де Сен-Мишель я был настолько наивен, что надеялся найти такой приют в среде болландистов. Две (или три? теперь уже и не вспомнишь) недели промелькнули как сон; у них есть специальный зал для иностранных ученых, но мне сразу же предоставили полную свободу передвижения; когда же я поближе познакомился с иезуитами, руководившими этим заведением, и завоевал их доверие, они дали мне свободный доступ к изумительнейшей библиотеке коллежа. Свыше ста пятидесяти тысяч книг о святых! Для меня это был истинный рай.

И все же нередко бывало, что часа в три пополудни, когда воздух в библиотеке сгущался от жары и многие высокоученые читатели задремывали, уронив голову на свои выписки, я задумывался: Данстан Рамзи, что ты здесь делаешь? К чему это все приведет? Тебе уже тридцать четыре, а ни жены, ни детей, ни даже плана, как жить, все какие-то причуды; ты учишь мальчишек, которые справедливо считают тебя указательным столбом на своем жизненном пути – и проходят мимо не оглядываясь, как мимо того же столба; единственный человек, нуждающийся в твоей опеке, – психически ненормальная женщина, чья нескладная жизнь наводит тебя на такие дикие мысли, что впору усомниться в твоей собственной нормальности; ты сидишь, зарывшись в невероятные, почти сказочные жизнеописания, составленные людьми, напрочь лишенными чувства истории, – и все же упорно считаешь себя при деле. Вместо того чтобы поехать в Гарвард, написать докторскую диссертацию, получить работу в университете, сменить этот бред на интеллектуальную респектабельность. Очнись! Так ведь можно всю жизнь проспать!

После чего я продолжал выяснять, кто и на каких основаниях отождествил Марию Магдалину с Марией, сестрой Марфы и Лазаря, и не имели ли эти сестры, одна из которых символизирует домовитость, а другая чувственность, прямых аналогов в более ранних языческих верованиях, и даже – о безмозглый бездельник! – не был ли их богатый папаша похож в чьих-либо описаниях на богатеньких дружков Боя Стонтона. А если да – стоит ли удивляться, что его дочери пошли по кривой дорожке?

Но эти послеобеденные сомнения и угрызения ничуть не мешали мне прочно стоять на своей идее (почти не сформулированной, так что вернее назвать ее интуитивной догадкой), что серьезное исследование любого важного раздела человеческих знаний, или теории, или верования, предпринятое критически, но без враждебности, неизбежно откроет под конец некий секрет, даст ценное, непреходящее прозрение, позволит хоть немного понять природу бытия

и истинное предназначение человека. Странноватая стезя для дептфордского парня, возвращенного в протестантизме, но провидение толкало меня на нее с таким упорством, что любое сопротивление было бы непозволительной – и опасной – дерзостью. Ибо я, как Вы уже поняли, предпочитал сотрудничать с судьбой, а не требовать с нее каких-то там сокровищ, не приставлять ей дуло к виску. Все, что мне оставалось, – это брести дальше, шагком за шагком, не терять веры в свою причуду и твердо помнить, что озарение может прийти с любой, самой неожиданной стороны; так было со всеми святыми, так случится и со мной – буде я того сподоблюсь.

Общество болландистов было не слишком многочисленно, так что я быстро перезнакомился со всеми его членами, не переставая изумляться их дружелюбию и обходительности. И все же, хоть я и не верил больше в страшные сказки про иезуитов, прежнее недоверие не исчезло полностью. Я считал, к примеру, что они необыкновенно хитры и что разговаривать с ними нужно очень осторожно – хотя что уж такого неосторожного мог я сказать? Но если эти люди и обладали некой сверхъестественной хитростью, они не стали растрачивать ее на меня. Еще я ожидал, что они нюхом почуют в моих жилах черную протестантскую кровь и будут меня сторониться. Все вышло как раз наоборот – протестантизм сделал меня экзотическим существом и даже всеобщим любимцем. В то время картотеки были еще новинкой, и гостеприимных хозяев очень заинтересовала моя работа с карточками; сами они делали заметки на клочках бумаги и хранили эти клочки в систематическом порядке с непостижимой для меня виртуозностью. Но при всей их приветливости, при всей широте нашего общения, я быстро утратил надежду стать своим в этом любезном, не от мира сего мирке – в немалой степени потому, что Общество Иисуса косо смотрит на близкие отношения своих членов с кем бы то ни было, даже друг с другом.

А потому нетрудно понять, насколько я был польщен, когда в заключение одного из моих немногих разговоров с отцом Делэ, главным редактором «*Analecta*», он сказал:

– Как вы заметили, наш журнал публикует материалы, представляемые самими же болландистами и их друзьями; я надеюсь, что вы будете активно с нами сотрудничать и приезжать сюда, когда представится возможность, ибо мы, вне всяких сомнений, считаем вас своим другом.

Это было нечто вроде прощального напутствия, потому что уже на следующий день я уезжал в Вену в компании престарелого болландиста падре Игнасио Бласона.

Падре Бласон был в Обществе болландистов своеобразным уникамом, его эксцентричность с лихвой искупала подчеркнуто непримечательную внешность и невозмутимое спокойствие остальных, и я не ошибусь, сказав, что они за него краснели. Вопреки иезуитскому обычаю не афишировать своего сана, он был несомненным, почти театральным священником. Он не только носил сутану внутри коллежа, но даже выходил в ней на улицу, что совсем не поощрялось. Его затрепанная черная шляпа могла быть частью костюма дона Базилио из «Севильского цирюльника», утратившей за долгие годы службы всякую форму и благопристойность. Бархатную скуфейку, ставшую из черной зеленой, с добела протертыми швами, он носил и в помещении, и даже на улице, – под той самой шляпой. Почти все прочие священники курили, довольно умеренно, он же нюхал табак совершенно неумеренно и носил его в большой роговой шкатулке. Его поломанные очки были связаны замызганной веревочкой. Его волосы взывали не о гребенке и ножницах, а о чем-нибудь вроде газонокосилки. У него был багровый, объемистый нос. Ввиду почти полного отсутствия зубов его щеки глубоко запали. В общем, он был настолько карикатурен, что ни один режиссер, обладающий хоть каплей вкуса, не выпустил бы актера в таком гриме на сцену. И вот же пожалуйста, такой невозможный персонаж, причем не театральный, а самый что ни на есть жизненный, разгуливает, шаркая ногами, по болландистской библиотеке, что-то напевает себе под нос, оглушительно чихает после огромной понюшки и с любопытством заглядывает людям через плечо, чем они там занимаются.

Его терпели за большую ученость и преклонный (никто не знал, какой именно) возраст. По-английски он говорил бегло, с еле заметным акцентом и с нескрываемым удовольствием поражал новых знакомых, виртуозно перескакивая с языка на язык. Когда я впервые заметил падре Бласона, он увлеченно болтал с каким-то ирландским монахом на гэльском, не слыша или не желая слышать осторожных «Тсс» и «*Tacet*» дежурного библиотекаря. Когда же он заметил мое существование, то попытался ошарашить меня длинной латинской фразой, однако я не спасовал, и он перешел на английский. Вскоре я узнал, что падре Бласон любит хорошо поесть, и предложил ему пообедать вместе.

– Я из разряда прирожденных гостей, – сказал он, – и если вы возьмете счет на себя, я с радостью и сторицей отплачу вам сведениями о святых, – сведениями, которых вы точно не найдете в нашей библиотеке. И наоборот, если вы предложите и мне, в свой черед, быть хозяином, вам придется меня развлекать, а это ох как непросто. В роли хозяина я капризен, раздражителен и ненадежен. В роли же гостя – о, это совсем иной коленкор, могу вас заверить.

Так что я неизменно был хозяином, и мы посетили целый ряд хороших брюссельских ресторанов. Падре Бласон более чем сдержал свое слово.

– Вы, протестанты, если уж вам взбрет заинтересоваться святыми, смотрите на них с благоговением совершенно неверного рода, – сказал он за первым нашим обедом. – Скорее всего, вас вводит в заблуждение эта дешевка, наши религиозные статуи. А ведь все эти розовенькие и голубенькие куклы имеют вполне конкретного адресата: они для людей, считающих их прекрасными. Хорошенький розовощекеный святой Доминик с лилией в руке – это же крестьянкин идеал хорошего мужчины, прямая противоположность мужчине, за которого она вышла замуж, – вонючему мужику, который лупит ее почем зря, а зимними ночами греет промерзшие ноги о ее задницу. А ведь [настоящий святой Доминик](#) – учтите, Рамзес, это говорит вам иезуит, – нимало не походил на сахарную куклолку. Вы знаете, что его матери был сон, что она родит пса с горящим факелом в пасти? Вот таким он и был – яростно и настойчиво нес пламя веры. Но покажи той крестьянке пса с факелом, и она равнодушно отвернется, ей нужен святой Доминик, способный увидеть красоты ее души, а тут будет человек без страстей и желаний, такой себе возвышенный евнух... Но она слишком живая, чтобы хотеть эту куклу все время. Она не возьмет ее в обмен на своего духовитого мужика. Она дает своим святым новую жизнь и некие очень странные заботы; мы, болландисты, знаем о них, но помалкиваем. Вот, скажем, святой Иосиф – кому он покровительствует, а?

– Плотники, умирающие, семья, женатые пары, люди, подыскивающие себе дом.

– Да, а в Неаполе еще и кондитеры, не знаю уж почему. А что еще? Ну давайте, шевелите мозгами. Чем знаменит Иосиф?

– Земной отец Христа.

– Какой благовоспитанный протестантский мальчик! Иосиф – самый знаменитый рогоносец в истории. Разве Господь не подменил Иосифа в одной из существеннейших функций, оплодотворив его жену через, как считается, ухо? Знаете ли вы, как называют гадкие маленькие семинаристы элемент женской анатомии *sine qua non*?⁹ *Augicula*, то есть ухо. Так вот, во всей Италии обеспокоенные мужья обращаются за помощью к Тию Пепе, дядюшке Иосифу. Могу вас заверить, что рогоносцы возносят святому Иосифу больше молитв, чем кондитеры и алчущие нового дома, вместе взятые. А знаете ли вы, что в мире теневой агиологии, с которым я обещал вас познакомить, шепчутся, что сама Дева, родившаяся у Иоакима и Анны благодаря божественному вмешательству, не только родила от Бога, но и родилась от Бога, такое бы и греки оценили. Согласно народной легенде, родители Марии были очень богаты, что идет вразрез с почитанием Церковью бедных, зато прекрасно согласуется со всеобщим почитанием

⁹ То, без чего нет (*лат.*).

денег. А вы знаете скандальную историю, из-за которой статую Марии ставят как можно дальше от статуи Иоанна Крестителя?..

К этому времени падре Бласон уже кричал, и мне пришлось его утихомирить. Посетители ресторана недоуменно оглядывались, две благочестивого вида дамы буквально задыхались от возмущения. Падре окинул зал диким взглядом заговорщика из мелодрамы и перешел на свистящий шепот. Из его рта фонтанировали крошки.

– Но вы поймите, Рамзес, что во всех этих кошмарных сплетнях нет ничего оскорбительного! Отнюдь! В них вера! В них любовь! Они делают святого ближе, человечнее и понятнее, достраивая оборотную сторону его характера, утаенную историей или легендой – да он и сам мог ее утаить в борьбе за место в сонме святых. Святой торжествует над злом. Да, но мы, большинство, не способны на это, а так как мы любим святого и хотим, чтобы он походил на нас, мы приписываем ему некое несовершенство. Не обязательно сексуальное. Фома Аквинский был чудовищно толстым. У святого Иеронима был кошмарный характер. Это приятно толстым людям и вспльчивым людям. Человеку неуютно в компании совершенства, оно его душит. Он хочет, чтобы даже святые отбрасывали тень. И если они, эти праведники, жившие так благородно, но все же тянущие за собою тень, если они приблизились к Господу, что ж, тогда и для худших из нас остается какая-то надежда... Иногда я задумываюсь, почему святость так редко совмещается с мудростью. Да, среди святых встречались и мудрецы, но тупых-то гораздо, гораздо больше. Я часто задаюсь вопросом, почему Бог ценит мудрость гораздо ниже, чем героическую добродетель. Мудрость не слишком эффектна, она не блещет, не озаряет небеса. А люди, как правило, любят яркие эффекты. И я их в этом не виню. Но что касается меня самого – нет, спасибо, не надо.

Вот этот ученый болтун и стал моим компаньоном по поездке из Брюсселя в Вену. Как и было договорено, я пришел задолго до отправления поезда, но падре Бласон пришел еще раньше и обосновался в пустом вагоне. Он сидел у открытого окна и отпугивал спящих по перрону пассажиров громким чтением требника.

– Ну-ка, помогите мне с Патерностером, – сказал падре Бласон и оглушительно заревел Господню молитву на латыни; я поддержал его, тоже во весь голос, «Аве Мария» и «Агнус Деис» звучали в нашем исполнении не менее впечатляюще. Посредством этого благочестивого буйства мы сохранили весь вагон в полном своем распоряжении. Люди совались в дверь, быстро соображали, что не выдержат такого общества, и удалялись, недовольно бормоча.

– Странно, что никто из путешествующих не желает присоединить свой голос к молитве, которая может – как знать? – предотвратить какое-нибудь ужасное несчастье, – подмигнул мне Бласон; секунду спустя свисток дежурного дал сигнал к отправлению, паровоз загудел, и поезд отошел от перрона. Бласон накинул себе на колени большой носовой платок, пристроил посередине него роговую табакерку, закинул свою жуткую шляпу на багажную полку, где уже покоился опоясанный какой-то лямкой тюк, и изготовился к обстоятельной беседе.

Но сперва он задал мне главный вопрос:

– Вы захватили корзинку с провиантом? – (Я захватил, причем весьма увесистую.) – Думаю, будет весьма разумно без промедления заняться бренди, – сказал он. – Я не в первый раз проделываю этот путь и знаю, что вагонная тряска бывает весьма неприятной.

Невзирая на ранний час (половина десятого утра), мы дружно взялись за бренди, и вскоре падре Бласон завел один из своих долгих, исполняемых во весь голос монологов, которые кажутся ему много предпочтительнее нормального обоюдного разговора. Если отцедить ораторскую воду, он говорил следующее:

– Нет, Рамзес, я не забыл ваших вопросов про женщину, которую вы держите в психушке. При наших последних встречах я не затрагивал этой темы, но я продолжал ее обдумывать, уж вы мне поверьте. И каждый раз я приходил к одному и тому же ответу: да какая вам разница? Что вам толку, если я заявлю, что она действительно святая? Я не делаю святых, да и Папа

тоже. Мы можем только признать святых святыми, когда имеются несомненные доказательства их святости. Если вы считаете ее святой – значит она для вас святая. Ну чего вам еще? Это то, что мы называем внутренней, духовной реальностью, вы же настолько глупы, что хотите, чтобы с вами согласились и все остальные. Она протестантка. Ну и что? Само собой, быть протестантом – значит быть наполовину атеистом, и ваши бесчисленные секты не находили в своей среде никаких святых со времени так называемой Реформации. Но было бы очень не по-христиански считать, что в протестанте не может проявиться героическая добродетель. Верьте себе, своим собственным суждениям, ведь ради чего протестанты устроили весь этот шум и тарарам? Ради права судить обо всем самостоятельно.

– Собственно говоря, меня тревожат в основном чудеса. А все, что вы тут говорили, не принимает чудес во внимание.

– О, чудеса, чудеса! Они происходят везде и повсюду. И они зависят от обстоятельств. Если я вас сфотографирую, это будет скучноватая любезность. Если я отправлюсь в южноамериканские джунгли и сфотографирую дикаря, он сочтет это чудом и может даже испугаться, что я украл часть его души. А собака попросту не знает, как она выглядит, а потому не реагирует на свой снимок. Чудеса – это то, чему люди не могут найти объяснения. В Средние века ваш протез воспринимался бы как чудо, возможно даже сатанинское чудо. Чудеса сильно зависят от времени и места, от того, что мы знаем и чего не знаем. Вот я еду в Вену работать в бывшей Императорской библиотеке с каталогом греческих рукописей. Я захлебнусь в чудесах, потому что эти простодушные греческие монахи обожали сверхъестественные проявления и видели их за каждым кустом. Задолго до завершения этой работы меня будет тошнить от одного слова «чудо». Сама по себе жизнь – такое огромное чудо, что вряд ли стоит устраивать песни и пляски вокруг пустяковых нарушений того, что мы напыщенно называем законами природы. Вот взгляните на меня, я ведь и сам нечто вроде чуда. Мои родители жили в нескольких лигах от Памплоны, простые, малообразованные испанцы. У них было семь дочерей – вы только подумайте, Рамзес, семь! Моя мама не знала, куда глаза девать от стыда. Мама дала обет, торжественный, в церкви, что, если ей удастся родить сына, она отдаст его служить Господу. Эта церковь принадлежала иезуитам, поэтому она добавила, что сделает будущего сына иезуитом. Не прошло и года, как на свет появился маленький Игнасио, получивший свое имя в честь причисленного к лику святых основателя Общества Иисуса. После семи дочерей женщина родила сына; генетик не усмотрел бы здесь ничего особо удивительного, но для моей матери это было чудо. Соседи говорили (вы же знаете, что такое соседи): «Все это плохо кончится, он будет сорванцом и бандитом, этот Игнасио, по таким посвященным детям всегда тюрьма плачет». Ну и что, сбылось их пророчество? Ни в коем разе. Я чуть не от рождения был самым настоящим иезуитом: прилежный, послушный, сообразительный и целомудренный. Воззрите на меня, Рамзес, девственник в возрасте семидесяти шести лет! О многих ли можно сказать такое? Девушки буквально расстилались, чтобы меня соблазнить, их подбивали на это мои сестрички – обладая лишь обыкновенной, житейской девственностью, они считали мою девственность противной. Не стану скрывать, эти искушения мне льстили. Но я всегда говорил: «Господь не затем даровал нам драгоценную чистоту, чтобы мы втапывали ее в грязь, милая моя Долорес (или Мария, или кто уж там); молись, чтобы Бог дал тебе достойного и любящего мужа, меня же выкинь из мыслей своих». Как же они меня за это ненавидели! Одна девушка шарахнула меня здоровенным камнем, видите отметину, здесь, где когда-то начинались волосы? И это было самым настоящим чудом, потому что каждое утро я имел надежное доказательство, что мог бы стать великим любовником, – вы меня понимаете? – но я любил свое призвание. Я любил его так самозабвенно, что у испытателей, принимавших меня послушником в орден, возникло сильное недоверие. Слишком уж я был хорош, ну все одно к одному. Они чуть не наизнанку меня вывернули, выискивая хоть какое-нибудь пятнышко, хоть какую-нибудь черточку, нуждающуюся в исправлении и искуплении, – ту самую тень, о

которой мы тут говорили, – и не нашли ничего, ровно ничего. Вы не можете себе представить, как это мне мешало, уж лучше бы я был высокомерным упрямым и смутьяном. Мое послушничество было очень трудным, а когда я его прошел и сформировался как ученый, мне продолжали то и дело подсовывать всякую грязную, неприятную работу – а вдруг сломаюсь. Прошло целых семнадцать лет, пока мне разрешили принять четыре последних обета, предстоящих постригу. А потом – ну, вы и сами видите, что из меня вышло. Человек я далеко не бесполезный, усердно и с успехом работаю на болландистов, но уж к цвету Общества Иисуса меня никак не причислишь. Если я и был когда-то чудом, то теперь с этим покончено. Моя тень проявилась в довольно позднем возрасте. Вы знаете, что подготовка иезуитов основана на самопознании и глубококом, безжалостном изменении личности. Чтобы быть допущенным к последним обетам, ты должен полностью искоренить из своего благочестия все причудливое и эмоциональное, так считается. Думаю, мне это удалось, во всяком случае мои наставники были вполне удовлетворены, однако позднее, уже на пятом десятке, у меня стали появляться мысли и вопросы неожиданного рода, они просто не должны были приходить мне на ум. У мужчин тоже бывает климакс, не только у женщин. Врачи это отрицают, но я сам замечал у многих представителей их профессии очевиднейшие признаки менопаузы. А что до моих идей... Ну вот, например, про Христа. Он придет к нам снова, не так ли? Честно говоря, я сомневаюсь, что Он так уж далеко уходил. Но если Он придет, то для чего? Ведь все надеются, что Он придет, чтобы таскать для них каштаны из огня. [А что они скажут, если Он придет и иссушит их виноградную лозу?](#) Сегодня изгоняет меня из храма, а завтра якшается с богачами – в точности как прежде? Вы же помните, какой Он был вспыльчивый, весь в Отца. В каком обличье придет Он на этот раз? Человеком западной цивилизации – ну, скажем, ирландцем или техасцем, – потому что Запад – цитадель христианства? Уж всяко не евреем, а то тут такое начнется, туши свет. Если Израиль предъявит миру такого неожиданного претендента, арабы вообще животики надорвут. Уладит ли Он распрю между католиками и протестантами? Все эти вопросы кажутся легкомысленными, детскими. Но кто, как не Он, сказал, что мы должны быть как дети? Я думаю, он вернется, чтобы продолжить свое пастырство уже стариком. Я старик, я положил всю свою жизнь на служение Христу, и вот я должен вам признаться, что чем старше я становлюсь, тем меньше говорит мне Христово учение. Иногда я очень остро ощущаю, что следую путем учителя, которому было на момент смерти в два с лишним раза меньше лет, чем мне сейчас. Я вижу и чувствую то, что ему так и не довелось увидеть и почувствовать. Я знаю такие вещи, которых он, похоже, так и не узнал. Каждый хочет Христа на свой вкус. Так разве я виноват, что хочу Христа, который покажет мне, как жить в старости? Напор, догматизм, безапелляционная уверенность Христова учения – все это характерно для молодости, мне же нужно нечто такое, что учитывает богатство опыта, понимание парадоксальности и неоднозначности, приходящее с годами! Мне кажется, после сорока лет мы должны вежливо преклониться перед Христом, однако обратиться за направлением и утешением к Богу Отцу, искушенному в добре и зле бытия, а также к Духу Святому, чья мудрость много выше мудрости воплощенного Христа. В конце концов, мы же почитаем Троидного Бога, для которого Христос лишь одна из ипостасей. Я думаю, Он вернется в первую очередь для того, чтобы провозгласить единство жизни плотской и жизни духовной. А тогда, может, мы и сумеем малость упорядочить эту жизнь, составленную из чудес, жестоких обстоятельств, непристойностей и банальностей. Как знать – может, нам даже удастся сделать ее терпимой для всех. Я не забыл эту вашу повернутую святую. А что вы дергаетесь, что она получила из-за вас по голове, так это полная дурь. Возможно, ей так и было на роду написано. Вот вы говорите, она спасла вас на войне. А разве она не спасла вас и тогда, приняв удар, предназначавшийся вам? Я совсем не предлагаю вам бросить ее; раз у нее нет, кроме вас, никаких друзей, помогайте ей, оказывайте всяческую заботу. Но не берите на себя роль Бога, не пытайтесь воздать ей за то, что вы нормальный, а она сумасшедшая. Задумайтесь лучше над настоящим вопросом: кто она

такая? Нет, я совсем не имею в виду ее полицейские данные или там какая у нее была девичья фамилия. Вопрос в другом: кто она такая в вашем личном мире? Каков ее образ в вашей личной мифологии? Если, как вы говорите, она спасла вас на войне, это было связано с вами ничуть не меньше, чем с ней, а пожалуй, и много больше. У многих людей в минуту крайней опасности возникает перед глазами образ матери. А почему не у вас? Почему вам явилась эта женщина? Кто она такая? Именно это должны вы узнать, и вам следует искать ответ не в объективных обстоятельствах, но в психологических. Быстро у вас не получится, уж это позвольте мне знать. А пока вы ищете, займитесь собственной жизнью и допустите вероятность, что она может быть куплена ценою ее жизни и что это может быть Божьим промыслом для нее и для вас. Вы думаете, это ужасно? И для нее, несчастной жертвы, и для вас, кто должен принять жертву? Слушайте, Рамзес, вы слышали, что сказал Эйнштейн? Эйнштейн, великий ученый, а не какой-нибудь там иезуит вроде старика Бласона! Он сказал: «Бог изощрен, но не коварен». Осознайте эту здравую еврейскую мудрость своими скособоченными протестантскими мозгами. Старайтесь понять изощренность и кончайте свой скулеж про коварство. Может быть, Бог хочет от вас чего-то особого. Настолько особого, что вы стоите умственного здоровья этой женщины. Я вижу, о чем вы думаете, вижу по вашей кислой шотландской физиономии. Вы думаете, я говорю так под воздействием роскошного содержимого вашей корзинки. Я слышу, как вы думаете: «Старик Бласон разболтался, вдохновленный жареной курицей, и салатом, и сливами, и сладостями, а также целой бутылкой „Боне“ и несколькими рюмками бренди. Поэтому он раскис и убеждает меня думать о себе хорошо, вместо того чтобы презирать себя и ненавидеть, как то положено порядочному протестанту». Чушь, Рамзес, чистая чушь. Я пташка старая и мудрая, но никак не анахорет, способный прорицать лишь тогда, когда ему голод кишки узлом стянет. Я глубоко закопался в старую людскую загадку, пытаюсь связать мудрость тела с мудростью духа до полного их единства. В моем возрасте попытка разобщить дух с телом неизбежно приводит к саморазрушительным страданиям, к состоянию, когда все тобой сказанное будет ложью и бредом. А вы все еще достаточно молоды, чтобы считать душевные терзания чем-то прекрасным и возвышенным. Но вы уже не юноша, вы молодежавый мужчина средних лет, и вам самое время понять, что вся эта духовная атлетика не развивает мудрости. Простите себе, что вы человек. Это начало мудрости, это часть того, что именуют страхом Божьим, а для вас это к тому же единственный способ сбросить свой рассудок. Начинайте немедленно, а то окажетесь рядом со своей святой в том же сумасшедшем доме.

После каковых слов падре Бласон накрыл лицо платком и задремал, оставив меня в раздумьях.

4

В дальнейшие годы Бласон время от времени подкреплял свой совет открытками (обычно это были картины самых разнузданных ренессансных художников – ему нравились толстые голые тетки), на которых пламенели исполненные красными чернилами послания типа: «Как ваши успехи в Великой Битве? Кто она? Я молюсь за вас. И. Б., О. И.». В нашей школе не считалось за грех читать чужие открытки, так что не трудно представить, как мучился догадками славный педагогический коллектив. Давать-то советы легко, но даже уметь я им следовать, на моем пути оставалось много препятствий.

Походы в больницу меня тяготили. Миссис Демпстер не доставляла персоналу особых хлопот, но все время была какая-то тусклая, подавленная, и если прежде, когда она жила у мисс Шанклин, у нее случались отдельные просветления, теперь о таком и говорить не приходилось. Мои визиты были самыми яркими моментами ее жизни; каждую субботу она сразу после обеда надевала шляпку и садилась меня ждать. Я понимал, что значила шляпка, – миссис Демпстер надеялась, что я заберу ее домой. На это надеялись многие пациентки, и когда в

палате появлялся главный врач, несчастные женщины не только хватали его за рукава, но даже – трудно поверить, но я видел это собственными глазами – падали на колени и пытались целовать ему руки, потому что все пользовавшиеся хоть какой-то свободой передвижения знали, что он и только он может их отпустить. Некоторые из тех, что помладше, подкрепляли свои мольбы сексуальными авансами. «Доктор, доктор, – кричали они, – ты же знаешь, что я твоя, доктор, ты же отпустишь меня сегодня, правда, доктор? Ты же любишь меня больше всех». Не знаю уж, как он все это выдерживал, я бы не смог. Пропитанная не находящим выхода сексом атмосфера меня буквально душила. Само собой, я был известен среди обитательниц палаты как «ухажер этой Мэри»; перед каждым моим визитом они заверяли миссис Демпстер, что уж на этот-то раз я точно ее заберу. Я непременно приносил шоколадные конфеты, чтобы ей было чем поделиться с соседками, ведь к большинству этих женщин никто не ходил.

Хочу подчеркнуть, что я не держал никакого зла на эту больницу; большое учреждение в большом городе, она была обязана принимать всех, кого сюда приведут. Однако я физически не мог находиться там долго; уже после одного часа, проведенного в обществе этих одиноких, лишенных рассудка женщин, я чувствовал себя выжатым как лимон. Я познакомился со многими из них и взял за обычай рассказывать им истории, а так как знал я по преимуществу истории о святых, их я и рассказывал, избегая всего слишком уж чудесного и будоражащего, а особенно – после одного крайне неприятного инцидента – всего, связанного с чудесным вызволением из оков, пут и заточения. Они любили слушать, да и мне беседовать с группой было проще, чем пытаться разговорить миссис Демпстер, видя в ее глазах невысказанное ожидание.

Общение с этими женщинами заставило меня понять, что, как бы ни повредился человек рассудком, его чувства не притупляются. Я знаю, что мои посещения доставляли миссис Демпстер радость, несмотря на неизбежное разочарование в конце, когда я уходил, а она оставалась; кроме всего прочего, палата держала меня на особом счету, как источник увлекательных историй, что придавало моей подопечной определенным статус. Стыдно признаться, какими муками все это мне давалось; бывали дни, когда я буквально палкой гнал себя в больницу, кляня на чем свет стоит свою тяжкую, пожизненную – как мне думалось – обузу.

Казалось бы, мне следовало проявить побольше рассудительности, воспринимать эту обузу как «доброе дело», однако вся история моих отношений с миссис Демпстер делала такой подход невозможным, я словно навещал часть собственной души, осужденную на вечные муки в аду.

Вы спросите: если ему недоставало денег, чтобы поместить миссис Демпстер в какое-нибудь место получше, почему он не обратился к Бою Стонтону, аргументируя тем, что она – дептфордская женщина, попавшая в беду, если уж не прошлым поступком самого Стонтонна? Ответ очень прост: он не любил, чтобы ему напоминали о Дептфорде, ну разве что в шутку. Кроме того, Бой привык везде командовать; если бы я получил от него помощь – что еще вилами по воде писано, поскольку он не уставал повторять, что первое условие успеха – это умение твердо сказать «нет», – он бы установил главным опекуном и благодетелем миссис Демпстер себя, низведя меня до положения своего подручного. Мои же собственные мотивы нельзя назвать кристально чистыми: я твердо решил, что уж если я не смогу заботиться о миссис Демпстер, этого не сделает и никто другой. Она была моя.

У Вас вертится на языке второй вопрос: если ему было не по карману перевести эту женщину в частную клинику или хотя бы в платную палату государственной, на какие же деньги он каждое лето раскатывал по Европе? Что-то он тут крутит. Верно, но за служением миссис Демпстер я не совсем терял из виду и свои собственные заботы. Я с головой окунулся в волшебный мир святых и честолюбиво помышлял рассказать о них другим людям. Кроме того, мне было нужно хоть немного отдохнуть, окрепнуть душой.

Судя по моему дневнику, я навещал миссис Демпстер сорок суббот ежегодно плюс на Пасху, на Рождество и в ее день рождения. Если Вам кажется, что это не бог весть что, – попро-

буйте сами, а потом уж судите. Каждый год повторялось одно и то же: она чуть не плакала при известии, что я снова отбываю в летнее путешествие, однако я не позволял себе размякнуть и уходил, пообещав на прощание присылать много открыток; миссис Демпстер любила картинки, а то, что на ее имя приходит почта – вещь в этой больнице очень редкая, – поднимало ее в глазах соседок. Все ли я сделал, что мог? Мне казалось, что да, и уж во всяком случае я не хотел оказаться в одной психушке со своей святой, превратив себя в придаток ее болезни, как предрекал мне Бласон.

Моя жизнь была очень насыщенной. В школе я был занят больше прежнего, потому что стал старшим преподавателем. Я закончил свою первую книгу «Сто святых для путешественников»; она была издана на пяти языках и расходилась весьма прилично, правда в основном на английском, потому что континентальные европейцы путешествуют гораздо меньше англичан и американцев. Написанная просто и объективно, книга рассказывала читателям, как опознать святых, чьи живописные и скульптурные изображения встречаются наиболее часто, а также чем знамениты эти святые. Я сумел избежать как безудержной католической сентиментальности, так и ехидной протестантской ухмылки. Я подбирал материал для следующей, гораздо более солидной книги, предварительно озаглавленной «Святые. Экскурс в историю и народную мифологию», где я намеревался в первую очередь исследовать, зачем людям нужны святые, а затем – как связана эта потребность с причислением к лику святых целого ряда выдающихся, одаренных и совершенно непохожих друг на друга людей. Я брался за крепкий орешек и был далеко не уверен, что сумею его разгрызть, однако попробовать не мешало. Ну и, конечно же, я поддерживал свою связь с болландистами, писал для «Analecta», а также для Королевского исторического общества – когда было о чем писать.

Ко всему прочему, теперь я еще больше общался со Стонтонами. Бою нравилось иметь меня под рукой, примерно так же, как ему нравилось иметь ценные картины и красивые ковры, я придавал его жилищу подходящий стиль. Регулярно принимая в своем доме заметного гостя из другого мира, Бой ставил себя в выигрышное положение рядом со своими приятелями, и когда он представлял меня как Писателя, я отчетливо слышал заглавную букву. Конечно же, у него имелись и другие писатели, а также художники, музыканты и артисты, но я являлся гвоздем этой коллекции, да и хлопот со мной было по минимуму.

Если это покажется Вам недостойным воздаянием за центнеры прекрасной пищи и ведра качественных напитков, поглощенные мной под его кровом, позвольте мне заметить, что все это оплачено: я был тем, кого можно позвать на обед в последнюю минуту, когда кто-то другой отказался; я был тем, кто безропотно займет разговором самую скучную в компании женщину, я создавал культурную атмосферу в предельно мещанском сборище сахарозаводчиков и крупных хлебопеков, ничуть не унижая при этом прочих гостей. Иметь меня за столом было почти то же самое, что [Рейберна](#) на стене, – у меня был класс, у меня был лоск, и я никого не раздражал.

Хорошо, но что заставляло меня соглашаться на такое положение? Не нравится – не ходи, так почему же я ходил? Во-первых, потому, что мне было очень любопытно, как идут дела у Боя. Потому что он мне самым настоящим образом нравился, при всем его притворстве и напыщенности. Потому что, не ходи я к нему, где бы еще мог я встретить таких разнообразных людей? Потому что я всегда был благодарен Бою за его советы, которые провели меня через Великую депрессию, а позднее помогли мне улучшить положение миссис Демпстер и устроить свою жизнь на более широкую ногу. Обычная история – мотивов было много и все разные.

Если общественная жизнь Боя меня всего лишь интересовала, то личная поражала. Я не знаю людей, в чьей жизни секс играл бы столь важную роль. Сам он так не считал. Как-то он говорил мне, что этот Фрейд совсем свихнулся – ну как можно сводить все к сексу. Я не встал на защиту Фрейда; тогда я очень увлекался этим старым фантастическим принцем

темных закоулков Карлом Густавом Юнгом, но я прочел и почти всего Фрейда и запомнил его совет не спорить в пользу психоанализа с теми, кто явно его ненавидит.

Секс настолько пронизал всю жизнь Боя, что он замечал его не больше, чем воздух, которым дышит. Маленькому Дэvidу полагалось быть мужчиной во всем; я помню, как Бой кричал на Леолу, когда та купила Дэvidу шотландскую куклу, – она что, хочет, чтобы ее сын вырос нюней? Куклу выкинули в мусорное ведро прямо на глазах у ревущего Дэvidа, который любил брать ее с собой в постель (ему было шесть лет); затем эта утрата была компенсирована роскошной моделью паровой машины, которая крутила самую настоящую циркульную пилу, а та, в свою очередь, самым настоящим образом могла распилить спичку пополам. В восемь лет Дэвид получил боксерские перчатки и должен был пытаться врезать по зубам папаше, который для сыновнего удобства вставал на колени.

С маленькой Каролиной Бой был шутливо галантен. «Ну, как поживает дама моего сердца?» – говорил он, целуя ей руку. Когда нянька приводила Каролину в гостиную, чтобы продемонстрировать собравшейся компании, Бой непременно провожал потом дочку в коридор и говорил, что сегодня она была самая красивая. Стоит ли удивляться, что Дэвид не понимал, чего же от него хотят, и изо всех сил старался всем угодить, Каролина же росла совершенно испорченным ребенком.

Леоле никогда не говорилось, что она самая красивая. В отношении ее Бой, как правило, изображал великодушную снисходительность – со вполне заметной ноткой раздражения. Самозабвенно любящая Леола была едва ли не единственной женщиной, на которую он не растрачивал свою сексуальную силу – ну разве что в негативной форме периодических унижений. Мои осторожные попытки вступить за Леолу не давали и не могли дать никакого результата, потому что сама она была совершенно не способна постоять за себя. Если я, как случилось, злился на Боя, она непременно брала его сторону. Он являлся для нее единственной точкой отсчета; если он в чем-то ее обвинял, не имело никакого значения, что там скажу я, – Бой говорит, значит так оно и есть.

Впрочем, и его правота имела пределы. Я был свидетелем, как Леола впервые узнала о шашнях Боя с другими женщинами. По всем ведевильным канонам она случайно нашла в его кармане разоблачительную записку – когда дело доходило до серьезных жизненных проблем, Стонтонам почти никогда не удавалось избежать таких избитых клише.

Я-то прекрасно знал о похождениях Боя, потому что он не умел держать язык за зубами. Где-нибудь к ночи, усидев на пару со мной приличное количество виски, он принимался оправдывать свое поведение. «Мужчина с моими физиологическими потребностями не может довольствоваться одной женщиной, особенно если эта женщина не понимает, что секс вещь взаимная, – не дает тебе ничего, а просто лежит как колода», – говорил он, изображая на лице страдание, чтобы я яснее понял, как плохо ему приходится.

Описывая свои сексуальные нужды, Бой не скупился на подробности: сношения должны быть частыми и предельно разнообразными – не просто сношения, а сношения страстные и напряженные, дразнящие и изощренные, да всего я и не упомяну; ну и, конечно же, женщина должна быть Настоящей Женщиной. Все это выглядело очень утомительно и до странности напоминало работу с боксерской грушей; я тихо радовался, что не наделен столь трудно утоляемыми аппетитами. У Боя были в Монреале две-три женщины – не какие-нибудь шлюшки, а женщины духовные и образованные, совершенно независимые, хотя у каждой из них и имелся муж, – и Бой посещал их при каждой возможности. Значительная часть его бизнеса была связана с Монреалем, так что частые поездки не выглядели чем-то странным.

Слово «бизнес» напомнило мне о другом проявлении его сексуальности, я замечал это проявление не раз и не два, хотя сам Бой даже не подозревал за собой ничего подобного. Я говорю о том, что можно было бы назвать «корпоративной гомосексуальностью». Он всегда высматривал среди сотрудников своей компании способных молодых людей, подходящих кан-

дидатов для продвижения по службе. Они должны были быть страстными поборниками сахара, пончиков, лимонада или чего уж там, а кроме того, обладать привлекательной внешностью. Обнаружив такого индивидуума, Бой начинал «выводить его в люди» – приглашал пообедать в свой клуб, на ужин к себе домой, подолгу беседовал с ним один на один. Он объяснял молодому человеку сокровенные тайны бизнеса и устраивал ему повышение за повышением, к вящей досаде людей постарше, не обладавших привлекательной внешностью, но зато умевших хорошо работать.

Через несколько месяцев страстной любви наступало разочарование. Одной из главных черт привлекательного молодого человека оказывалось честолюбие, а честолюбцы отнюдь не склонны к благодарности; он начинал воспринимать свою удачу как должное и уже не ловил на лету каждое слово Боя, не восхищался его мудростью, как то было в начале их бурного романа, а случалось, что и осмеливался иметь собственное мнение. Потом выяснялось, что этот выскочка считает, что Бою крупно повезло иметь такого, как он, работника и что его таланты еще не получили должной оценки.

Уверовав в свои перспективы, некоторые из протеже Боя заходили так далеко, что тут же решали жениться, и Бой непременно зазывал жениха с его избранницей к себе на обед. Затем в разговоре со мной он выражал горькое удивление: зачем привлекательный молодой парень, перед которым открывалось блестящее будущее, вешает себе на шею такое ярмо, связывает свою судьбу с безмозглой дурой, которая будет тянуть его назад, закроет ему путь к настоящему успеху. Так или иначе, Бой разочаровывался в большинстве своих привлекательных молодых людей, остальные же быстро ему надоедали, и он пристраивал их на какие-нибудь приличные, но не слишком ответственные должности.

Я абсолютно уверен, что Бой видел в своих протеже деловых сотрудников, и не более, однако это были сотрудники со вполне различимым – во всяком случае различимым для меня – оттенком Юпитерова виночерпия. Конторские Ганимеды, они не понимали своей роли, отсюда и все разочарование.

Драматическое прозрение Леолы произошло рождественским вечером 1936 года. Весь этот год Бой находился в постоянном эмоциональном напряжении. В январе умер Георг V, с которым мы когда-то на мгновение встретились глазами; в память об этом событии я неделю ходил в черном галстуке. Зато Бой был полон радостного возбуждения, наконец-то «он» взойдет на престол; после их единственной встречи прошло девять лет, но Бой хранил верность своему кумиру. Он пересказывал каждый обрывок слухов, достигший его ушей; грядут великие перемены, престол вернет себе прошлое влияние, полный разгон глупых стариков, король окружит себя новыми людьми, сказочное возвышение молодежи, ну и, конечно же, более веселый двор – самый, пожалуй, веселый со времен Карла Второго. Для Боя «веселый двор» обозначал полное торжество его собственных взглядов на секс. Доведись Бою читать кого-нибудь из многочисленных психологов, уверяющих нас, что коронованный и помазанный на престол король является символическим фаллосом своего народа, он присоединился бы к этому мнению без малейших раздумий.

Как всем известно, вскоре новости приобрели совершенно другой характер. До нас, североамериканцев, они доходили быстрее, чем до населения Англии, потому что наши газеты были менее связаны соображениями такта. У молодого короля – какая там молодость в сорок два года, но для людей вроде Боя он оставался молодым – возникли трудности со стариками, а у стариков с ним.

Бой всегда уважал Стэнли Болдуина, который сопровождал принца в памятном канадском турне, как политика с заметным литературным талантом, теперь же он объявил британского премьера своим личным врагом. Он говорил об архиепископе Кентерберийском в таких выражениях, что даже вечно снисходительный Вудиусс (ставший за это время архидиакономом) не мог не среагировать.

Когда разразился кризис, некоторые сумасброды начали носиться с идеей собрать группу «слуг короля», каковые должны неким не совсем понятным способом встать под знамена своего кумира и посадить его избранницу на соседний с ним престол. Бой твердо решил стать «слугой короля»; любой человек, считающий себя джентльменом, любой человек, знающий, что такое любовь, должен был испытывать те же чувства, что и он. Он вдалбливал мне это при каждой встрече, я же, при всем моем сочувствии королю, не видел для него никакой возможности удачно выпутаться из этого неприятного положения. Бой вроде даже послал несколько ободряющих телеграмм, а может, и нет, – во всяком случае, ответа не было. В ноябре, когда эта печальная история приближалась к развязке, я стал побаиваться за его рассудок; он читал все газеты, слушал все выпуски новостей, собирал все обрывки слухов и сплетен. Меня не было рядом с Боем 11 декабря, когда он услышал по радио об отречении Эдуарда Восьмого, но я заглянул к нему вечером того же дня. В стельку пьяный (насколько я знаю, такого с ним не случилось ни до, ни после), он то плакал навзрыд, то раздражался гневными филиппиками в адрес всех гнетущих сил, встающих на пути истинной любви и самовыражения личности.

Рождество стало для Стонтонов черным днем. Леола была вынуждена сама покупать подарки детям, Бой же ограничил свое участие тем, что все их раскритиковал. Когда пришел толстый вахтер из управления «Альфы», выряженный Санта-Клаусом, Бой прямо при детях сказал ему, чтобы не корчил из себя осла, а делал что надо и убирался. Подарки, приготовленные для Боя Леолой и детьми, так и остались неразвернутыми. Утро я провел в больнице у миссис Демпстер и добрался до Стонтонов чуть за полдень; Леола была уже вся в слезах, Дэвид забился в угол и делал вид, что читает, Каролина же металась по дому, требуя внимания к кукле, которую сама же и сломала. Я, как мог, повеселил Дэвида, как мог, починил куклу (теперь она была просто инвалидкой, а не расчлененным трупом, как прежде) и, как мог, успокоил Леолу. Бой сказал, что если уж мне так нейдет изображать из себя одного из этих долбаных святых, о которых я всем плешь проел, то не мог бы я заняться этим в каком-нибудь другом месте. Я среагировал эмоционально и не слишком разумно: посоветовал ему сносить удары – даже такие жестокие, как отречение, – по-мужски, после чего Бой замолк и стал нас всех ненавидеть; когда же мы сели за праздничный обед, у меня от его физиономии чуть еда в желудке не скисла. Потом он объявил, что пойдет погулять, один, без сопровождающих.

Полная сострадания к супругу, Леола пошла за его уличной одеждой, начала искать перчатки, сунула руку в карман пальто и наткнулась на записку одной из темпераментных монреальских дамочек. Выйдя в прихожую, Бой увидел, что Леола сидит, сжавшись в комок, на лестничной ступеньке и задыхается от рыданий, – увидел и мгновенно понял, что это значит.

– У тебя абсолютно нет причин устраивать подобные сцены, – сказал он, поднимая с полу упавшее пальто и засовывая руки в рукава. – Твоему положению ровно ничего не угрожает. Но если ты думаешь, что я буду сидеть на привязи среди всего этого, – он махнул рукой в сторону не слишком, правду сказать, опрятной, сплошь заваленной игрушками гостиной, – можешь подумать еще раз. – Он ушел, оставив Леолу выть на лестнице.

Мне неприятно так говорить, но Леола именно выла, да и выглядела она в своем горе далеко не красавицей. У няньки был выходной, так что мне пришлось заниматься и детьми. Я кое-как загнал их наверх, в детскую, а затем потратил с полчаса на попытки успокоить Леолу. Хотелось бы сказать, что я ее утешил, но это мог сделать только один человек, а он мотался тогда по заснеженным улицам, разрываемый какими-то своими, эгоистическими муками. В конце концов я убедил ее лечь поспать или хотя бы просто лечь и подождать, что будет дальше. Это же так с любыми неприятностями, говорил я. В первый момент прямо в глазах темнеет, а потом успокоишься, разберешься и видишь, что все не так уж и плохо. Сам я не верил в эту белиберду и хотел поговорить с Боем, пусть что-нибудь сделает.

Леола удалилась в свою спальню; через достаточное, как мне казалось, время я зашел посмотреть, как у нее дела. Она умыла зареванное лицо, привела в порядок свои волосы, переоделась в один из столь любимых Боем дорогих пеньюаров и легла в постель.

– Ну как, теперь ничего, если я уйду?

– Поцелуй меня, Данни. Нет, не так. Это ты просто клюнул. Когда-то тебе нравилось со мной целоваться.

Понимала она или нет, но такое приглашение могло завести очень далеко. Гигес наставляет Кандавлу рога, так, что ли? Новая концовка античной истории не казалась мне особенно привлекательной, однако я наклонился и поцеловал Леолу чуть менее формально.

– Это тоже не то. Поцелуй меня *по-настоящему*.

Что я и сделал, и, не скрипни мой протез самым зловещим образом, когда я оперся коленом о кровать, все пошло бы дальше естественным образом, и я наставил бы Бою Стонтону рога – вполне им заслуженные. Но скрип заставил меня опомниться, я встал и сказал:

– Ну а теперь спи. Я загляну позднее и поговорю с Боем.

– Ты меня не любишь! – простонала Леола и снова ударилась в слезы.

Я поспешно выскочил из комнаты.

Ну конечно же, я ее не любил. Да и с какой бы стати? Последние десять лет я не испытывал к ней никаких чувств, кроме жалости. Я застелил себе кровать, и в ней не было места для Леолы. В одну из последних европейских поездок я провел уик-энд с Дианой и ее мужем в их восхитительном загородном доме вблизи Кентербери и получил огромное удовольствие. Я пережил свою юношескую любовь к Диане и уж, конечно, пережил все то, что когда-то испытывал к Леоле. Она была в горе, она жалела себя, но почему я должен был приносить себя в жертву этой жалости? Все предельно просто: она ошеломлена неверностью Боя, эмоциональная встряска обострила ее сексуальные аппетиты. Вполне возможно, что Бой не спал с ней с самого начала этих великосветских скандалов, завершившихся отречением, но почему я должен был приносить себя в жертву чьим-то нарушениям графика? Я тоже прогулялся, устроил себе еще один рождественский обед – в этот день принято объедаться – и вернулся в школу чуть позже девяти с намерением немного почитать.

Но не успел я ступить через порог, как истопник – единственный, кто остался в тот день на дежурстве, – исполнительно сообщил, что мне звонили и я должен срочно перезвонить Стонтонам, там что-то случилось.

К телефону подошла нянька. Она вернулась домой, увидела, что горничной, кухарки и буфетчика еще нет, и заглянула к миссис Стонтон, чтобы сказать спокойной ночи. Нашла ее в очень плохом состоянии. Нет, она не хотела бы объяснять по телефону. Да, она позвонила доктору, но это же рождественский вечер, прошел уже час, а его все нет. Не могу ли я срочно приехать? Да, это *очень* серьезно.

Чувствуя, что нянька близка к истерике, я сказал: «Сейчас» – и выскочил из дому. В рождественскую ночь такси не очень поймашь, так что прошло не менее получаса, пока я добрался до Стонтонов. Взбежав по лестнице наверх, я бросился в спальню. Леола лежала на кровати, бледная как мел, ее запястья были замотаны марлей. Находившуюся тут же няньку била крупная дрожь.

– Посмотрите на это, – сказала она задыхаясь и указала на полуоткрытую дверь ванной.

В первый момент мне показалось, что ванна до половины налита кровью. Надо понимать, Леола взрезала себе вены на запястьях и легла помирать в теплую воду, по лучшей древнеримской моде. К счастью, она не слишком разбиралась в анатомии, а потому, как говорится, помереть не померла, только время провела.

Врач пришел вскоре после меня, довольно пьяный, но вполне толковый. Он похвалил няньку за правильно оказанную первую помощь, перевязал Леолины запястья наново, сделал ей какой-то укол и обещал зайти завтра.

Проводив врача до выхода, нянька сказала: «Я позвала вас из-за вот этого» – и протянула адресованный мне конверт. В конверте лежала записка следующего содержания:

Дорогой Данни.

Это конец. Бой меня не любит, и ты тоже, так что мне лучше уйти.

Вспоминай обо мне хоть изредка. Я всегда тебя любила.

С любовью, Леола.

Дура, дура и еще раз дура! Только о себе думает, а в какое положение ставит меня эта записка, так это ей наплевать. Вот умри она, как бы все это выглядело в глазах полиции? Да и теперь мало хорошего, конверт не заклеен, нянька наверняка прочитала. Я был в ярости на эту несчастную идиотку Леолу. Ну хоть бы Бою записку оставила! Нет, только мне, слава еще богу, что ничего у нее не получилось – да что и когда у нее получалось! – а то выглядел бы я настоящим чудовищем, хоть в зоопарк в клетку.

Однако, когда Леола стала приходить в себя, у меня не хватило духу ее упрекнуть, а что касается записки, я даже слова этого не произнес. И она тоже, ни той ночью, ни когда-нибудь после.

А Бой словно сквозь землю провалился. В монреальской конторе «Альфы» он не появлялся; где живут его пассии, я не знал. Он вернулся после Нового года, когда Леоле было уже заметно лучше, хотя слабость и оставалась. Не знаю уж, что там между ними было, мне никто об этом не рассказывал, но в дальнейшем я ни разу не видел их ссорящимися, вот только Леола стала быстро вянуть: если раньше она выглядела младше своих лет, то теперь – старше, хорошенькое личико, очаровавшее когда-то и меня, и Боя, стало пустым и одутловатым. Метафорическая жизненная битва похожа на настоящую войну – в ней больше искалеченных, чем убитых.

А больше всего пострадали дети. Нянька, показавшая в критический момент столь похвальное присутствие духа, в детской потом не выдержала и чуть не прямым текстом сообщила, что мамочка едва не умерла, с трудом откачали. Дети и так были взбудоражены недавним скандалом, теперь же их нервы сорвались окончательно и надолго: Дэвид стал совсем тихим и робким, а Каролина еще большей, чем прежде, скандалисткой и истеричкой.

Много лет спустя Дэвид сказал мне, что и в детстве, и долго после ненавидел Рождество больше любого другого дня в году.

V Лизл

1

Позвольте мне не слишком задерживаться [на Второй мировой войне, или «Тоже мировой войне»](#), как слышу я название, данное ей школьниками; они словно хотят подчеркнуть, что та, Первая, живущая в моей памяти война была не единственной и не крупнейшей вспышкой массового психоза, доставшейся на долю нашего века. Но и опустить войну я тоже не могу – хотя бы из-за новых высот, куда она вознесла Боя Стонтонна. Быстрый рост его промышленной империи, кормившей полстраны хлебом и сахаром, не говоря уж о десятках других товаров, обеспечил ему важное место в национальной экономике, и когда война потребовала, чтобы каждый поставил все свои способности на службу отечеству, кто, как не Стонтон, был очевиднейшим кандидатом на пост министра продовольствия в коалиционном правительстве?

Его работа заслуживает самой высокой оценки. Он умел руководить, и он знал как никто, что любит есть большинство населения. Он мобилизовал все ресурсы корпорации «Альфа» и всех подконтрольных ей фирм на выполнение насущнейших задач: кормить Канаду, кормить ее вооруженные силы и – насколько позволяли немецкие подводные лодки – кормить Британию. Он активно форсировал разработку новых пищевых концентратов – в первую очередь из фруктов, – могущих поддержать силы солдат на поле боя и детей в разрушенном бомбами городе, когда доставка более тяжелых и объемных продуктов становится проблематичной. И если в наши дни средний рост населения Британских островов заметно больше, чем в 1939 году, в этом тоже заслуга Боя Стонтонна. Не будучи профессиональным ученым, он прекрасно знал, насколько важны витамины, в чем они содержатся и как подешевле пустить их в дело; таких людей можно было сосчитать по пальцам.

На время войны ему пришлось поселиться в Оттаве. Он почти не видел жену и детей, разве что короткими набегами, не позволявшими восстановить утраченную близость ни с Леолой, ни с Дэвидом, ни даже с обожаемой им Каролиной.

Перед самой войной Бой отдал Дэвида к нам в интернат, а заодно стал членом правления, так что мы его изредка видели. Без интерната можно было и обойтись, однако Бой хотел, чтобы его сын получил мужское воспитание и научился жить в коллективе. Так что Дэвид прожил в Колборне от десятого дня рождения до восемнадцатого, начальную школу он закончил примерно в двенадцать лет и с этого времени был у меня на глазах практически каждый день.

А в 1942 году на мою долю пала печальная обязанность сообщить несчастному мальчику о смерти матери. За годы войны Леола сильно сдала; по мере того как Бой все ярче раскрывал свои выдающиеся способности, становился все более влиятельной фигурой, она все больше погружалась в апатию. Типичная жена политика любит намекать, что без ее понимания и поддержки муж вряд ли добился бы столь выдающихся успехов; впрочем, есть и такие, которые постоянно распинаются в женских клубах и перед газетными репортерами, что, как бы ни блистали их мужья на работе, дома они жалкие ничтожества. Леола не относилась ни к первой, ни ко второй разновидности, она просто не лезла на люди.

Леола полностью забросила гольф, бридж и прочие светские развлечения, кое-как освоенные ею в молодости, она не читала больше модных книг, да и вообще ничего не читала. Когда бы я ни зашел, она вязала шерстяные вещи для фронта – огромные чулки под моряцкие сапоги или что-нибудь подобное, – вязала машинально, думая о чем-то другом. Иногда я приглашал ее пообедать, – это была тяжелая работа, хотя и не такая тяжелая, как обед в доме Стонтонов. Без Боя и без детей (Каролину тоже отдали в интернат) этот богато обставленный барак день

ото дня становился все более безжизненным, слуги, приставленные к невзыскательной, робевшей перед ними хозяйке, совсем распустились от безделья.

Когда Леола заболела воспалением легких, я сообщил об этом Бою, сделал все необходимое и, собственно, перестал беспокоиться. Однако в те дни лекарства против воспаления легких были не так эффективны, как сейчас, они помогли преодолеть кризис, но для полного выздоровления требовалось порядочно времени; стоило бы уехать в теплые места, но дорога была трудная, сопровождающих для Леолы не находилось, так что она осталась дома. Не могу ручаться, но у меня есть сильные подозрения, что однажды вечером Леола отворила закрытые служанкой окна и снова простудилась; через неделю ее не стало.

Бой находился в Англии по каким-то там своим министерским обязанностям; незаконченные дела и трудности трансатлантического перелета не позволили ему вернуться в Канаду. Получив от него телеграмму с просьбой взять хлопоты на себя, я организовал похороны, что было очень легко, и сообщил о смерти Леолы всем, кому надо, что было совсем не легко. Каролина закатила жуткую истерику, и я ушел, оставив ее на попечение школьной воспитательницы, дамы весьма способной и имевшей на нее влияние. А вот Дэвид меня поразил.

– Бедная мамочка, – сказал он. – Но я думаю, ей там будет лучше.

Ну и как я должен был это понимать? Четырнадцатилетний мальчишка – и вдруг заявляет такое. И что мне было с ним делать? Я не мог послать его домой, а своего дома у меня не было, только кабинет и спальня в школе. Туда я его и поместил, дав одной из воспитательниц указание заглядывать к нему каждый час или около того, чтобы не чувствовал себя совсем покинутым, и обеспечить его всем, что имеется в распоряжении школы. К счастью, Дэвид почти весь день проспал, а вечером я отослал его в лазарет, ему там выделили отдельную палату.

На похоронах я держал его при себе, потому что и док Стонтон, и его жена к этому времени уже умерли, а старшие Крукшанки были в таком отчаянии, что только и могли держаться за руки и плакать. Бой не очень поощрял общение Леолы и детей с Крукшанками, так что Дэвид их почти не знал.

Поздняя осень не лучшее время для похорон, погода в тот день была сырая и унылая, слава еще богу, обошлось без дождя. Похороны оказались совсем малолюдными, все друзья семейства Стонтонов были очень важными людьми, ну и, по-видимому, все очень важные люди так усердно защищают родину, каждый на своем боевом посту, что никак не могли выкроить час-другой на прощание с Леолой. Зато были горы дорогих цветов, выглядевших под серым ноябрьским небом довольно нелепо.

Но был на кладбище и один совершенно неожиданный человек. Обрюзгший, непривычно тихий, и все равно я узнал его с первого взгляда. Мило Паппл собственной персоной. Пока Вудиусс читал отходную, я вдруг вспомнил, что Паппл-старший уже лет двенадцать как умер, я тогда посылал Мило телеграмму с соболезнованиями. А вот кайзер (как комично изображал его Майрон на том представлении с сожжением чучела, после Великой войны) жил, ничуть, надо думать, не обеспокоенный ненавистью Дептфорда и ему подобных мест, вплоть до 1941 года; жил в Доорне, пилил себе дрова и двадцать три года мучился вопросом, чего это подданные свергли его с престола, какая муха их укусила. Может, и нехорошо, что я размышлял о долголетию свергнутых монархов, когда нужно было прощаться с Леолой, но ведь наше прощание произошло гораздо раньше, по-настоящему мы распростились тем рождественским вечером, когда она обратилась ко мне за утешением, а я сбежал. Все дальнейшее было рутинной, пустопорожним исполнением долга вежливости.

Покидая кладбище, мы с Мило обменялись рукопожатиями. «Бедная Леола, – сказал он сдавленным голосом, – это конец великого романа. Ты знаешь, мы всегда считали, что она и Перси – самая красивая пара, какая только женилась у нас в Дептфорде. И я знаю, почему ты так и не женился. Да, Данни, я понимаю, как тяжело тебе было ее хоронить».

Стыдно признаться, но мне было совсем не тяжело. А вот что было тяжело, так это возвращаться с Дэвидом в этот жуткий опустевший дом, занимать его разговором, пока слуги не подадут нам жалкий обед, затем вести в школу, объясняя по дороге, что, по-моему, лучше бы ему идти в свою интернатскую комнату, поскольку должен же он когда-то вернуться к нормальной жизни, и чем скорее, тем лучше.

Бой постоянно возмущался, что Дэвид не мужчина, а черт знает что, однако в это трудное время он показал себя самым настоящим мужчиной. Я видел его довольно часто, потому что исполнял тогда обязанности директора. Как только разразилась война, наш тогдашний директор бросился сражаться с неприятелем на передовых рубежах армейского учебного центра; как-то ночью, в условиях затемнения, его угораздило попасть под грузовик, школа скорбела о нем как о павшем герое. Когда он ушел, школе потребовался новый директор, а так как в военное время приличные мужчины редкость, правление назначило на этот пост меня, *pro tempore*¹⁰, без прибавки к жалованью, потому что в такое время мы все должны нести свое бремя, не думая о себе. Это была тяжелая, неблагоприятная работа, а административную ее часть я просто ненавидел. Однако я покорно взвалил ее на плечи и тащил вплоть до 1947 года, когда у меня состоялся трудный разговор с Боем; к тому времени он успел стать кавалером ордена Британской империи второй степени (за военные заслуги) и председателем нашего правления.

– Данни, ты великолепно работал и в войну, и после. И ведь это было для тебя далеко не развлечение, так ведь?

– Какое там развлечение, такая работа все жилы вытягивает. Постоянные заботы, как найти учителей и как их удержать. И как организовать учебу, когда у тебя всего персонала несколько наших стариков да молодые парни, непригодные к военной службе, а заодно, если правду говорить, и к учительству. Проблемы с эвакуированными мальчиками, которые тоскуют по дому, или ненавидят Канаду, или считают, что это только в Англии нужно работать, а здесь можно все делать спустя рукава. Проблемы с неизбежной истерией, охватывающей школу, когда приходят плохие вести, и еще худшей истерией, когда новости хорошие. И как я еще не сломался, совмещая всю свою обычную работу с административной. Нет, Бой, я бы не назвал это развлечением.

– Война, Данни, и есть война, нам всем было трудно. И ты, надо признать, держался молодцом. Вопрос в том, что тебе делать дальше?

– Так ты же председатель правления, ты мне и скажи.

– Ты же не хочешь оставаться директором, верно?

– Это зависит от условий. Сейчас все пойдет гораздо лучше. За последние полтора года я набрал очень приличный штат, да и денег, думаю, будет больше, правлению самое время об этом подумать.

– Но ты же сам говорил, тебе совсем не нравится директорствовать.

– В военное время – а кому бы тогда понравилось? Теперь же, как я тебе объяснил, дела пошли на лад. Теперь мне может и понравиться.

– Слушай, старик, давай не будем долго рассусоливать. Члены правления высоко ценят все, что ты сделал. Они хотят устроить в твою честь торжественный обед, хотят объявить тебе в присутствии всех учеников и учителей, в каком они перед тобой долгу. Но они хотят, чтобы директором был кто-нибудь помоложе.

– Помоложе? Ты знаешь мой возраст. Мне нет еще и пятидесяти, как и тебе. Так сколько же лет должно быть директору в наше время?

– Да тут, в общем, не только это. Мне трудно все тебе объяснить. Ты не женат. А директору нужна жена.

– Когда мне была нужна жена, неожиданно выяснилось, что тебе она нужна еще больше.

¹⁰ Временно (*лат.*).

– Это удар ниже пояса. Да и вообще Лео не согласилась бы... ладно, не в этом дело. У тебя нет жены.

– Ну, может, я и подберу себе кого-нибудь, без особой задержки. Вот, скажем, мисс Гостлинг из нашей школы для девочек, она уже года два-три поглядывает на меня очень не без интереса.

– Не надо шутить. Не хотелось мне говорить, но придется. Тут, Данни, дело не только в жене. Ты со странностями.

– Это какие же такие странности? Содомский грех? Знай ты мальчишек, как их знаю я, тебе б и в голову не пришла такая глупость. Если бы Оскар Уайльд объявил себя сумасшедшим, его тотчас бы отпустили на свободу.

– Нет, что ты, нет. Я совсем не про любовь к мальчикам, я про то, что ты *со странностями* – с пунктиком, с бзиком, как хочешь. Не такой, как все.

– А вот это уже интересно. И в чем же состоит моя странность? Ты помнишь старика Айрмонгера, который с серебряной заплатой на черепе? Он имел обыкновение залезать по водопроводной трубе под потолок и вести урок прямо оттуда. Вот это я понимаю – странно. Или этот несчастный алкоголик Бейтсон, который швырял в зевающих на уроке ребят мокрой боксерской перчаткой, а потом подтягивал ее к себе на веревочке? Я всегда считал, что они приносят школе заметную пользу – дают ребятам представление об огромном, настоящем мире, в казенных школах такое совершенно невозможно. Не думаю, чтобы за мной замечались странности подобного рода.

– Ты прекрасный учитель. И все это знают. Ты как никто выбиваешь ученикам стипендии, это отдельный пункт и тоже в твою пользу. Ты писатель со сложившейся репутацией. И вот тут-то оно и есть.

– Что – оно?

– Да все это твое насчет святых. Твои книги достойны самых высоких похвал. Но вот если бы ты был отцом, ты послал бы своего сына в школу, где директор большой специалист по святым? А тем более если бы ты был матерью, ты бы послал? Женщины, когда им предстоит доверить свое дитячко другому человеку, терпеть не могут в этом человеке всяких странностей и сверхъестественностей. Религия в школе – это одно дело, все понимают, какое место занимает религия в образовании. Но только не этот смутный, сумеречный мир чудотворцев, святых колдунов и тощих женщин, которые и не женщины вовсе. Святые просто не укладываются в картину. Я твой старый друг, но я же и председатель правления. И мне придется сказать тебе: так не пойдет.

– Значит, ты меня выгоняешь?

– Ну чего ты сразу и на дыбы! Конечно же нет. Такие учителя на дороге не валяются: известный исследователь в трудной и редкой области, писатель, переведенный на иностранные языки, уморительно эксцентричный и все прочее, – но иметь такого директора в мирное время – это кошмар что получится.

– Эксцентричный? Я?

– Да, ты, а кто еще? Господи, да хоть то, как ты копаешься в ухе мизинцем, думаешь, ребята не замечают? Да они покатываются со смеху. А как ты поводишь бровями, да и какие они, эти брови, дикие, кустистые, что твои усы – не понимаю, почему ты их не стрижешь, – и эти твои жуткие твидовые костюмы, хоть бы раз погладил. А эта твоя тошнотворная привычка высморкаться и заглянуть в платок, ну прямо будто гадаешь по соплям, как по кофейной гуще. И выглядишь ты лет на десять старше своего возраста. Времена эксцентричных директоров безвозвратно канули. Нынешним родителям подавай кого-нибудь похожего на них самих.

– Директор, сотворенный по их образу и подобию, так, что ли? Ну что ж, у тебя, по видимому, есть уже кто-то на это место, с кем почти договорено, а то чего бы ты убирал меня в таком пожарном порядке. Кто это такой?

(Бой назвал тогда Вашу, директор, фамилию. В то время я о Вас еще даже не слышал, а потому передаю содержание этого разговора, не боясь быть заподозренным в злобе и мстительности.)

Мы поговорили еще немного, я чувствовал, что меня использовали довольно подлым образом, а потому сознательно заставлял Боя извиваться ужом. Но в конце концов я сказал:

– Хорошо, я остаюсь как старший преподаватель истории и заместитель директора. Без обеда вашего я как-нибудь перезиму, ты лучше сделай другое. Объяви школьникам, что я ухожу по собственному желанию, чтобы не думали, что меня убирают для удовольствия их папочек и мамочек. Это будет вранье, но я хочу сохранить лицо. Скажи, что мне не хватает времени, что я был вынужден выбирать между писательством и директорством и решил в пользу первого и что я обещаю новому директору свою поддержку. И еще. Я хочу получить полугодовой отпуск с полным сохранением жалованья.

– Хорошо. Вот видишь, Данни, с тобой всегда можно договориться. И куда ты отправишься на эти шесть месяцев?

– Мне давно хотелось посетить великие святыни Латинской Америки. Начну с Мексики, с алтаря Приснодевы Гуадалупской.

– Ну вот видишь! Ты сразу же берешься за то самое, что не позволяло нам оставить тебя директором!

– Естественно. Мне как-то наплевать, что там думают такие олухи, как ты, члены твоего правления и родители наших дебильных ученичков, или ты другого ожидал?

2

Через пару месяцев я сидел в углу огромной, византийского стиля базилики XIX века, глядя на бесконечный поток мужчин и женщин, старых и молодых, проползавших на коленях мимо чудотворного образа Приснодевы. Эта картина стала для меня полной неожиданностью. Не знаю уж, что тому виной: высокомерное невежество, заставлявшее меня с подозрением относиться ко всему мексиканскому, или крайне фантастический (как то часто бывает у романских народов) характер легенды, но я ожидал увидеть нечто вульгарное и аляповатое. К этому времени я успел ознакомиться со всем спектром священных образов, от катакомбных настенных рисунков и пронзительно-сурового, потемневшего от времени Спаса в Лукке до нежнейших картин Рафаэля и Мурильо, и не то чтобы стал знатоком, но разобрался в них довольно прилично. Однако на этот раз передо мной была картина, не принадлежавшая руке ни одного смертного, даже святого Луки, но чудесным образом появившаяся на изнанке крестьянского плаща.

В 1531 году Дева Мария несколько раз явилась гуадалупскому крестьянину Хуану Диего и попросила его сказать епископу Сумарраге, что на том самом месте, где происходили эти беседы, должен быть воздвигнут храм в ее честь. Мало удивительного, что Сумаррага захотел получить какое-нибудь весомое подтверждение этого рассказа, и тогда Пресвятая Дева наполнила плащ крестьянина благоухающими розами (хотя на дворе стоял декабрь); более того, когда Хуан Диего высыпал розы перед епископом, оказалось, что на изнанке плаща чудесным образом явилось вот это самое, хранящееся теперь в базилике изображение. Пораженный епископ отринул все свои сомнения и упал на колени.

Держась по возможности скромно и незаметно (при посещении святых мест я прикладываю все старания, чтобы не оскорблять чувств верующих), я изучал картину через сильную подзорную трубу. Да, действительно, она была написана на ткани очень грубого плетения; идущий посередине шов чуть-чуть отклонялся от прямой линии, огибая лицо Девы Марии. Композиция соответствовала канону Непорочного Зачатия; под ногами Марии, крестьянской девочки лет пятнадцати, лежал на боку полумесяц. Прекрасное лицо, написанное уверенной кистью

мастера. Прекрасное – если не равняться на грубую, непристойную маску, которой современная косметика подменяет настоящую красоту. Только почему призакрыт правый глаз? И вроде даже подпух. Очень странно видеть такое на святом образе. Зато краски великолепные, золота много, но не чрезмерно, не наляпано, где надо и где не надо. Такой картиной гордилась бы и Испания. И пропорции – высота раза в три с половиной больше ширины – точно как у «тилмы», домотканой накидки, какую носят и теперешние крестьяне. Да, удивительная картина.

Однако меня занимала не столько картина, сколько коленопреклоненные просители, красота их лиц, внутренняя красота, зримо проявляющаяся на лице почти каждого человека в присутствии богини милосердия, святой Матери, скорбящей о нас и нам сострадающей. Ровно ничего похожего на лице завзятых любителей искусства, когда те щурятся в музее на Мадонн, задумчиво покусывают губы, что-то вспоминая, сравнивают по памяти. Эти просители знать не знали ни о каком искусстве, для них картина существовала не сама по себе, а как символ чего-то внеположного, и этот символ превращался для них в реальность. Пока что они не затронуты современным образованием, но мексиканское правительство трудится не покладая рук, чтобы обеспечить им неоценимое благо; скоро, очень скоро антиклерикализм и американская суматошная деловитость освободят их от веры в чудотворные образы, да и вообще в чудеса. Но откуда, спрашивал я себя, возьмутся тогда милосердие и божественное сострадание? Или люди, вдоволь накормленные, люди, познавшие чудеса атома, уже не нуждаются в подобных вещах? Я не скорблю об экономическом и образовательном прогрессе, я только задаюсь вопросом, сколько нам придется за них платить и какой монетой.

Каждый день я проводил в базилике по несколько часов, сидел, смотрел и думал. Ризничие и монахини, раздававшие маленькие репродукции чудотворного образа, быстро ко мне привыкли; скорее всего, они считали меня набожным богачом – представители этой диковинной породы все еще нет-нет да и встречаются – или думали, что я пишу статью для какого-нибудь глянцевого журнала. Однако я и не богат, и не набожен в общепринятом смысле, а то, что я писал, писал медленно, кропотливо, со столь многими переделками, что окончательный вариант еще даже не просматривался, представляло собой нечто вроде пролога к дискуссии о глубинных корнях веры. Почему людям всех времен и народов так нужны чудеса, бросающие вызов всем будничным, твердо установленным фактам? А может, жажда чудесного уходит корнями в некое врожденное, не поддающееся проверке знание, в глубинную уверенность, что чудесное есть существенный, неотъемлемый аспект реальности? Или наоборот – сама эта жажда порождает чудеса?

Разумеется, философы занимались этим вопросом и давали на него ответы, казавшиеся им в высшей степени убедительными; к сожалению, я ни разу не видел, чтобы эти ответы убеждали кого-нибудь, кроме самих философов. Я пытался подойти к проблеме, не притупляя своего зрения ни розовыми очками веры, ни зелеными очками науки. Ко времени, о котором я говорю, у меня успела сложиться твердая убежденность, что вера есть некая психологическая реальность и что если ее не сосредоточить на мире невидимом, она врывается в мир видимый и устраивает там черт знает что. Иначе говоря, иррациональное всегда возьмет свое, возможно потому, что «иррациональное» – не совсем верный термин.

Но подобными умствованиями весь день не заполнишь. Я вставал довольно рано, шел в базилику и сидел там до обеда. В соответствии с местным обычаем, после обеда я спал. Затем до раннего ужина я изучал город. Ну а после ужина? Салоны в гостинице были крайне неудобные (у испанцев всегда так), и сидеть в них не хотелось. В читальне господствовала «Тайная вечеря», большое и предельно мрачное изображение мрачайшей из трапез; судя по всему, никто из ее участников так и не притронулся к еде; лежащий на блюде барашек укоризненно смотрел на Иуду, создавалось жутковатое впечатление, что он живой, хотя и освежеванный.

Я попытал счастья в театре и отсидел от начала до конца «Фру-Фру» Викторьена Сарду, сильно испанизованную и с заметным мексиканским ароматом. Тоска была невероятная. Я

сходил на пару фильмов. Американские боевики, дублированные на испанский. Затем я узнал из утренней газеты, что в «Театро Чуэка» выступает маг, очень обрадовался и тут же заказал билет.

Давнее увлечение фокусами так меня и не оставило, я видел лучших иллюзионистов своего времени: Терстона, Голдина, Блэкстоуна, великолепного немца, принявшего сценическое имя Каланаг, и Гарри Гудини незадолго до его смерти. Однако имя человека, выступавшего в «Театро Чуэка», было мне совершенно неизвестно; газетное объявление приглашало жителей Мехико на фантастическое представление Магнуса [Айзенгрима](#), завершающего триумфальный тур по Латинской Америке. Я решил, что это какой-то немец, тактично воздерживающийся от выступлений в Штатах, слишком уж недавно была война.

С первых же минут я понял, что зрелище обещает быть необычным, не похожим ни на что виденное мною прежде. В двадцатом веке все фокусники работают со смешками и шуточками, даже великий Гудини большую часть своего представления улыбался на манер кинематографического комика. Современный иллюзионист всеми своими репликами убеждает зрителей: не воспринимайте меня и мои чудеса всерьез, все это так, понарошку, смеху для. И даже когда он включает в программу чуть-чуть гипноза – например, Блэкстоун, у него это ловко получалось, – зритель не имеет никаких поводов для беспокойства.

Магнус Айзенгрим был выше этих хаханек и хиханек. Он выступал не в обычном вечернем костюме, но в великолепном фраке с бархатным воротником и в шелковых бриджах. Он не вышел на сцену, но возник посреди нее ниоткуда, он извлек свой жезл из воздуха, запахнулся в черный плащ и неожиданно стал прозрачным, статистики из его команды – девушки в экзотических нарядах – спокойно сквозь него проходили; еще один взмах плаща, и он снова предстал перед публикой во плоти, но зато утратили телесность девушки, его жезл проходил сквозь них, как сквозь пустоту. Происходящее начинало мне нравиться; Пепперова «призрачная иллюзия» широко известна, но здесь она была поставлена наново, в форме великолепной мистории. И никто на сцене даже краем рта не улыбнулся.

После этой разминки Айзенгрим обратился к зрителям. Изъясняясь на великолепном испанском, он объяснил, что отнюдь не собирается их потешать, что им предстоит увидеть зрелище прекрасное и таинственное, а иногда и чуть-чуть устрашающее. В Айзенгриме не было ничего от обычного фокусника: хрупкий и невысокий, он держал себя так величественно, что рост уже просто не имел значения. У него были темные, очень красивые глаза, на его лице читалось спокойное достоинство, но больше всего впечатлял голос, совершенно неожиданный для человека столь миниатюрного, – звучный, бархатистый и на редкость широкого диапазона. Айзенгрим приветствовал нас как своих гостей и пообещал нам вечер, полный тайн и чудес, какие питают воображение человечества уже не первую тысячу лет, а вдобавок – две-три безделицы.

Это было что-то новенькое – поэтичный фокусник, воспринимающий себя и свои фокусы всерьез. Я мало ожидал еще раз увидеть Пола Демпстера – и уж точно не в такой роли. И все же это был Пол – такой уверенный в себе, такой элегантный, такой непохожий на небритого, кое-как одетого провинциального фокусника, которого я встретил лет пятнадцать назад, зайдя в *Le grand Cirque forain de St. Vite*, что я не сразу поверил своим глазам. Откуда у него это достоинство и эти манеры, откуда у него своя труппа и прекрасное, безупречное по вкусу представление?

Все номера подавались с такой элегантностью, что вряд ли кто-нибудь из зрителей, кроме меня самого, понимал, насколько стары они по сути. Пол не продемонстрировал ни одного нового трюка, все это была почтенная классика, прекрасно известная людям, интересующимся историей сценического иллюзионизма.

Прежде чем перейти к серьезной работе, он предложил добровольцам из публики выпить с ним и начал наливать им из одной-единственной бутылки красное и белое вино, бренди,

текилу, молоко и воду; Айзенгрим создал на сцене атмосферу любезного гостеприимства, что придало старому как мир трюку новизну и свежесть. Он взял у зрителей – в том числе и у меня – дюжину носовых платков и сжег их в стеклянном сосуде, а затем воссоздал из пепла одиннадцать платков, выстиранных и выглаженных; когда хозяин двенадцатого начал выказывать недоумение, Айзенгрим попросил его взглянуть вверх, – весело трепыхаясь в воздухе, платок упал из-под потолка прямо в руки пораженного зрителя. Он извлек из сумочки одной из дам пакет; пакет начал раздуваться, бумага порвалась, и глазам ошеломленных зрителей явилась девушка; Айзенгрим заставил девушку воспарить над столом, плавно пролететь над оркестровой ямой и вернуться на стол. Затем он снова обернул ее бумагой, на манер большого пакета, пакет начал съезживаться, был возвращен в сумочку зрительницы и оказался в конечном итоге коробочкой с конфетами. Все трюки вот с такой бородой. И все прекрасно выполнены. И без малейшего следа натужной игривости, без суетливости и вульгарности, свойственных большинству иллюзионистов.

Второе отделение началось с гипноза. Из полусотни вызванных на сцену добровольцев Айзенгрим выбрал двадцать и рассадил их полукругом. Повинуясь его командам, они делали все обычные для сеансов гипноза вещи – гребли веслами, ели невидимыми ложками невидимую еду, вели себя как гости на вечеринке, слушали никому не слышную музыку и так далее, однако одна идея Айзенгрима оказалась для меня новой. Он сообщил серьезному, средних лет мужчине, что тому только что вручили Нобелевскую премию, и попросил произнести ответную речь. Мужчина выступил так красноречиво и с таким достоинством, что вызвал шквал аплодисментов. Я видел много сеансов, на которых гипнотизер для демонстрации своего могущества выставлял гипнотизируемых в дурацком виде, здесь же не было ничего подобного. Ни один из зрителей не подвергся унижению, более того, они уходили со сцены гордо, с возросшим чувством собственной значимости.

Затем Айзенгрим продемонстрировал несколько номеров с освобождением от пут, причем связывали его добровольцы из зала, считавшие себя специалистами в этом деле. Трюк посложнее состоял в том, что его связали и положили в сундук, сундук подняли на веревке к потолку, а через минуту Айзенгрим появился в центральном проходе зала, вышел на сцену, опустил сундук и вытащил из него свое тряпичное чучело.

Кульминацией второго отделения стал один из вариантов знаменитого трюка Гудини. Совершенно голого, за исключением трусов, Айзенгрима заковали в наручники и засунули головой вниз в металлический контейнер, похожий на молочную флягу, крышку фляги заперли на множество всяких замков, часть из которых была принесена зрителями; флягу опустили в большой бак с водой, снабженный окошками, чтобы публика видела происходящее, затем окошки закрыли занавесками, и публика замерла в ожидании. Двоих мужчин попросили следить за временем; если по прошествии трех минут Айзенгрим не появится, они должны были приказать пожарному театра незамедлительно вскрыть флягу.

Прошло три минуты. Спешно вызванный пожарный медленно и неуклюже вытащил флягу из бака и начал отпирать замки. По завершении этой работы фляга оказалась пустой, а пожарный оказался Айзенгримом. Это была, пожалуй, единственная комедийная нотка во всем представлении.

Третье – и последнее – отделение было серьезно, на грани торжественности, однако в нем присутствовал эротический оттенок, крайне необычный для выступлений фокусников, где значительную часть аудитории составляют, как правило, дети. В «Сне Мидаса» Айзенгрим с помощью хорошенькой ассистентки извлекал из зрительских карманов, ушей, носов и шляп, а также прямо из воздуха огромное количество серебряных долларов; звон монет, бросаемых им в большой медный котел, не замолкал ни на секунду. Обуянный ненасытной алчностью, он превратил девушку в золотую статую и ужаснулся содеянному. Взяв молоток, он отколол одну из золотых рук и передал ее зрителям для изучения, а затем ударил статую по лицу. В порыве

раскаяния Айзенгрим сломал свой жезл, после чего котел мгновенно опустел, а девушка ожила, только теперь у нее не хватало одной руки, а из губы сочилась кровь. Зрители ликовали, жестокость финального эпизода явно пришлась им по вкусу.

В заключение Айзенгрим продемонстрировал «Видение доктора Фауста»; программа обещала, что в этом и только этом номере перед ними появится Прекрасная Фаустина. По сути, это был хорошо известный фокус, когда маг заставляет свою ассистентку поочередно появляться в двух далеко разнесенных и никак вроде бы не связанных стеклянных будках. Но Айзенгрим – естественно, в роли доктора Фауста – добавил сюда борьбу между Любовью Возвышенной и Низменной; на правой стороне сцены появлялась скромно одетая, сидящая за прялкой Гретхен; при приближении Фауста она исчезала, а слева появлялась Венера в увитой цветами беседке и – насколько позволяла мексиканская стыдливость – почти без одежды. Прекрасная Фаустина (было совершенно ясно, что и Гретхен, и Венера – это она) обладала определенным артистическим даром, во всяком случае зрители понимали – и с восторгом принимали – основную идею этой сценки, что духовная красота и чувственность вполне совместимы в одной женщине. В конце концов доведенный трудностью выбора до безумия Фауст кончает с собой, на сцене появляется окруженный ярким пламенем Мефистофель и сбрасывает его в ад. Как только Фауст исчез, снова появилась Прекрасная Фаустина; она парила без всякой видимой поддержки футах в восьми над серединой сцены и изображала, надо думать, Вечную Женственность – буквально лучилась состраданием, одновременно демонстрируя изрядную часть своих великолепных ног. В завершение Мефистофель сбросил плащ и оказался все тем же Айзенгримом Великим.

Судя по громкости и продолжительности заключительных аплодисментов, представление зрителям понравилось. Когда билетер не позволил мне пройти через сцену, я подошел к служебному входу театра и сказал, что хотел бы увидеть сеньора Айзенгрима. Он никого не принимает, сказал швейцар, даны строгие указания никого не пускать. Я показал свою визитную карточку (в Северной Америке эти штуки почти вышли из употребления, однако в Европе к ним все еще относятся с определенным уважением, почему, собственно, я их и ношу). Никакого впечатления.

Оставалось только плюнуть и уйти, но тут я услышал мелодичный голос:

– Скажите, пожалуйста, это вы – мистер Данстан Рамзи?

На верхней ступеньке ведущей в театр лестницы стояла, надо понимать, женщина – женщина в мужском костюме, очень коротко стриженная и невероятно уродливая. И ведь не убогая, не калека. Высокая, стройная и, по всей видимости, очень сильная, она имела притом непропорционально большие кисти рук и ступни, ее огромный подбородок выпирал далеко вперед, а глубоко сидящие глаза почти скрывались под тяжелыми надбровными дугами. Однако голос у нее был приятный, а произношение – культурное, с каким-то легким акцентом.

– Айзенгрим будет очень рад с вами встретиться. Он заметил вас в зале. Идемте, я вас провожу.

Немного пройдя, мы оказались в коридоре, куда доносились звуки перебранки на непонятном, скорее всего, португальском языке. Моя провожатая постучала в дверь и сразу же вошла, я последовал за ней и оказался в компании ссорящихся. Раздетый по пояс Айзенгрим разгримировывался при посредстве грязного полотенца, Прекрасная Фаустина – голая, как правда, прелестная, как картинка, и бешеная, как собака, – также снимала грим, покрывавший чуть не все ее тело; при виде нас она подхватила халатик, обернулась в него и потом, пока мы с Айзенгримом разговаривали, высовывала наружу лишь те детали своей анатомии, которые обтирались в данный момент.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.